

ISSN 0132-0637

1997



Октябрь

Октябрь

9 1997

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

При Международном обществе книголюбов открыт Клуб Любителей Классической и Современной Литературы (ЛЮКСОЛ), отделения которого есть в каждом городе России при местных обществах книголюбов. Членам Клуба книги продаются на 20 процентов дешевле, чем в магазинах, и на 80 процентов дешевле, чем по каталогу «Книга — почтой». Те, кто заказал пять книг, шестую получают бесплатно. Члены Клуба выбирают и заказывают книги по каталогам, которые обновляются и поступают в Общество книголюбов ежемесячно. Члены Клуба оплачивают только поступившие по их заказам книги, без предварительной оплаты.

Члены Клуба имеют возможность подписаться на журнал «Октябрь» с любого месяца по льготной стоимости.

Адрес Клуба в Москве: 113184. ул. Пятницкая, д. 52. Книжный клуб «ЛЮКСОЛ». Тел. 231-81-08.

Адреса местных отделений Общества книголюбов можно узнать в библиотеках и по справочному телефону.

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9

1997

СЕНТЯБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|---|----|
| Григорий ПЕТРОВ. Житие мирянки Миронии. Рассказ | 3 |
| Дмитрий БОБЫШЕВ. Петербургские небожители. Стихи | 14 |
| Петр АЛЕШКИН. Рассказы | 20 |
| Михаил РОЩИН. Блок 1995—1996 | 43 |

Нечаянные страницы

| | |
|--|-----|
| Павел БАСИНСКИЙ. Московский пленник. Исповедь провинциала ... | 100 |
|--|-----|

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

| | |
|---|-----|
| Ирина МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА. Страхи взрослые и детские | 133 |
|---|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 850-летию Москвы

| | |
|---|-----|
| Наталья КОРНИЕНКО. «Москва во времени». Об одной литературной акции 1933 года | 147 |
|---|-----|

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

«...Смиренно переживать теперешнее смутное время».
Письма дочери Льва Толстого. 1917—1925 годы. Вступление,
публикация и примечания Ю. Д. Ядовкер 158
Юбилей музея 180

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Два завещания Льва Толстого 181

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Поэзия в духе Дани Назарова 184

Федя БАЛАБАНОВ.
Стихи 186

В стиле реплики

Олег ПАВЛОВ.
Газетный хам 187

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ. 189

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефону: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 30.07.97. Подписано к печати 21.08.97. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.—отт. 17,50. Учетно—изд. л. 21,61.

Тираж 9600 экз. Заказ № 2058. Цена 15 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64,
ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии —
214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-Mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Житие мирянки Миронии

РАССКАЗ

Если уж так говорить, у Кряквиной Миронии Антиповны все хорошо было, все, как у людей, грех жаловаться. Муж, двое детей — сын и дочь, две комнаты отдельные. Да Мирония Антиповна и не жаловалась. Даже когда сыну Арсению пришел срок в армию идти. Вот Корней Петрович, тот вконец голову потерял, места себе не находил. Мирония Антиповна никак не могла его успокоить:

— Да погоди ты, не убивайся... Может, еще и обойдется... Не пошлют...

— Да точно пошлют,— отвечал Корней Петрович.— Из нашего поселка всех в Чечню посылают.

Ну, что верно, то верно — поселок как заколдованный. Как кого в армию забирают — непременно в Чечню. У Илюхиных сын в Чечне, у Кривошекиной Дарья там же (Алеша это, жених дочери Кряквинных — Тони). А Балящев Андрон? Так и пропал в Чечне, и похоронили неизвестно кого. Теперь вот дошла очередь и до Арсения Кряквина.

Поселок-то их небольшой, это на самой окраине города, возле женского монастыря. Новость печальную, конечно, все сразу узнали. И потянулись к Кряквинным соседи. Все переживают за них, жалеют Арсения. Особенно Балящева Гаша, ее дом напротив Кряквинных, через улицу. Что ни день, Гаша у Кряквинных, так и сидит до самого вечера. Сына ее, Андрона, еще год назад в армию забрали. Сначала-то он писал, что все хорошо. Мышей, писал, только много, прямо по людям бегают ночью.

А потом Гаше позвонили из части, сказали, что ее сын, рядовой Балящев Андрон, погиб при исполнении воинского долга. Похоронки официальной еще не было, потому Гаша не очень-то и верила. Может, думала, ошибка.

Только вскоре все разъяснилось. Из части прибыл гроб цинковый, запаянный, обшитый досками. Офицер, который приехал с грузом, не советовал Гаше вскрывать гроб. «И то,— думала тогда Гаша,— зачем? Может, он там изуродованный весь, страшный. Пусть уж останется в памяти, какой живым был».

Похоронили Андрона, а через какое-то время, недели две всего, может, прошло, звонок в доме телефонный. Гаша на диване лежала, трубку Фаня взяла, дочь приемная. Вот Гаша лежит и слышит, как Фаня по телефону говорит:

— Кто это? Это ты, Андрюша?

Гашу как ветром с дивана сдуло. Схватила она трубку, а там уже гудки короткие — связь оборвалась. Фаня стоит, белая вся, еле шепчет:

— Кажется, это был он... Говорит: «Привет, мама, это я, Андрон...» Его лос...

Вот когда Гаша покой потеряла. Стала она добиваться, чтобы разрешили гроб из могилы вскрыть. Больше месяца по разным начальникам ходила. Наконец разрешили. А как гроб открыли — там тряпки какие-то, ничего, конечно, узнать нельзя. Думали обратно закапывать, а тут Фаня как закричит:

— Нога!

— Что нога? — спрашивают.

— Ботинки маленькие. Меньше, чем у Андрона... У него больше были...

Гаша посмотрела и сказала:

— Точно, у Андрона размер обуви больше...

Ну, раз такое дело, обратились к экспертам. Те говорят, что все не так просто. Нужны, мол, специальные анализы — генная экспертиза. Работа долгая. С тех самых пор, сколько времени прошло, ничего про Гашиного сына не известно.

А вот Илюхиным повезло — получили они наконец известие про своего Стасика. В госпитале он, в Ростове. Илюхины, недолго думая, собрались, занимали денег у кого только можно было — и в дорогу.

Недели две, наверное, их не было, потом возвращаются, Стасик с ними. Идет себе, улыбается, на плечи куртка брошена. А Глазнюк Иван Трофимович, он раньше вахтером был, теперь без работы, и говорит:

— Смотри-ка, на своих ногах. А говорили — ранен. Что-то не видно...

А Стасик ему:

— У меня рук нет...

Глазнюк только смеется:

— Вот шутник-то...

Стасик тут куртку с плеч скинул, все так и ахнули — вместо рук у него какие-то обрубки. Один чуть выше локтя, другой чуть ниже. Стиркина с текстильной фабрики, как увидела, заголосила что есть мочи.

— Это ничего, — улыбается Стасик. — Мне протезы обещали. Говорят — хорошие. Совсем как руки будут.

— Значит, стакан удержать сможешь, — шутит Глазнюк.

На другой день после обеда вышел Стасик на лавочку возле дома, тут же, конечно, народ собрался.

— Как же это все вышло? — спрашивает Глазнюк.

— Прямое попадание в бэтээр, — отвечает Стасик. — Машина горит, командир сам ранен, головой люк открыл. А я пулеметчик. Мне положено последним покинуть машину. Кинулся я к люку, чтобы ухватиться за края, и вдруг вижу, что ухватиться нечем — рук нету. Обернулся, а обе они так и остались на пулемете.

— Да нечего вспоминать, — говорит Балящева Гаша. — Главное, что живой. Другие матери вон как мечутся, чтобы сына отыскать. Хоть бы родные косточки домой привезти, на могилку ходить...

— Из машины я все-таки выбрался, — продолжал Стасик. — Весь в крови, одежда горит. Стал культияпками огонь сбивать. Это меня и спасло. Огнем прижгло раны. А так бы я кровью истек — и конец...

— Повезло тебе, парень, — говорит Корней Петрович. — Я сам в Афганистане был, знаю. Из таких переделок живыми не выходят.

— Конечно, повезло, — соглашается Стасик.

Корней Петрович смотрит на него, и так ему чувствуется, будто это у него, у Корнея Петровича, рук нету. Вернулся он домой, из угла в угол ходит, успокоиться не может.

— Да угомнись ты! — говорит Мирония Антиповна. — Еще же ничего не известно... Что же раньше времени...

Корней Петрович будто не слышит ее.

— Вот где страшно-то! Видеть свои руки отдельно от себя! Куда уж страшнее!

А тут как-то заходит к Корнею Петровичу приятель его, Варлыгин. Выпили они вина, закусили. Варлыгин и говорит:

— Вот если бы у тебя еще один сын был, вместо, скажем, Тоньки, тогда другое дело. Одного бы забрали в Чечню, а другого нет. Есть такой закон. Если кто из семьи служит в горячей точке, другого уже не пошлют.

Корней Петрович всю ночь не спал, ворочался, покурить выходил. А утром собрался, никому ничего не сказал и ушел куда-то. Весь день его не было. К ночи, поздно уже, возвращается. Сначала все молчал, ничего не говорил. А как поел, не выдержал. Дверь в комнату детей закрыл и рассказывает вполголоса:

— Я из дома прямиком в райвоенкомат. Так, мол, и так, говорю. Хочу, значит, по контракту в армию идти. Чтобы в Чечне воевать.

Мирония Антиповна только руками всплеснула.

— Господи, воля твоя! Что ты еще придумал?

— А военком посмотрел на меня и спрашивает: «Тебе сколько лет?» «Тридцать восемь,— говорю,— а что?» А он мне: «А по контракту берут до тридцати пяти. Иди и не морочь голову». Вытурил меня.

— Ну и правильно сделал, дай Бог ему здоровья,— говорит Мирония Антиповна.

— Только и я не так прост,— продолжает Корней Петрович.— Я тогда на автобус и в город, в областной военкомат. Пишу жалобу на нашего военкома. Я им там объясняю, что я ведь Афганистан прошел. Таких мужиков и надо брать в Чечню. Которые пороху понюхали. А эти мальчишки сопливые только и гибнут по собственной глупости.

— Как же это оттуда тебя не вытурили? — спрашивает Мирония Антиповна.

— Как бы не так! Меня к полковнику повели. Мы с этим полковником долго сидели, разговаривали. Я ему про свою службу рассказывал. Как в Афган попал перед самой демобилизацией. Как контузило меня в первый же день. Осколочное ранение в голову. Как дома мытарил — бумага-то у меня с собой никаких. Какой-то офицер даже самозванцем обозвал. А я ничего. Думал тогда: руки-ноги целы, голова на плечах, какие мне еще льготы?

— Ты бы уж рассказал ему, как до сих пор мучаешься из-за той контузии,— заметила Мирония Антиповна.

— Короче сказать, добился я своего. Разрешили мне идти по контракту...

Мирония Антиповна выслушала мужа, ничего не сказала, только заплакала. Потом спрашивает:

— Может, все же останешься? Тоня ведь у нас...

Корней Петрович так и накинулся на нее:

— А что мы есть будем? Ты думаешь, я только из-за Арсения туда иду? Чтобы его заменить? Деньги нужны — вот что. Ты вон хлеб из монастыря носишь... Думаешь, сладко мне его есть?

Ну, возразить здесь, конечно, нечего. Корней Петрович скоро уже год как без работы. Как мастерские закрыли, где он механиком был, так с тех пор и не может работу найти. Подрабатывает где случится — где плотником, где сторожем, а так, чтобы постоянно, такого нет. Иной раз до того дойдет, что куска хлеба в доме нет. Мирония Антиповна часто ходила в монастырь возле поселка, помогала всякой работой. Ее там кормили и давали с собой булки своей, монастырской выпечки. Этим Кряквины какое-то время и держались. А так — хоть пропадай.

— Так что, можно сказать, это счастливый случай, что меня взяли,— заключил Корней Петрович.

Мирония Антиповна вытерла слезы и сказала:

— Бог с тобой! Иди, коли жить не хочешь!

— Только Арсению ни слова,— предупредил ее Корней Петрович.

Вскоре после этого проводили Кряквины сына в армию. Корней Петрович лично в военкомате списки новобранцев смотрел — на Дальний Восток.

— Ну что, доволен? — спрашивала его Мирония Антиповна.— Добился своего?

А вот Сима Каблукова, невеста Арсения, очень сильно убивалась.

— Я тебе каждый день писать буду,— говорила она.— А когда вернешься, на станцию приду встречать в белом платье.

Она вообще с рождения была слабенькой, часто болела, и за нее всегда очень боялись. А тут такое переживание, не знали уж, как ее утешить.

А Варлыгин, приятель Корнея Петровича, когда прощались с Арсением, не удержался и говорит:

— Ты отца благодари! Если бы не он, быть тебе в Чечне!

Потом уже, в письме, Корней Петрович все объяснил сыну. «Так уж получилось,— писал он.— Деньги нужны, сам знаешь. Я ведь в последнее время не ел почти ничего. Не мог у вас кусок хлеба отнимать. Так что ты не переживай. Все будет в порядке».

А через короткое время проводили и Корнея Петровича.

— Ты смотри здесь за Тонькой,— сказал он Миронии Антиповне на прощание.— Чтобы не гуляла. Жених ее, может, еще вернется.

«Какой там вернется! — думала про себя Мирония Антиповна. — Год уж скоро как пропал без вести. Дарья вон сама в Чечню отправилась искать своего Алешу. И тоже пропала. Где она теперь?» Только вслух Мирония Антиповна ничего не сказала.

Вскоре пришло письмо от Корнея Петровича: все хорошо, не волнуйтесь. Писал, что купается каждый день в горной речке — красота. По его письмам вообще ничего толком узнать нельзя было. Все у него хорошо, все в полном порядке. И всегда одно и то же: «Это, можно сказать, счастливый случай, что я попал сюда вместо Арсения».

А тут наконец Кривошекина Дарья в поселке появилась, из Чечни вернулась. Вечером у нее дома народу — не повернуться. Расселись кто где смог, только и спрашивают:

— Ну, как там, в Чечне?

Дарья в дверях стоит, в комнату войти не может.

— Там, в Чечне, таких матерей, как я, много... Ходят повсюду, детей своих ищут. Комитет у них даже какой-то есть. Я-то в военном городке жила, командир разрешил, земляк мой. Жилье у них, скажу вам, — один срам. Палатки прямо в поле. Везде кучи мусора, грязь непролазная. Все в сапогах резиновых, иначе не пройдешь.

Слушают Дарью, ахают, головами качают. А она продолжает:

— Спят не раздеваясь — такой ночью холод. Белья на смену нет. И все болеют желтухой — такая там вода пакостная. С едой тоже перебои, суп горячий не каждый день.

Кто-то в углу запричитал:

— Господи, за что все это?

— С нами в полку батюшка был, — продолжает Дарья. — Симпатичный такой, молодой. За ним всегда солдатик с котелком ходил. В котелке — вода святая. Батюшка молебны служил, окроплял святой водой машины ихние военные, оружие. Раздавал крестики, иконки, пояски с молитвами. Многие тогда крестились. Потом, говорят, батюшку в плен взяли.

— Да Алешу-то вы нашли? — не выдержала Тоня.

Дарья только рукой махнула.

— Какой там? Такая неразбериха — никто ничего не знает... Пропал человек...

Вернулась Тоня домой — не ест, не спит, слова матери не скажет. Мирония Антиповна уж и так к ней, и этак — молчит. И ходить никуда не ходит, весь день на диване лежит. Мирония Антиповна звала ее с собой в монастырь поработать, та только к стене отвернулась.

А монастырь теперь один и был утешением для Миронии Антиповны. Каждый почти день ходила она туда помогать послушницам. Работы в монастыре — хоть отбавляй. И в пекарне, и в мастерских швейных, и в огороде. А тут еще ремонт в келейном корпусе. Рабочие делают свое дело и уходят. А мусор выносить, мыть, чистить — все послушницы. Вот Мирония Антиповна и помогала им сколько могла.

Ее в монастыре любили и всегда ждали. Особенно привязалась к ней одна послушница — Агния. Высокая такая, в очках, учительницей раньше была. Как Мирония Антиповна придет, Агния от нее ни на шаг не отходит. Мирония Антиповна все удивлялась: с чего она в монастырь пошла?

— Чудно. Такая строгая, ученая... Тебе профессором быть, а ты — в монастырь...

— Я ведь последние годы в детском доме работала, — рассказывает Агния. — Такого там нагляделась... Выброшенные дети! Родители квартиру продадут, а детей на улицу. Приводят их к нам — голодные, оборванные, а в глазах такой укор — смотреть невозможно. Глядела я на них и как каменная делалась. Не могла больше вынести...

Рассказывает Агния, сама слезами обливаясь. Мирония Антиповна ее утешает:

— Это ничего... Ты только зло в свою душу не пускай. Победи его... И камень твой в сердце растопится...

— Я для того и пришла сюда, — отвечает Агния.

Другая послушница, Ксения, тоже как привязанная за Миронией Антиповной ходила.

— Я раньше закройщицей в ателье работала,— рассказывала она.— Случайно как-то в монастырь зашла, а Матерь Божия и забрала мое сердце. И все мне в миру стало немило. Никуда не могу смотреть. Уволилась я тогда — и прямо сюда. У меня такое чувство, будто я родилась здесь и всегда жила и больше нигде не жила, только здесь.

Ксения все уговаривала Миронию Антиповну тоже в монастырь идти.

— У нас здесь хорошо. Вместе будем. Вам здесь самое место... На Руси всегда праведники были да преподобные подвижники. Евфросинья Суздальская, Юлиания Лазаревская, другие еще жены, угодницы Божии. Благодать-то какая! Благоухание и нетление! Свечи сами собой зажигаются!

Мирония Антиповна только головой качала.

— Куда мне до них? Разве я достойна? Они Богу служили, им место в раю. А мне на земле лямку тянуть. Они вроде как ангелы. А я — какой ангел? Они в постах и молитвах, а я в суете и домашних хлопотах. У них — подвиги, у меня — заботы. Они с демонами боролись. А я и демонов никаких не знаю. Никто ко мне не ходит...

Как зима прошла, появились в поселке новые люди — беженцы из Чечни. В поселке на них смотрели подозрительно.

— Взялись еще на нашу голову! — ворчал Глазюк Иван Трофимович.— Нам только их и не хватало! Самим есть нечего!

Стиркина с текстильной фабрики здесь же, рядом.

— Так и смотрят по сторонам, где что плохо лежит,— громко так говорит, чтобы все слышали.

А какая-то беженка ей отвечает:

— Нам чужого не нужно...

Мирония Антиповна поглядела на беженку — не старая еще женщина, с ней старик с лохматой бородой и мальчик. Идут, еле ноги волочат, мальчик, тот совсем падает. Подошла она к ним и спрашивает:

— Где же вы ночевать будете?

— Мы не знаем,— отвечает женщина.

Мирония Антиповна тогда говорит:

— Ладно уж, идите ко мне...

Привела она беженцев в дом, собрала на стол что было, накормила их. Только мальчик Миша ее огорчал — сидит за столом, ничего не ест. Уставился в одну точку, будто не в себе, скучный такой.

— Ты поешь хлеба с чаем,— уговаривает его Мирония Антиповна.

— Не хочу,— отвечает Миша.

— Он еще от тех дней отойти не может,— говорит Лида, его мама.

За чаем Лида рассказывала:

— Дом наш горит, а мы в подвале. В городе полно трупов, валяются прямо на улицах. То ли чеченцы, то ли русские — не разобрать. Жара ведь, трупы разлагаются. Да и одеты все одинаково.

Старик, тот все ел и ел, насытиться никак не мог, и бормотал что-то несвязное:

— Минно-взрывное ранение! Кровь везде, кровь!

— Соседку нашу осколком насмерть убило,— продолжала Лида.— До войны она пекла хлеб для всей улицы. Похоронили мы ее прямо во дворе. Солдаты штыками могилку выкопали. Какой-то прохожий молитву прочитал...

А старик все бормочет:

— Гбловы-то, гбловы! Касками не защищены! А везде снайперы, снайперы!

Лида будто не слышит его, не обращает внимания.

— Мы так пешком из Грозного и ушли,— рассказывает.— С пустыми руками, без вещей, без денег. Сначала в палатке жили, без воды, без света. Замерзали. Теперь вот в Москву... Может, там помогут...

— Танк! — кричит старик.— Танк начинен боеприпасами. А там — солдаты, мальчики! По всему двору разбросало!

На другой день беженцы собрались было идти дальше, да только Миша ихний утром подняться не мог — заболел. Руки, ноги у него свело, шевельнуть не может, лежит, как колода. Зубы стиснуло — рот не открыть.

Мирония Антиповна сначала поила его каким-то отваром — не помогло. — Здесь деготь из костей нужен, — сказала она.

Набрала она по дворам костей каких-то, перемила, истолкла камнем — и в корчагу. Закрыла крышкой, замазала глиной и жгла в яме во дворе. Через сутки открыла корчагу, там жидкость густая, маслянистая, пахнет крепко. А кости совсем белые стали.

— Вот, — говорит Мирония Антиповна. — Это и есть костяной деготь.

Стала она этой жидкостью натирать Мишу. На другой день он уже пальцами шевелил, потом руки смог разгибать. А через два дня и вовсе на ноги встал.

Собрала Мирония Антиповна беженцев в дорогу. Одежды у них никакой, только то, что на себе, все рваное, грязное. Повытаскивала она из шкафа все что было, отобрала что получше, отдала им.

А как беженцы ушли, новая тревога — от Корнея Петровича перестали приходить письма. Месяц, другой — ни строчки. Мирония Антиповна не знала, что и думать, совсем измучилась. Писала запрос в часть — никакого ответа.

— Ты не изводишь, — утешали ее соседки, Баляшева Гаша, Стиркина. — Если надо, прямо в Чечню езжай. Мы все с тобой поедем. Разыщем твоего Корнея.

Думали они, думали, как помочь Миронии Антиповне, потом придумали — привезти из города Веревкину. Про Веревкину говорили, что она ясновидящая, все про людей знает.

Ну не откладывая в долгий ящик привезли ее в первое же воскресенье. Вошла Веревкина в дом к Миронии Антиповне и сразу с порога:

— Ты утром чай сегодня не пила, не ела ничего. Ночь плохо спала. Зачем себя изнуряешь? Тебе еще силы нужны будут...

Показала Мирония Антиповна ей фотографию Корнея Петровича. Веревкина поглядела и говорит:

— Чувствую — жив он... Может, в плену только, но живой...

Мирония Антиповна перепугалась еще больше.

— Этого еще не хватало! В плену-то, может, еще хуже...

— Не пугайся, — говорит Веревкина. — У меня тут паренек один комнату снимает... Ты поговори с ним, я приведу.

Дня через два снова приезжает она, с ней парень — стриженный, шея тоненькая, как только голова держится. А глаза какие-то странные, будто смотрят на тебя, а не видят.

— Вот, — говорит Веревкина — Савелий. В плену был у чеченцев. Его не то обменяли, не то выкупили...

— Я вообще-то в плен по дурусти попал, — говорит Савелий, сам смотрит куда-то в сторону. — Четыре человека нас... С пастухами местными договорились... Мы им — тушенку, они нам — водку. Встретились, а там — засада. Схватили нас — и в горы... Целый год держали...

Мирония Антиповна рукой до него дотронулась.

— Уж, верно, несладко было...

— Да нет, ничего, — отвечает Савелий. — Жить можно... Кормили нас... Отвар кукурузный... Потом еще лепешки. А под конец консервы давали. И работа простая — пещеры какие-то рыли. Самое-то страшное, когда наши самолеты бомбят... Много наших погибло. А так жить можно было... Черемшу собирали.

— Ну вот, видишь, — бодро так говорит Веревкина. — Может, и твой Корней тоже пещеры роет.

А через несколько дней вдруг телеграмма Миронии Антиповне. Какой-то незнакомый офицер — еду, мол, к вам, встречайте. И подпись — лейтенант Анятин.

В эту ночь, как пришла телеграмма, под утро уже, проснулась Мирония Антиповна и видит — кто-то из комнаты выходит.

«Кто тут?» — спрашивает. Потом кинулась следом, а в передней никого. И дверь изнутри на запоре. Только спину все равно узнала, хотя одежда и чу-

жая — куртка пятнистая. «Не иначе Корней Петрович приходил», — решила Мирония Антиповна.

А через две недели приезжает тот самый лейтенант Анютин. Мирония Антиповна с Тоней на станции его встретили. Познакомились они, а Анютин вещи Корнея Петровича им отдает и еще патрон какой-то пустой. Повертела Мирония Антиповна патрон в руках, смотрит — внутри записка. Маленькие печатные буквы, а Мирония Антиповна не может сразу разобрать. Тоня взяла у нее записку, читает:

— «Здравствуйте, дорогие мои. Вы уж простите меня, если что. Не забывайте. Остаюсь ваш Корней Кряквин».

— Что с ним? — спрашивает Мирония Антиповна.

— Мы с ним вместе в ночном карауле были, — говорит Анютин. — Сидим у костра, греемся. Он встал, чтобы размяться, и вдруг упал. Я сначала даже не понял, что с ним. Потом вижу — кровь изо рта. Пуля прямо в грудь. Снайпер стрелял.

— Ерунда все это, — говорит Тоня. — Может, это не он вовсе. У нас уже был такой случай. У Баляшевой Гаши.

Анютин даже обиделся.

— Да у меня и гроб здесь в багажном вагоне. Я так вместе с ним и ехал.

Потом уже, дома, когда Мирония Антиповна накормила лейтенанта, он рассказывал:

— Как бои тяжелые кончились, я сам поехал во Владикавказ. Там такой пункт приема и опознания погибших. Еле разыскал Корнея Петровича. Все ведь в кучу свалены, поди разберись... Документов никаких, только бирочка с номером к ноге привязана. Оформил бумаги, гроб цинковый — «груз 200». Две недели добирался. Везде деньги плати. С платформы на платформу перенести — каждому по пятьдесят тысяч. В какой-то комендатуре полтора миллиона оставил. Не хотели грузить. Может, говорят, ты наркотики везешь или оружие.

Хоронили Корнея Петровича торжественно. Народу много было, весь поселок, наверное. Оркестр играл, венки. Анютин, лейтенант, хорошо на кладбище говорил:

— У нас в роте все любили Корнея Петровича. Кто «отцом» называл, кто «дедом»... Всегда молодых из беды выручал, «сынков», как он говорил. Вечная ему память! Тяжелым катком прошлась по нашим судьбам война... Кто же ответит за все это? За все загубленные жизни! Сколько их, брошенных на кровавый алтарь?

— Притом заметьте! — крикнул из толпы Варлыгин, приятель Корнея Петровича. — Ни одного генеральского сынка в Чечне!

Голова у Варлыгина бинтом замотана, на ногах галоши прямо на шерстяных носках, небритый.

— Пусть земля тебе будет пухом, Корней Петрович, — закончил Анютин.

Соседи, спасибо, помогли Миронии Антиповне, собрали денег, поминки сделали, все по-человечески. Потом уже пришел Миронии Антиповне перевод — зарплата Корнея Петровича и страховка за него. Обещали в скором времени пенсию назначить.

Одно только мучило Миронию Антиповну: Арсения на похоронах не было. Она заранее телеграмму дала в часть, все как положено. А ей ответили, что ее сын, Арсений Кряквин, приехать не может, потому как в настоящее время находится в больнице по поводу аппендицита.

И вот как прошло девять дней после похорон, потом сорок, собралась Мирония Антиповна ехать к Арсению. Как раз первая пенсия пришла за Корнея Петровича, деньги на дорогу были. Накупила она гостинцев — и в путь. Нашла воинскую часть Арсения, привели ее в приемную комнату, сидит она, ждет. Через полчаса выходит к ней Арсений. Мирония Антиповна смотрит на него, узнать не может. Губа разбита, запеклась, на скуле пятно желто-фиолетовое, глаз заплыл.

Мирония Антиповна так и обмерла.

— Это и есть твой аппендицит? — спрашивает.

А Арсений ее утешает:

— Ничего, мама, ничего... Немного осталось... Дослужу... Ты не волнуйся... Скоро вернусь...

Рассказала ему Мирония Антиповна про отца, какие похороны были, отдала гостинцы. Только смотрит, Арсений пакет с гостинцами сержанту отдает, который вместе с ним пришел. Дежурный офицер сидит напротив, смотрит как ни в чем не бывало. Хотела Мирония Антиповна обратиться к нему, а Арсений ей знаки делает — молчи, мол, не лезь не в свое дело.

А как Арсений с сержантом ушли, Мирония Антиповна все же спрашивает у дежурного:

— Что с моим сыном? Страшный он какой.

— А что с ним может быть? — отвечает офицер, сам головы от стола не поднимает, в бумаги уставился. — Подрались, наверное. Здесь часто дерутся.

Потом добавил:

— Я сейчас командира роты вызову. Он лучше знает.

Позвонил он по телефону, минут через двадцать офицер приходит.

— Капитан Скребков.

— Вот мамаша испугалась, — объясняет дежурный. — Говорит, сын страшный.

— Это еще ничего, — говорит капитан. — Они здесь такое вытворяют. Самовольные отлучки, водка. Драки...

— Мой сын никогда не дрался, — замечает Мирония Антиповна.

Капитан помолчал, потом говорит:

— Я сейчас замполита пришло. Он вам все и расскажет.

Еще через полчаса приходит другой офицер.

— Кряквина? — спрашивает. — Дерется ваш сын, дерется. Ничего сделать не можем. Он уж и на гауптвахте сидел, не помогает. Натура у него, видно, такая — драться.

Так Мирония Антиповна и уехала со своим огорчением. Вернулась домой, не успела в дверь войти, Тоня к ней кидается.

— Жив! — кричит. — Алеша жив! Письмо пришло!

Не дала она матери даже раздеться, потащила к Кривощекиным. А Дарья какая-то странная, опухшая от слез. Ничего не сказала, конверт протягивает.

«Пишет вам незнакомая чеченская женщина Хава Дутуева, — читает Мирония Антиповна. — Ваш сын Алексей Кривощекин находится в плену у боевиков. Мой сын Дутуев Али — в плену у русских. Я писала заявление на обмен вашего сына на моего. Мне ничего не ответили. Я хочу, чтобы вы помогли разыскать моего сына. Если до Нового года мне его не вернут, вы никогда не увидите своего Алексея. Мне терять больше нечего».

— Что делать, не знаю, — говорит Дарья.

— В Москву ехать надо, — как-то сразу решает Мирония Антиповна. — Вместе и поедем...

Дарья сначала ничего не хотела слушать:

— Наездила я уже в Чечню... Куда мне еще?

Но потом подумала и согласилась. Тоня ей сказала:

— Это же сын ваш...

Собрали они денег на дорогу — и в Москву. Недели три, наверное, никаких известий от них не было. Соседи почти каждый день навещали Тоню.

— Надо бы не в Москву ехать, а в Чечню, — говорила Балящева Гаша. — К этой самой Хаве Дутуевой. Посмотреть ей в глаза... Ты мать, и я мать... У нас общая беда, общее горе. Зачем же так?

— Отравить ее — и дело с концом, — высказывалась Стиркина с текстильной фабрики.

Наконец Мирония Антиповна с Дарьей Кривощекиной возвращаются, еле живые с дороги, только бы присесть.

Тоня смотрит на их лица и спрашивает:

— Ну как?

— Не хотела я ехать, и не надо было, — говорит Дарья. — Я как знала, что все впустую. Где мы только не были! В министерстве военном, в Комитете матерей, еще где-то. У депутата на приеме были. Везде обещают разобраться, помочь... Да все, видно, без толку.

— Ты погоди, — говорит Мирония Антиповна. — Вот Арсений вернется, он нам поможет.

— А до Нового года совсем ничего, несколько месяцев,— замечает Тоня, сама чуть не плачет.

— Надо Арсения ждать,— снова говорит Мирония Антиповна.— Уже скоро...

Стали они Арсения ждать. И опять, что ни день, Мирония Антиповна в монастыре, трудится там до самого вечера. Этим только и держалась. Игуменья, матушка Варвара, часто с ней разговаривала:

— Ты думаешь, верно, что больше твоего горя и нет на свете,— говорила она.— А ты войди в чужую беду. Чужое горе возьми на себя. И тогда увидишь, что твое горе маленькое и легкое...

— Вот-вот,— чей-то голос сзади, тоненький такой, будто детский.— Чужое горе возьми, чужое...

Обернулась Мирония Антиповна, а это Устинька-монастырская. Она при монастыре вроде юрודивой. Всегда в одном и том же мужском пальто, и в жару, и в холод, в сапогах. Круглый год в холодной беседке в самом конце двора, возле стены, без света, без печки. Сколько ее ни уговаривали — сменить наряд, перейти в теплое жилье или хотя бы печку поставить — ни в какую. Ничего менять Устинька не хотела. Принесут ей чай с хлебом из трапезной, сядет она на ступеньки беседки и давай ножницами хлеб голубям резать. Возле нее всегда туча птиц.

— Чужое горе возьми, а сына своего жди,— опять говорит Устинька.— Твой сын со своим горем вернется. Многие беды у него... Но ты жди...

А Мирония Антиповна и так каждый день считает, ждет своего сына. Наконец телеграмма от Арсения — еду домой, ждите.

Мирония Антиповна с утра прибралась, накрыла на стол. Сидят они с Тоней, в окно смотрят, ждут. День уже к вечеру, Арсения все нет. Лишь когда стемнело совсем, свет зажгли, является. Форма на нем, мешок за спиной, сам странный какой-то, глаза чужие. С ним приятели военные, три человека. Кинулась Мирония Антиповна обнять его, смотрит — а у него рот щербатый.

— Где же твои зубы? — спрашивает.

А Арсений глядит куда-то в сторону, не отвечает, Потом говорит:

— Странное дело. Всего-то от Симы несколько писем было. Потом ни одного. Думал — все, другого себе нашла. А тут приезжаем на станцию, гляжу и глазам не верю. Стоит Сима в белом платье, как и обещала.

Мирония Антиповна с Тоней в один голос:

— Не может того быть!

А приятели Арсения подтверждают:

— Да, точно. Стоит в белом платье.

— Ну, ребята побежали в магазин,— продолжает Арсений.— Принесли вина красного. Сели мы в скверике, стали тосты говорить. А она возьми и пролей себе вино на платье. Три красных пятна. Ну, она, конечно, расстроилась. «Пойду,— говорит,— к крану, замою». Ушла, мы сидим, ждем. А ее все нет и нет. Вечер уже. Искали возле станции — нет нигде. Так ни с чем и отправились.

— Точно, все так и было,— снова подтверждают приятели.

А Мирония Антиповна рукой на них машет:

— Что вы, что вы... Опомнитесь! Каблукова Сима уж год как померла. Я только не писала тебе, не хотела огорчать. У тебя и без того переживаний хватает...

Теперь Арсений глаза на мать таращит. Приятели тоже между собой переглядываются. Тоня тогда и говорит:

— Пошли к Каблуковым!

А это идти недалеко, через две улицы. Мать Симы увидела Арсения, слезами залилась.

— Не дождалась тебя моя девочка...

— Не может того быть,— не хочет верить Арсений.

Повела их Каблукова на кладбище, показала могилку. Арсений смотрит на фотографию на могильном камне и говорит:

— Я знаю, что надо делать! Надо могилу вскрыть!

— Господь с тобой! — испугалась Каблукова.— Что еще придумал?

— Да кто тебе разрешит? — спрашивает Тоня.

А Арсений свое:

— Надо могилу вскрыть!

Куда уж он там ходил, по каким начальникам — неизвестно. Только могилу вскрывать никто едил, конечно, не разрешил. Тогда Арсений что удумал? Ночью со своими школьными приятелями Харюковым и Фурсиным забрались на кладбище с лопатами и давай гроб выкапывать. Это уже потом Мирония Антиповна и все в поселке узнали. Вытащили они гроб, сняли крышку, а там точно — Сима Каблукова в белом платье, в том самом, в каком Арсений на станции ее видел. И Харюков с Фурсиным показали тоже. Они еще тогда удивлялись:

— Кто же в белом платье хоронит?

И тут вдруг Арсений, как он потом рассказывал, так и обмер. Смотрит на платье, а на нем три красных пятна. И видно, что совсем свежие, будто только вчера появились.

Ну, милиция, конечно, узнала про это безобразие, всех троих забрали. Харюкова-то с Фурсиным сразу выпустили, а Арсения сначала в милиции держали, здесь же, в поселке, потом увезли куда-то. Мирония Антиповна пришла в отделение узнать про него, а ей говорят:

— В городе он, в психушке... Нужна экспертиза психиатрическая.

— Какая еще экспертиза? — удивляется Мирония Антиповна. — Он до армии нормальным был, не болел никогда.

— Ну, может, в армии какая травма, — отвечают ей.

Не успела Мирония Антиповна от этой беды отойти — новое горе, теперь с Тоней. У них на текстильной фабрике, где Тоня работала вместе со Стиркиной, зарплату давно уже не выдают. Вместо денег зато можно взять ткани какие-нибудь, марлю там, носки или колготки. Тоня и придумала. Наберет товара всякого — и в деревню ближайшую. Там продает недорого, дешевле, чем в магазине, или на продукты меняет.

И вот набила она в этот раз две здоровые сумки и собралась ехать. А как в автобус садилась, как-то странно так Миронии Антиповне сказала:

— Новый год-то все ближе... Срок Алешин истекает...

Укатил автобус, Мирония Антиповна все стоит, вслед смотрит. А у них там, как реку переезжать, — спуск крутой, поворот и за поворотом сразу мостик, ветхий такой, хлипкий — одно название. И вот как автобус на мостик стал вырывать, что-то там случилось. То ли водитель не справился, то ли мостик не выдержал, только автобус вниз, в реку обрушился. И не так уж много людей тогда погибло, почти всем удалось спастись, это у самого берега было. А вот почему Тоня не выбралась — неизвестно.

Мирония Антиповна все никак не могла поверить, что дочери ее нету, ходила как во сне. Все, что нужно для похорон, соседи делали. Похоронили Тоню на том же кладбище, где и Корнея Петровича, возле монастыря. Цветов нанесли столько — всю могилу засыпали. Послушницы монастырские и монашки все были на погребении. Агния, как всегда, возле Миронии Антиповны.

— Когда мы научимся жить по воле Божией, тогда нам ясна будет и смерть близких, — говорила она. — Я уверена, что смерть — это начало. Начало восхождения к вечности.

Следом за Агнией и Ксения тут же.

— Она теперь отошла в небесные селения, — крестится Ксения. — Летом помереть хорошо — могилу легко копать. Такова уж жизнь наша — все скорби и скорби. А ими-то и достигается Царствие Небесное. Грехи наши горят и сгорают скорбями. А так, если уж говорить, — в смерти, кроме хорошего, ничего дурного...

— Мы все будем молиться за нее, — говорит Агния.

— Да, да, — поддакивает Ксения. — Умершим нужны наши молитвы. Они с нами, живущими, общаются через молитвы. Мы за них молимся, а они там наши ходатаи и покровители.

Устинька в своем затасканном пальто и сапогах возле могилки хлопочет, цветы раскладывает. Потом улучила момент — и к Миронии Антиповне:

— Виделась я сегодня с твоей дочерью. Радостная такая, улыбается. Пахнет от нее будто духом. Говорит: не плачьте обо мне. У нас там хорошо. Вон еда какая сладкая. — И протягивает Устинька Миронии Антиповне конфету. — Попробуй ихних конфеток... — Потом какой-то пакетик сует. — Это от дочки...

Дома развернула Мирония Антиповна пакетик, а там — фантики от конфет и записка. В записке печатными буквами: «Нас для любви природа создала».

Похоронили Тоню, а через неделю Мирония Антиповна ни свет ни заря прибегает в монастырь, запыхалась вся. Просит позвать игуменью, матушку Варвару.

— Что мне делать, матушка? — спрашивает ее Мирония Антиповна.

И рассказывает такую историю. Будто сразу после похорон является ей во сне Тоня и просит купить новое платье. «Замуж я выхожу», — говорит. Мирония Антиповна не придала значения сну, не купила. Тогда Тоня другой раз является и снова просит платье купить. И так до трех раз.

— Вот я и не знаю, что мне делать, матушка...

Игуменья перекрестила ее и говорит:

— Иди и делай так, как дочь просит.

Ну, ладно, купила Мирония Антиповна новое платье, нарядное такое, с цветами по подолу. Специально в город за ним ездила. А что дальше с ним делать — не знает. И тут Тоня снова ночью является. «Вот ты не знаешь, что с платьем делать», — говорит. — Пойди вместе с Кривощекиной Дарьей на шоссе, одна только не ходи. Там, где мостик, с которого автобус опрокинулся, стой и жди. Пройдет первая машина — ты ничего не делай. Вторая — тоже ничего. А пойдет третья — кинь в нее платье».

Мирония Антиповна все так и сделала, как дочь велела. Пошли они с Дарьей Кривощекиной на шоссе, возле мостика встали, стоят, ждут. Проходит одна машина, другая, они ждут.

Вот, наконец, и третья машина, грузовик это был. Как стал грузовик мимо проезжать, они и кинули в кузов платье. А грузовик не успел еще на мост въехать, вдруг останавливается. Из кабины водитель выходит.

— Зачем же вы кидаете? — спрашивает. — Вы ведь не знаете, что я везу. А везу я гроб... Парня в Чечне убило...

Мирония Антиповна опять бежит в монастырь рассказать матушке Варваре все, как было. Рассказывает, сама поглядела в сторону, а там возле стены монастырской холмик и голубей над ним туча-тучей.

— Что это голубей так много? — спрашивает.

— А это могилка Устиньки, — отвечает матушка. — Умерла она от холода третьего дня. Перед этим приходила ко мне. «Не знаю, — говорит, — больна я или что. Точно против воды плыву. Только в храме мне вроде и посвободнее, и хожу полегче, а внутри-то все сплю, будто так и надо...» А утром нашли ее в бредке, уже остывшую. Ночью померла... Она ведь к нам в монастырь из-за сына пришла. Отца у него нет, без мужа она родила. А сын теперь в тюрьме, воровали они, что ли. Вот она и пришла к нам. А одежду нашу надевать не хотела. Не достойна — говорит.

Осенила матушка себя крестом, потом говорит Миронии Антиповне:

— Тебе в монастырь идти надо, на послушание. Самое теперь время. В миру останешься — ожесточиться можешь. А здесь помощь. Здесь — Бог. Тебе теперь главное — не ожесточиться...

Мирония Антиповна согнулась вся, сморщилась, в землю смотрит.

— Да мне уж что? — говорит. — Я уж так как-нибудь. Мне бы вот только сына дожидаться... Я уж его ждать буду. Да и Корней Петрович неизвестно — погиб или нет. В гробу-то я его не видела. Может, опять другого кого похоронили... Мне и Веревкина, ясновидящая, говорила: живой он...

Так она и осталась в миру. И все вроде бы ничего, только вот со зрением у нее совсем плохо, хуже видеть стала. Врач поселковый сказал — это от переживаний. Но Мирония Антиповна по-прежнему в монастырь ходит — на могилку Устиньки, голубей кормить. Одного она только боится — вернется Арсений, а она его сослепу не узнает.



Дмитрий БОБЫШЕВ

Петербургские небожители

Анатолию Генриховичу Найману

1. Престолы*

Этот город, ныне старый
над не новою Невой,
стал какой-то лишней тарой,
слишком пышной для него.

Крест и крепость без победы
и дворец, где нет царя,
всадник злой, Евгений бедный,
броневик — все было зря...

Ста чужих языков гомон,
крик приказов у казарм —
стихло все. Как вымер город.
А о людях что сказать?

...Изначально заболочен
и заклят Авдотьей... Пусть
под имперской оболочкой
люди есть, а город пуст.

В эту выпитую чашу
кто Историю дольет?
Ангел, вечно влево мчащий?
— Не летает ангел тот.

А когда-то, заповедно
небо метя парой крыл,
Ангел Западного ветра
этот город золотил.

Он, креща в святую веру
все — от моря до земли,
позлащав собой и ветер.
Вниз его теперь свели.

Был красой, грозой и силой,
шипиль — его былой престол,—

январь 1994

низведен, утрачен символ,
обезангелен простор.

Обескрылел и заветрел...
И, топча петровский торф,
кто живые, те не верьте:
люди есть, а город мертв.

Был он весь, как весть о чуде,
списком каменных цитат
был... Но что с той книгой будет,
и кому ее читать?

За последнюю страницу
кто заглянет в пустоту,
на конце споткнув зегзицу?
— Ветер лищет книгу ту.

В эту цель конечно вперяшь,
разлетелся ветер Вест.
Горизонт уж очень перист —
где он, гений этих мест?

Гений — города Летатлин —
ангел, был на луч воздет.
Но и он, как обитатель:
нет любви, и дома нет.

На последний — не посетуй,
то есть: гроб, гранит, металл.
Много красного по свету
Вест недаром разметал.

Человек сгорел? — Горами
свай людских, телесных дров
там огромно догорает
клятый век, петровский торф.

* Полностью цикл стихотворений публикуется впервые, некоторые в новой редакции.

2. Силы

Людей полно. Конечно, тех, кто выжил,
но у толпы я ни лица не вижу.
Где, например, тот смертный, как Патрокл,
кто жил пером, кто даже душу впрок

в заветной лире прятал, сочинитель?
Вон у Сатурна кровь на бороде,
опять он жрал детей. Теперь ищите...
Теперь не спрашивайте где.

Страна-Сатурн с раззявленным болотом:
четвертый век в нем будет поперек
мой вертикальный город недоглотан.
А гения и ангел не сберег.

Где сердце, мозг — все враз? Где эпилептик,
кому вlepили вышку за ништяк,—
сказали бы теперь. Но, сдав билеты,
вы эшафотом с ним переболейте,
а после спрашивайте, где и как.

У дамбы — лужа. В ней — кармин и охра.
Как ярко хохотал комедиограф,
луж осмеятель востроносый,
который написал... Который сжег...
Где ж он? Он там. Где там? Что за вопросы!
Закат испепеленный — желт.

Закат — как сотни зорь, пылал. И розу
слал незнакомке полубог, жених,—
ей, а не Деве радужной на ризу...
Но Русь, как будто чушка — чад своих,
похавала его, красавца, в луже.
А нам? А вам, оставшимся, тем хуже...

И строгой царскосёлки вам не жаль?
При звуках омерзительного бала
сползла на-плеч поруганная шаль,
и — некому... Кто мог, того не стало.

Вот ангел (то есть песня!) отлетел.
Поблескивает близким устьем Лета,
для рвения всякого предел:
удел речей и рек, словес и дел, и тел,
и лысин умственных — властителя? поэта? —
кто вековечья слишком восхотел.

И Силы — с ног на голову все это...

май 1994

3. Души

Стали собственною одой —
воздух, золото, гранит...

И в воде — подобный вид:
опрокинутый, а гордый,

хоть и порчен, трачен, бит
сей порфирородный город.

Город-нищий, город-принц,
где имперски мыслят камни
в преломленьев невоских призм.
Держит череп город-Гамлет

(кто из них — по правде — мертв?),
и горит отцовский торф
под ногами у актера.
— Где душа твоя? — Котора?..

— Я их выводок найду
в полуциркульном пруду,
там, где и моя белела
болью, что не с нею — тело...

Но утешен — двух — союз
там, где так стройна ограда,
так слышны подсказы муз,
что на волю б и не надо.

И найдутся — души — две
в водоеме полукруглом.
Лебедь с лебедем-супругом

июль 1994

здесь брачуются в воде.
Эти выгнутые выи
(шея — к шее двойника)
пишут буквы беловые
в черной глади, меловые —
мирового языка.

Клювы в самый миг сближенья
замыкают сердца знак
обоюдный. Неужели
счастье — вечно? Пусть бы так!

Так, но гордых горл излуки
лирой стали, Лаллой Рук.
И из струн исторгся звук:
— Счастью —
миг, а век — разлуке.

Пишет лиры и сердца
дважды сдвоенная птица:
— Миг, он может вечно длиться;
век, он тоже ждет конца.

— Город — улицы и лица...
Не без моего лица.

4. Крылья

Когда Ульянов, как из брюк,
из букв у города повыпал,
и потаенный Петербург
взял из Невы и выплыл.

И ангел, возглавлявший небосклон,
был тоже снят — в ремонт, а не на слом:

пять, лудить (пожухла позолота)...
Тогда я взялся за его пяту,
ту золотую запяную,
что небо отделяла от болота.

(Его изъеденный доспех
и створок симметрические братья
в часовне висли на виду у всех.
Да мог ли и воображать я,
что так он спешится?
А ведь — крылат.
Я дико возжелал рукопожатья,
но дотянулся лишь до пят.)

Довольно и того... Спасись!
Перенестись в иное,—
равно-лазурны одиночество и высь,
но позолота — внове.

И — вековечить. Но уже вдвоем
с огромным новым братом,
и окормлять с ним б-плеч оком,
и делать кормчество крылатым.

Чудовищны и Ариост, и Тассо.
И даже я — представь и удивись,
я в «Боинг» сел — и ввысь.
А он остался.

сентябрь 1995

5. Паруса

Отплавал по волнам Невы и гавани
добротный бот... Смолистый барк?
Теперь весь этот воздух, им возглавленный,
летит во мрак.

И не подвел, а сдюжил, дело выполнил,
Но, снаряжаясь в новый век,
он золотит ветрила, руль и вымпелы,
и: — Все наверх!

Иль это галиот? Летит прославленный
скрипучий бриг... Или корвет?
Да это же — для будущих послание,
и — вскрыт конверт.

А из него — листки... Не детям этим ли,
депешу развернув, прочесть
«Курс — Вест»?.. И в молодом тысячелетии
ответить: — Есть!

И эта высь, и ангелы плечистые,
что город сверху берегут,
его к себе, крылатого, причислили
вдруг, на бегу...

И: — Так держать, чтоб, главное, от берега!
В даль, за таможенный буян,
в те глубины, где галактика, Америка,
вновь — океан.

Я правду корабля не только выстоял,
я вылетал ее, и вот
гляжу: летит и он, как ангел истинный,
ввысь и вперед.

ноябрь 1995

6. Столпники

«Niki's looking at hussars» —
алмазом по стеклу Зимнего дворца.

Над кровельной и жесткой жестью
воздеты жесты:

то бронзой указывает перст
туда, где крест,
то камнем воздымается десница,
грозя всему окрест —
от верха и до низа.

И ветра прозелень, и облачная накипь
на тех руках вознесена.
Се — город, мыслящий инако,
чем целая страна.

Смотрители его и озиратели
закатных рун, рассветных сутр —
два столпника, все видевших заранее...
И знали, что несут:

Екатерининский, Александрийский
на куполе и на столпе
держали крест — дать вестью озариться —
один — царям, другой — толпе.

А Ники из окна дворцового
залюбовался на гусар;
очнулся лишь, когда ему доцокало
(подковами да по торцам):
— Ты царь!
— Не царь я...
— Царь!
И — точка трибунала.
Тем, из толпы, — им отреченья мало,
а — иродам — и род весь извести.
Царица готская, царевны, цесаревич
посмертно — в негашеной извести...
Что, этот стыд — молчанием заречь?

Пусть мути будущего непроглядны, —
сил не убудет у эмблем:
крест выдрали, остался жест проклятья
всему и всем.
Но ангел без креста,
он — сразу — демон.
И, облетевший ликом, темный телом,
он — нераскаянный, нависший груз,
блокадный мор, и глад, и трус,
и пытки,
и разрушения, и наложенье уз,
и беды (еще неведомые!) — в избытке.
Не слишком ли грозит крылатый камень,
даст ли надежду бронзовая кисть?

Где гибель ангел-нехристь предрекает,
там крестоносец — каждому:
— Окстись!

7. Славы

Сколок солнца, пернатый соскок
вниз и вперед,
а тут и колонна,
чтобы, следок
о нее оперев,
мах — и в полет...

Окрыленно
ей бронзоветь.
Слава — это и венчик, и ветвь:
лавр — услада герою,
и пальмой — овеивать...
Иль поэта приветить.
Он ведь
славой второю

август 1996

мечен в преврат-
ном понятии прочих. Пернат.
Им обеим не чуждый.
Чести не рад.
Так ославлен собратом,
что плюнешь: — Вот чушь-то!

Вот, в лучах они — две,
двое слав,
двое бронзовых славок.
Как удачен колонный отвес:
оттолкнулись — и нет в синеве...
Ты — и высь! Ты — и свет этих слов:
— Обе славы — для слабых.

8. Шары

Если карта есть, где как-то
город-возглас нанесен,
значит (вывернув Декарта),—
существуя, мыслит он.

То его бросает в холод
и знобит, то — в зябкий жар.
Если мыслит этот город,
мозг его — прозрачный шар.

Даже два... И выкрик: — Эка,
ну и век! И верно — зверь.
Квадратура человека —
исчисление этих сфер.

То его кидает в голод,
то его бросает в бунт.
Если мыслит этот город,
думы голову скребут.

Измывают кубо-сферы
план зело разумных мер.
— А в рацеях нет химеры?
Жизнь — прямой тому
пример.

И едва Минерва мысли
скинет каменный шелом,

октябрь 1996,
Шампэйн, Иллинойс

вот когда мы изумимся,
сколько бредов будет в нем.

На Неве ты ставишь опыт:
чтоб не стало черных дней,
ночи белые утопий
утопляешь, город, в ней.

Сердце ль в горсти соберется?
Или ты и вправду пуст?
Нехватает лишь уродца,
заспиртованного в кунст...

Вот и сделал нас такими...
Потому-то я не твой,
что и сам ты — ностальгия
по культуре мировой.

И, крылом гореть гораздый,
застревал в моем окне
в комнате на Петроградской
золотой твой знак — *асте*.

И великия поэмы —
пар твоих реторт и колб —
плыли, воздухом поймы,
под двойной хрустальный лоб.

Рассказы

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ — ПЕРВЫЙ СРОК

Первый срок я получил из-за любви. Было это так. Учились мы с Анютой в одном классе. Избы наших родителей стояли через дорогу. Поэтому никаких первых воспоминаний о ней у меня нет. Я знал ее всегда. Для меня Анюта долгое время была такой же, как и другие масловские девчата. Не чувствовал я особой нежности, когда выпадало мне стоять с ней в паре в игре «ручеек», держать ее теплую мягкую руку над головой, давая возможность пройти ручейку из пар между нами, и, когда ее уводили от меня, не переживал, и сам не чаще, чем других девчонок, выбирал Анюту, оставшись без пары. Так было до десятого класса, до того времени, когда мне пошел семнадцатый год.

Я не помню теперь, в какой момент, когда я выделил ее среди других девчонок. Она ли за лето похорошела необыкновенно или моя душа начала искать объект для поклонения? Скорее всего и то, и другое. В юности я был сильно застенчив, влюбчив, смотрел на мир романтическими глазами, начитавшись романов, обожествлял девчонок. И первой богиней для меня стала Анюта.

Помню, в десятом классе, скосив глаза в сторону соседнего ряда парт, где чуть ближе меня к учительскому столу сидела Анюта, я не сводил с нее взгляд. Зимнее тусклое солнце освещало ее сбоку. Светлые, тонкие, чуть вьющиеся волосы блестели, розово светились на солнце, и мне казалось, что вокруг ее головы круг, нимб. Я забывал, что я на уроке, уходил в мечты, не слышал, что говорят учителя.

Помнится, перед двадцать третьим февраля в классе решили дарить подарки ребятам не от всех девчат вскладчину, как делали раньше, а одна девочка одному мальчику. Потом, на 8 Марта, он должен был подарить ей что-нибудь в ответ.

Руки мои дрожали, лицо было каменным и в то же время огненным, когда я принимал из рук Анюты одеколон «Шипр». Я считал, что волнение мое видит весь класс и теперь все поймут мое отношение к Анюте. Я всегда был скрытен, хотя внешне старался быть простым, ясным, всегда переводил разговор в шутку, в ерничанье над собой, когда чувствовал, что касается он той стороны моей жизни, о которой никто не должен знать. Но мои одноклассники не заметили моего состояния, и разговоры о нас с Анютой не возникли.

Помню, как мучился я: что подарить Анюте? В мечтах своих я осыпал ее цветами, купал в шампанском! Но откуда цветы в марте в деревне? Где их взять? А вкуса шампанского я сам тогда не знал. Купить его можно было в городе, за двадцать пять километров. Добирались туда зимой только на тракторе. Но самое главное препятствие: где взять деньги на подарок?.. Жили мы бедно. Получали пособие за смерть отца как многодетная семья.

Я давно приметил в нашем магазине красивую коробку духов «Красная Москва». Стоили они бешеные деньги, аж восемь рублей! Где взять такие деньги, когда пособие за отца на пять человек детей двадцать четыре рубля? Зимой в колхозе работы мало, только для тех, кто в штате, естественно, и зарплату не платили. И все-таки я попросил у матери эту сумму. Она обещала дать из пособия, которое получит в первых числах марта.

Школа была в центральной усадьбе колхоза за двенадцать километров от Масловки. Недельку мы жили в интернате, а в субботу нас привозили домой. Пособие мама должна была получить, помнится, в среду, а в четверг был Женский день. В среду утром я сбежал с уроков, отправился домой за деньгами.

В том году была ранняя весна. Бурно таял снег. Дороги и лощины набухли водой, прорезаны ручьями. Река вскрылась. Мост залило. По льдинам я пере-

брался на другой берег и быстро зашагал в Масловку, обходя по полю, по снегу и грязи, большие, как озера, лужи, мечтая, как буду вручать Анюте духи, представляя, что скажу ей, как она посмотрит на меня. Больше всего я боялся, что мама не получит пособия. Но, к радости моей, все было в порядке. Я взял деньги, пообедал и отправился назад. Опасался, что не успею до темноты перейти реку. И не успел. Пришел на берег в полной весенней темноте. Ощупью перебирался я по льдинам. Река за день поднялась. Вода шумела, хлюпала подо мной, урчала. Снежные льдины шуршали. Страшно идти по ним. Оступисьшь, юркнешь под лед — и поминай как звали. Никто никогда не узнает, куда я исчез. Перед самым берегом я решил, что пронесло, рванулся, прыгнул на берег, на снег и провалился по пояс в обжигающую воду. Слава Богу, стремнина позади. Я выкарабкался, выполз на берег, вылил из сапог воду и побежал в интернат.

На другой день счастливее меня не было человека. Я преподнес свой первый подарок любимой девушке, но слова, которые я тысячу раз повторял, шагая в Масловку, испарились из головы. В ней стоял только счастливый гул. Слов не было. Помнится, я промямлил только:

— Будь счастлива!

— Постараюсь! — ответила она.

Каждый воскресный вечер в масловском клубе я давал себе слово, что сегодня решуся, предложу ее проводить. Но как предложить? Как? Ведь из клуба все масловские ребята возвращаются гурьбой. Возле своего дома Анюта отделялась от других подруг и поворачивала налево, а мой дом был справа. Куда идти провожать, если она, сделав три шага от дороги, открывала калитку и скрывалась в своем палисаднике? Идти вслед за ней на глазах у всех? А если она прогонит или просто уйдет, хлопнет дверью? Такого позора, унижения я бы не перенес! Я с тоской провожал взглядом в темноте ее смутную фигурку, слушал шум калитки, скрип двери. И так каждый вечер! Я мечтал о той ночи, когда мне повезет, мы будем возвращаться из клуба вдвоем, и тогда я смогу сказать ей те слова, которые постоянно повторял про себя. Мы начнем встречаться!.. Но мне не везло, всегда были попутчики.

Приблизились и прошли выпускные экзамены, мы получили аттестаты зрелости и разъехались по городам поступать в институты. Я — в Тамбовский педагогический, а Анюта — в Воронежский университет.

В Тамбове, в студенческом общежитии, я оказался в одной комнате со Славкой Сергеевым, своим одноклассником и односельчанином. Жил он на другом конце Масловки, и потому друзьями детства мы не были. К тому же он был совсем другим человеком, чем я. Славка был легок в поступках и в решениях, всегда был весел, нагл, болтлив и, кажется, начисто был лишен угрызений совести. Что такое стыд, он не знал. Но странно, его очень любили девчата! Ростом он был высок, горбонос, как Гришка Мелехов. Той весной он встречался в Масловке одновременно с двумя девушками, что для нравов деревни шестидесятых было чудовищно, ново. Спал в открытую с обеими. Когда они, не выдержав, подрались между собой, Славка, похотывая, рассказывал нам, как они таскали друг друга за волосы. В Тамбове он тоже не сидел за учебниками, водил девок в нашу комнату. Таких же абитуриентов. Подпоив, подмигивал мне, чтобы я на время удалился. Потом хвастался успехом, не понимал, что легкие победы его вызывают во мне омерзение. Он считал, что я должен ему завидовать.

— Слезь ты с учебника! — говорил он мне. — Хочешь, и тебе приведу бабенку?

— Поступлю, видно будет, — отмахивался я.

— Поступим, — уверенно говорил он. — Ты сдашь, а за меня отец кому надо взнос внес. За уши втянут, никуда не денутся!

И действительно, мы оба поступили: я на филологический факультет, а он на физико-математический.

Дома я узнал, что Анюта провалилась в университете на первом же экзамене и давно в деревне... Через десять дней, первого сентября, думал я, пути наши разойдутся, и Анюта никогда не узнает, как я ее любил. Нет, надо решиться наконец проводить ее. Хватит мучиться, пора взростеть!

Подходя к клубу в первый раз после приезда из Тамбова, я твердо решил: сегодня или никогда! Появилась в клубе она, как всегда, попозже меня, сама подошла, поздравила, сказала:

— А мне не удалось...

— Куда же ты теперь?

— Не знаю... Скорее всего в Тамбов, на завод...

— В Тамбов?! — не сдержал я своей радости. — Значит, будем видеться! — вырвалось у меня непроизвольно.

— Возможно.

Весь вечер мне казалось, что я сойду с ума от счастья. Анюта будет жить в Тамбове! И там мне, студенту, ее земляку, будет естественно и просто заглянуть к ней в гости, пригласить в кино или в парк погулять. Счастье наше впереди! — ликовал я. За этим ликованием, за разговорами с приятелями о Тамбове я не заметил, как Анюта исчезла из клуба. Я взволновался, выскочил на улицу: нигде не видеть! Значит, ушла домой, успокоил я сам себя. Стало легче: не нужно сегодня ее провожать. В Тамбове все произойдет проще. Надо потерпеть.

Вечер был теплый. После клуба мы, несколько парней, лежали на траве под кленами, разговаривали, рассказывали анекдоты. Ощущение будущего счастья во мне еще не прошло, не хотелось идти спать. Приятно было лежать на теплой земле, слушать ребят, смеяться, смотреть на дымчатую звездную дорогу через все небо.

— Идет кто-то, — сказал Сашка Левитан.

К нам приблизилась темная фигура, Славка Сергеев.

— Что ты бродишь всю ночь одиноко?.. — пропел Левитан. — Откуда ты?

— Когда это я одиноко бродил? — горделиво фыркнул Славка. — Одиночество не по мне... Анюту провожал, — добавил он.

Сердце мое подпрыгнуло и полетело вниз. Звезды словно покрылись туманом.

— Не ожидал я, что она так на передок слаба, — продолжал говорить Славка без всякого хвастовства.

Я прилип, приклеился к земле.

— Скажешь, трахнул в первый вечер? — насмешливо засмеялся Левитан.

— Нет... Сам не пойму, почему сдержался.

— Трепись, трепись!

— Я не треплюсь, чего трепаться зря! Спроси у Алешкина, — кивнул он на меня, — сколько я девок в Тамбове отодрал?.. Я чуть к груди Анюты прикоснулся, погладил, а у нее колени подогнулись... Чего я сдержался, дурачок?

— Анюта не такая! — перебил Левитан.

— Это для тебя...

По дороге домой меня душила страшная тоска. Я не видел тропинки, хотя ночь была светлая, шел напрямик по бурьяну, нацеплял на брюки репьев. Долго сидел на ступеньке своего крыльца, обирал репы, швырял их в траву и тихо плакал.

Вечером с нетерпением ждал Анюту в клубе. Хотелось сразу увести ее, поговорить. Но что я мог ей сказать? Что Славка обыкновенный бабник... Да разве не знала она о его похождениях, о том, как дрались из-за него две девчонки?

Анюта появилась на мгновение, и опять я не заметил, как она исчезла. Славки тоже не было в клубе. Надо ли говорить, как прошел для меня этот вечер! Мы опять лежали под кленами, я не слушал болтовню приятелей, с нетерпением и тоской вглядывался в темноту, вслушивался: не шуршат ли шаги по траве?.. Первый издал я различил во тьме смутную фигуру Славки. На этот раз он шел быстро, торопливо. Подошел, сплюнул в сторону.

— Ну как? — насмешливо спросил Левитан.

— В ажуре... Бляха-муха! — ругнулся Славка. — Испачкался весь!.. Посветите сюда. — Он вытащил свою белую сорочку из брюк.

Левитан осветил фонариком кровавое пятно на сорочке.

— Во сука! — недовольно бросил Славка. — Видно, даванул я сильно, из нее кровяшка фонтаном...

Больше он ничего произнести не успел. Какая-то сила подбросила меня с земли. Я, не помня себя, что есть силы врезал ему в лицо. Славка упал от неожиданности. Я прыгнул на него и стал бить кулаками куда попало: по лицу, по бокам, по груди. Славка вывернулся из-под меня и вскочил. Я снова сбил его с ног. Он был сильнее меня, но почему-то не сопротивлялся — то ли был ошеломлен моим напором, то ли еще почему. Я бил его ногами изо всех сил, пинал, бил и плакал. Потом мне говорили, что я как-то странно по-волчьи выл, подвывал себе в такт ударам. Оттащили меня от него лишь тогда, когда он перестал шевелиться.

Славку увезли в больницу, а я, не заходя домой, пошел пешком в Уварово в милицию. Я думал, что убил его. Так и заявил дежурному милиционеру. Но Славка оклемался. У него была выбита челюсть, сломаны ключица и три ребра. На вопросы следователя я отвечал, что подрались мы из-за неприязни к друг другу. Пospорили и подрались.

Первые дни я был в шоке от всего случившегося, но потом, помнится, как-то быстро смирился с происшедшим, успокоился, не боялся следователя, понимал, что лагеря мне не избежать. Жаль было терять институт, но я сообразил написать заявление в деканат до суда, попросил вернуть, выслать документы в Масловку в связи с семейными обстоятельствами. Боялся я одного: тюремной камеры. Наслышан был о ее нравах, о прописке, которой не избежать новичку, о мальчиках-петухах. Я всегда не терпел насмешек и издевательств над собой.

И вот я в камере. Гулко захлопывается за мной железная дверь, гулко стучит в груди сердце. Кажется, стук его не слышен лишь потому, что я сильно прижимаю к груди матрас с закатанными в нем подушкой, одеялом и полотенцем. Камера большая. Человек десять смотрят на меня. Я чувствую, что они с одного взгляда поняли, что я малолетка и первоходочник. Я же вижу только их силуэты, для меня они темная одноликая пока масса под общим названием — уголовники. Я вижу несколько свободных нар, потом узнаю, что это не нары, а шконки, говорю громко и бодро, стараясь показаться бывалым, но голос невольно дрожит: «Привет!» — и шагаю к ближней свободной шконке. Но меня останавливает один из уголовников, пожилой мужик в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, руки густо синеют наколками, указывает на другую, подалее от двери. Я без слов подчиняюсь, сбрасываю свою ношу на железные сварные прутья, раскатываю матрас и начинаю натягивать на него дрожащими руками грубый наматрасник. Занимаясь делом, изо всех сил стараюсь не глядеть по сторонам, но спиной чувствую, что за мной наблюдают. Я не тороплюсь. Постелю, что дальше делать, как вести себя, не знаю. Тоска и страх! Жуткое напряжение во всем теле.

Наконец постель застелена, я сажусь на нее и обхватываю голову руками. Через минуту чувствую, как кто-то присел рядом, слышу голос:

— Скверно, братишка?

Рядом со мной сидит парень чуть постарше меня, чернявый, с реденькими усиками и чуть опущенной нижней губой. Я качаю головой, показывая: да, плохо!

— Кличут тебя как?

Я чуть не сказал: Петя, но быстро сообразил, что мое имя легко обыграть: петя-петушок, петух на жаргоне — гомик, и ответил быстро:

— Петр!

— Петруха, значица... А меня Толян, — протянул он руку.

Я пожал.

— Откуда ты?

— Из Масловки...

— Не слышал что-то... Где это?

— Рядом с Киселевкой, — слышу я голос от стола. Значит, к нашему разговору прислушиваются. С одной стороны, это меня ободряет, а с другой — заставляет сильнее напрячься.

— Шьют тебе какую статью?

— Драка... двести шестая...

— Хулиганка... значица, Баклан, бакланчик... Пока мы будем звать тебя Белый, — провел он по моей голове рукой, взъерошил волосы.

Я быстро пригладил их ладонью. Волосы у меня за лето выгорели на солнце, были белыми.

— Ты, верно, слышал, без прописки у нас нельзя... Получил жилплощадь, пропишись, будь добр!

— Раз надо... — пожимаю я плечами, стараясь говорить уверенно. А внутри меня все напряжено, натянуто. Страшно боюсь унижения!

Я слышал, что прописывают в камере железной ложкой по заднице, и решил терпеть.

— Пошли к столу.

Возле него поигрывал блестящей столовой ложкой высокий парень с прыщами на лбу и щеках.

— Сыграем в переглядки? — весело и насмешливо подмигнул он мне.

Я растерялся:

— Как это?..

— Кто первым моргнет, тому пять ложек по жопе.

— А тебе-то за что? — ляпнул я.

В камере засмеялись.

— Ты сначала перегляди! — обиделся прыщавый. — Садись!

Я сел напротив, и мы уставились друг на друга. Значит, прописка — это игра, а не простое избиение, тогда не страшно, думал я, глядя в его серые и какие-то мертвые, ничего не выражающие глаза. Всеми силами я старался не морг-

нуть, смотрел и смотрел в мертвенную пустоту его гляделок, смотрел до тех пор, пока они не стали расплываться передо мной, покрываться туманной мглой. Я чувствовал боль в глазах, сухую резь, но не моргал, держался. Я не понимал, что делаю глупость, наживаю себе жестокого врага, поэтому с радостью услышал вскрик:

— Моргнул!

Я посчитал, что моргнул мой соперник. Но указывали на меня. В первый момент я хотел воспротивиться: я не моргал! Но решил не сопротивляться, начал расстегивать брюки под веселые возгласы сокамерников:

— Снимай, снимай! Пошевеливайся!

Радостный Прыщ хлопал ложкой по своей ладони.

Я повернулся к нему со спущенными брюками и стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть. Кричать я запретил себе. Звонкий шлепок! Ягодицу обожгло, словно плеснули кипятком. Я глухо ахнул, хватанул воздух ртом, готовясь к новому удару.

— Ловко! — хохотали вокруг.

— Надевай штаны! Чего застыл? — кричали мне.

— А еще? — ляпнул я.

— Понравилось? — Все смеялись, а кто-то пояснил: — Десять секунд ты недотерпел, моргнул... Потерпел бы еще, выиграл!

Я быстро натянул брюки, с надеждой думая, что самое страшное позади. Прописан. Но не тут-то было. Чернявый Толян взял меня за локоть и подвел к стене, к батарее.

— Сыграй на гармошке!

Прыщ сзади постукивал ложкой по ладони. Слышны звонкие шлепки. Я догадался, что нужно не играть на батарее, а отвечать. Сыграешь — будешь посмешищем. Я сделал вид, что осматриваю батарею, потом повернулся к Толяну:

— Наладь сперва басы!

Позже я узнал, что нужно отвечать: раздвинь меха, но и моим ответом удовлетворились. Едва я ответил, как увидел, что прямо в меня летит веник. Я еле успел поймать его.

— Сыграй на балалайке!

Теперь для меня было совсем просто. Я швырнул веник назад с криком:

— Настрой струны!

— Молоток! — слышал я одобрительные возгласы сквозь смех. — Сообразительный!.. На дух его проверить надо!

Толян достал маленький складной нож, вместо ручки намотана тряпка, протянул мне:

— Держи! — И крикнул: — Полотенце сюда!.. Завяжите ему глаза да покрепче!

Мне обмотали голову полотенцем, туго завязали сзади.

— Вытяни левую руку перед собой ладонью вверх, — приказал Толян. — Вот как... Я буду считать до трех, а ты при счете «три» бей со всего маху ножом в ладонь!

— Зачем? — прошептал я. Внутри меня все трепетало.

— Бей, говорят! — жестко повторил Толян. — Размахивайся давай, поднимай руку с ножом!.. Выше... выше... Вот так! Начинаю считать! Раз... два... три-и! В камере тишина.

Я, сжав зубы, ударил ножом в свою ладонь. Лезвие воткнулось во что-то твердое. Я выпустил нож и сорвал полотенце с лица. Нож торчал в книге. Вокруг хохотали. А внутри меня все клокотало от ярости, от пережитого страха и напряжения. Это, видимо, легко читалось в моих глазах. Толян вытащил нож из книги и приобнял меня за плечи.

— Не кипятись, не кипятись!.. Надо ведь нам понять, что за кент к нам пожаловал: гнилой — не гнилой... Все, ты прописан!

— Это дело обмыть надо! — подсказал кто-то, видно, новый прикол.

— Хватит с него, — остановил Толян.

Еще больше зауважали меня после того, как в нашей хате появился Вася-ка Губан из Яруги. Он часто бывал в масловском клубе. Но я всегда сторонился его. Вел он себя агрессивно и выглядел типичным уголовником.

— Это ты Славке ребра поломал? — удивился он, увидев меня.

— Я...

— Ну, бля, орел! — глядел он на меня с восхищением. — Как же он тебя соплей не перешиб? Ты же перед ним шибздик!.. У нас слух прошел: какой-то Петька Алешкин Славке все кости поломал! Я, бля, никак тебя вспомнить не

мог. Что же это за амбал, думаю, в Масловке появился?.. Каратист, что ли?
— Дзюдоист, — ухмыльнулся я.

Суд был скорый. Судьи не выяснили только одно: из-за чего вспыхнула драка. Они, впрочем, и не упорствовали в поисках истины. Потерпевший и преступник налицо. Картина преступления совпадает в их показаниях. Преступник зверски избил потерпевшего. Сам считал, что забил его до смерти.

Когда меня привели в небольшой обшарпанный зал суда, я сразу же увидел на скамье Анюту. Она угрюмо сидела во втором ряду возле матери Славки. Я не ожидал ее увидеть здесь и сперва растерялся, заволновался. Сердце заныло... На последнем ряду в уголке с заплаканными глазами притаилась моя мать. Мне ужасно жалко стало ее, ужасно горько. Глядела она все время на меня. Я улыбнулся ей и поднял вверх большой палец: мол, не волнуйся, я не пропаду! Мама покачала головой, словно говоря: дурак, ну дурак! Что же ты наделал?

Во время короткого заседания я старался не смотреть ни на мать, ни на Анюту, не травить свою и без того измученную душу. Изредка у меня возникала надежда: может, дадут условно, не отправят в колонию? Психологически я был готов к трем годам общего режима. Так определили мои опытные сокамерники. Так и случилось.

Когда приговор был оглашен и судьи поднялись, стали собирать бумажки со стола, а немногочисленные зрители выходить из зала, Анюта вдруг быстро шагнула в мою сторону и громко прошептала:

— Я тебя ненавижу!

Я отшатнулся как от удара и глупо улыбнулся, застыв на месте. Меня всего обдало огнем: за что? Я окаменел, парализованный. Не видел, не помню, как уходила она. Помню только, что конвойные чуть ли не на руках вытащили меня из зала.

— Не дрейфь! — встретил меня на хате Васька Губан.— Год тебе сидеть, до пятидесятилетия Советской власти. А там амнистия, и ты дома!

Он оказался прав. Отсидел я год, вернее, отработал в колонии на мебельной фабрике. И в конце шестидесяти седьмого вернулся в Масловку. Во всех официальных документах, учетных карточках отделов кадров я всегда отмечал, что этот год я проработал в колхозе.

Дома узнал, что Анюта живет в Тамбове со Славкой нерасписанная. Вроде бы жена, а вроде бы и нет. Снимают комнату. Анюта работает на заводе, а Славка учится. Горько и грустно слушать такое. Я не мог без тоски смотреть на изумрудный пузырек «Шипра», который когда-то держали ее руки. Пользовался я им редко, в особо счастливые и нежные моменты, поэтому пузырек был всего лишь на четверть опустошен.

По вечерам я ходил в клуб, чувствовал у ребят интерес ко мне как к бывалому человеку и по глупой молодости старался держаться соответственно.

Однажды, помню, это было в декабре, бегу я на лыжах из магазина домой. День солнечный, морозно. Снег ладно, в такт бегу, поскрипывает. Настроение отличное, щеки приятно горят на морозе. Навстречу по тропинке, протоптанной в снегу, идет женщина. В двух шагах от нее я поднимаю голову и с разбегу останавливаюсь, словно смаху врезаюсь в забор.

— Анюта?!

Я не узнал ее: серое, худое лицо, под глазами круги, от уголков губ слева вниз тянется розовый шрам, глаза потухшие, унылые. И какая-то она вся сгорбленная, постаревшая.

— Что с тобой? Что случилось? — вырвалось у меня.

— Ничего... Все хорошо, — как-то жалко передернула она плечами и пошла дальше.

Я проводил ее глазами и уже не побежал, а побрел на лыжах.

— Ушла Анюта от Славки, — сказала мне мать.— Жили-то они враздрызг. Он пьет без просыпа. Из института выгоняли, отец съездил, уладил... А как пьяный, бьет Анюту смертным боем. Недавно избил, и выкидыш у нее случился... Она прям из больницы — в Масловку...

Через неделю я узнал: увез отец Анюту в Калининград к родственникам. Вскоре и я уехал из Масловки. Закрутила, завертела меня жизнь: строительное училище, второй срок, который я отмечал в учетных карточках отделов кадров как комсомольскую путевку на строительство газопровода, армия, Харьков, Сургут, Москва.

Я знал, что Анюта вышла замуж, у нее две дочери. Живет неплохо.

Лет через пятнадцать мы встретились в Масловке. Трудно ее было узнать: растолстела необыкновенно. Вся заплыла жиром, но веселая. Ничего от Аню-

ты, которую я любил, в ней не осталось. Даже волосы перестали виться, распрямилась, поседели, стали толще, грубее. Другой человек, другая женщина! Она была жизнерадостна, весела, словоохотлива. Говорила о своих девочках, о муже — любителе рыбалки, рабочем судостроительного завода, интересовалась моими книгами. Я подписал ей две последние дежурной фразой: моей однокласснице...

Ничто не дрогнуло во мне, не шевельнулось печально во время разговора с ней. Подумалось: ушло, забылось, умерло. Но почему же тогда с такой жгучей грустью смотрю я на полупустой изумрудный «Шипр» и, кажется, вижу еще на зеленоватом стекле отпечатки девичьих пальцев, чувствую их тепло, почему так печально сжимается сердце и хочется вскрикнуть, простонать, как в том чеховском рассказе: «Где ты, Анюта?!»

ЛАГЕРНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

После амнистии я проболтался месяц в деревне, обдумывая, как жить дальше. Уехать просто так из Масловки я не мог: паспорта не было. Председатель говорил: работай в колхозе, в городе ты пропадешь, справки ты от меня не дождешься, значит, паспорта тебе не видать. Забудь о нем.

Был декабрь. Постоянной работы в колхозе не было. И я два раза в неделю вместе с тремя мужиками и трактористом возил солому с полей коровам на корм. Утром, часов в девять, мы собирались в теплушке на ферме, резались в карты в дурачка до одиннадцати, а потом ехали в поле на тракторе. Сгорбившись, подняв воротники от холода, сидели мы на больших тракторных санях, срубленных специально для перевозки соломы. Снежная пыль от гусениц осыпала нас всю дорогу. Мы останавливались возле омета, вокруг которого весь снег был испещрен заячьими следами, накладывали воз, потом, если погода была солнечная, не мело, делали в омете конуру и снова начинали играть в карты, пока низкое солнце не коснется горизонта. Возвращались всегда затемно.

Председатель колхоза решил летом строить новый коровник, и нужные были каменщики. Со стороны ему нанимать не хотелось, и он направил в Уварово в строительное училище трех парней до весны. Среди них оказался и я. Летом я снова собирался поступать в Тамбовский пединститут, а до лета нужно было где-то перекантоваться. Учителем я не думал работать, я хотел получить литературное образование.

Жили мы в Уварове в общежитии, жили весело. Два этажа занимали будущие штукатуры-маляры, а два — каменщики и плотники. После занятий еще на пороге училища друзья мои, помнится, часто спрашивали у меня: «Сегодня куда двинем?»

Я окидывал взглядом девчат, выходящих на улицу, и останавливал какую-нибудь ласково:

— Валюшка, нам так хочется заглянуть к тебе вечером, посидеть, попеть под гитару!

Я не помню, чтобы мне отказали. Думается, потому что ни одна такая вечеринка не заканчивалась скандалом. Никто не упивался вусмерть, не грубил девчатам. Они знали, что я пишу стихи. Я охотно давал им читать свои тетради. Песни на мои стихи пели ребята под гитару, а сам я так и не смог научиться играть. Местные хулиганы, которые часто бывали в общежитии, с насмешкой называя его НИИ по половым вопросам, обходили стороной комнату, где были мы. Они знали, что я сидел, знали, за что, знали, что со мной всегда финка, которую я носил в боковом кармане пальто в специальных кожаных ножнах. Если, бывало, они врываются в комнату, где проводили вечер мы, я никогда не вступал с ними в спор, молча брал финку и начинал резать на столе хлеб или колбасу. Лезвие у нее было острейшим. Я, хвастаясь, иногда показывал, как она сбрасывает пушок на моей руке. Верхняя часть лезвия была в зазубринах, как пила. Длина — тридцать сантиметров. Вот такой финкой я спокойно, не обращая внимания на с шумом ворвавшихся местных хулиганов, резал хлеб. А одна из хозяек комнаты говорила им:

— Извините, ребята, у нас и так, видите, комната забита, сесть негде... В другой раз...

Они, посопев секунду-другую недовольно, покосясь на мою финку, на мое спокойное лицо, уходили. Местные ребята, как мне передавали, были уверены, что я не задумываюсь пушу в ход нож. Но я не был уверен, что смогу пырнуть им человека, более того, был уверен, что никогда не смогу этого сделать.

В застольях я никогда не был тамадой, не был балагуром. Оставался за-

стенчивым, скованным, хотя тщательно скрывал это. К девочкам относился двойственно: в светлые минуты по-прежнему обожествлял их, это было чаще всего, а в грустные, вспоминая Анюту, охотно поддерживал мужской разговор, говорил, что все они шлюхи, все готовы расплатиться под любым уродом. В те дни я не только ни разу не был с женщиной, но даже ни разу не касался девичьих губ. Думается, что такой опыт вскоре пришел бы ко мне. Я замечал, как поглядывают на меня некоторые девчонки — будущие штукатуры. Все пришло бы той зимой шестьдесят восьмого года, если бы я вновь не оказался за решеткой.

Помнится, это было после Рождества, в субботу, я зачем-то приехал в центр и встретил там Ваську Губана из Яруги, с которым мы сидели в СИЗО. Он чуть попозже меня получил свой срок и тоже освобождился по амнистии. Мы уже виделись с ним не один раз, выпивали, но к его компании я не пристал, старался держаться подальше. Вид у Губана был помятый, глаза страдающие, ищущие. Понятно, после сильного бодуна. Увидел меня, обрадовался. Пошли в пивнушку. Там он отошел малость, пил, охал, вздыхал: хорошо! Называл меня братаном. После второй кружки совсем взбодрился, говорит:

— Братан, чуть не забыл... Мне фонарик купить надо, здесь в культтоварах. Но там мегера работает, я ей десятку должен... Мне она не продаст, забрет деньги, зайди, купи! — И сует мне рубль двадцать.

— О чем речь! Пошли... — быстро согласился я. Пить еще одну кружку холодного пива в холодной, грязной пивнушке не хотелось. Не терпелось поскорее отделаться от Губана. Подумалось: куплю фонарик и распрощаюсь.

— Только ты повнимательней выбирай, — советовал он мне по пути в магазин. — Чтоб светил хорошо, в точку, не разболтанный был, ладно? Лампочку проверь... А я на улице подожду...

В магазине была только одна женщина в сером пуховом платке. Разговаривала она с продавщицей как раз в том месте прилавка, где были фонарики, радиоприемники. Я попросил фонарик и стал рассматривать его, откручивать-закручивать, пробовать пальцем — хорошо ли держится лампочка? Стукнула входная дверь, но я не оглянулся: мало ли народу ходит в магазин? Мне показалось, что лампочка вкручивается как-то криво, и я попросил продавщицу, которая, прекратив разговор с женщиной, смотрела, как я разглядываю фонарик, показать мне другой. Она потянулась к полке, и в это время раздался звон разбитого стекла. Мы разом обернулись на звон. Васька Губан с нахлобученной на лоб шапкой запустил руку в витрину прилавка, выгреб что-то оттуда, сунул руку в карман, повернулся, крикнул мне: «Тикай!» — и рванул к двери. Первой опомнилась женщина в пуховом платке и бесстрашно кинулась ему наперерез, а продавщица заорала:

— Держите его!

Губан около двери отшвырнул женщину и выскочил на улицу.

Продавец, по-прежнему крича истошно:

— Держите его! Держите! — откинула крышку прилавка и кинулась ко мне.

Я только тут понял, что меня принимают за соучастника кражи, и тоже рванул к выходу, но проем двери, раскинув руки в стороны, храбро закрывала женщина. Я остановился перед ней в нерешительности: бить ее, отшвыривать? Если бы передо мной был мужик, другое дело. И в этот миг сзади меня крепко обхватила продавщица, донесся громкий голос грузчика, спешащего из подсобки на помощь. Я понял, что сопротивляться бесполезно, мне не уйти, повернул голову к крепко обнимавшей меня продавщице и сказал спокойно, даже, кажется, улыбнулся:

— Задушили! Отпусти... — И усмехнулся разъяренному грузчику. Он был мордат и широкоплеч и не скрывал намерения врезать мне от души, пока держит сзади продавщица. — Я хотел вора задержать, а они меня схватили, дуры!.. — Грузчик остановился в растерянности: верить мне — не верить? — Отпусти! — уже грубее крикнул я продавщице. — Из-за тебя вор удрал!

Она нерешительно разжала объятия, говоря:

— Не выпущу из магазина до милиции.

Женщина в пуховом платке выбежала на улицу, но быстро вернулась, сказав с горечью:

— След простыл!

Выяснилось: Губан разбил витрину с золотыми изделиями и унес несколько золотых колец и сережек. Как позже посчитали, всего на сумму около полутора тысяч рублей.

Милиция прибыла быстро. Отделение было неподалеку. Я думаю, мне бы удалось выкрутиться: разговаривал с ними я совершенно спокойно, что сбыва-

ло их с толку. Но они под конец допроса решили меня обыскать и сразу обнаружили за пазухой тесак, да и продавец с женщиной твердили в один голос, что я соучастник, отвлекал, когда тот воровал. Они явно слышали, как он крикнул мне: «Тикай!» Это «тикай» меня и погубило. Я был арестован.

Следователю я продолжал твердить, что зашел в магазин случайно, вора не знаю, никогда не видел и не могу сказать, почему и кому он крикнул: «Тикай!» Следователь мне не верил скорее всего потому, что я уже сидел один раз, значит, был способен на преступление. Сколько бывшего зека ни корми, он все равно в тюрьму смотрит! Однажды следователь не выдержал моего упорства, вспыхнул, заорал, распался себя, и врезал мне кулаком изо всех сил, целясь под дых, но промазал, попал в живот. Я свалился с табуретки на пол. Первый раз меня били. В прошлый раз было незачем. Я ничего не отрицал, все протоколы подписывал безоговорочно. Я упал на пол, скрючившись, прижимая руки к животу. А следователь яростно подскочил ко мне, размахнулся сапогом. О, сколько сил мне понадобилось, чтобы не заорать на него матом, не обозвать козлом, даже не глянуть с ненавистью, не откатиться к стене! Я лежал беззащитно и смотрел на него снизу вверх. Нога его задержалась в воздухе.

— Зачем вы?.. — прошептал я беззлобно, с некоторой горечью и обидой.

Он опустил ногу, вернулся к столу и начал закуривать дрожащими руками. Я медленно поднялся, сел на стул. Руки я все прижимал к животу, показывал, что мне больно, мол, ударил он сильно, хотя боли я не чувствовал. Он помолчал, спросил впервые о ноже:

— Финку где взял?

— Купил.

— Где?

— В Тамбове. В охотничьем магазине.

— Проверим.

Нож я действительно купил там.

— Ты знаешь, что за ношение холодного оружия статья до трех лет.

— Это не холодное оружие...

— Ну да, перочинный ножик, — усмехнулся следователь.

— Охотничий нож... — возразил я.

— Слушай, не придурайся... Ты на дурака не похож, — вдруг вздохнул следователь. — За один этот ножичек тебе три года светит, выдашь ты или не выдашь своего подельника... — Следователь замолчал, пуская дым под стол и глядя на меня. Он не производил впечатление обычного дуболома мента. Молодой, видно, недавно окончил институт, еще не нахватался воровского жаргона, лицо не огрубело, глаза не потухли. — Нутром чую, что ты не вор...

— А почему же не верите? — вырвалось у меня.

— Не верю, что не знаешь вора, не верю, — произнес он с какой-то горечью. — Но верю, ты его не выдашь, отсидишь за него... Если бы ты сейчас хоть чуточку шевельнулся, — указал он глазами на пол, — я бы тебе все почки отбил...

— Почему же... остановился?..

— Лицо у тебя... — Он подобрал слово, но, видно, не нашел точное: — Не бандитское... — И добавил: — Глаза не врага!

Я не понял его тогда. Но позже, когда учился в Москве во ВГИКе, преподаватель драматургии, интересуясь мнением студентов по какому-то вопросу, обратился ко мне с такими словами:

— А что скажет молодой человек с внешностью положительного героя?

Да, как я понял, у меня была внешность положительного человека. Может быть, потому, что я всегда любил людей, не абстрактное человечество, а конкретных людей, тех, с кем меня сталкивала жизнь, даже в лагере. И люди отвечали мне тем же. Конечно, бывало, и я невольно обижал близких, и меня обижали, получал и я неожиданные тумаки, но мне всегда казалось, что это от непонимания меня, моих поступков. Я никогда долго не сердился на обидчиков, не старался отомстить, верил: жизнь сама все расставит на свои места.

На суде я тоже не назвал имени Васьки Губана. Прокурор просил дать мне шесть лет по двум статьям, но судьи почему-то отменили статью о ношении холодного оружия, а по второй статье получил я три с половиной года.

Ни хата, ни зона меня не пугали. Все было знакомо. Только теперь я должен был сидеть не с малолетками, а в колонии для взрослых. Мне шел девятнадцатый год. Из Тамбова нас, человек двадцать зеков, поездом отправили в Саратовскую область в Александров Гай на строительство газопровода «Средняя Азия — Центр».

Строили мы не газопровод, а компрессорную станцию неподалеку от степ-

ного городка, где когда-то сражался Чапаев. Степь была здесь ровная-ровная, а земля коричневая, не земля — глина. Вода в колодцах соленая, поэтому питьевую нам привозили в цистерне. Жили мы в низких соломенных бараках, сляпанных на скорую руку. Когда я оказался там, корпуса компрессорной уже стояли, и меня определили в бригаду изолировщиков. Мы должны были изолировать турбины, обматывать, обвязывать их шлаковатой в несколько слоев. Шлаковата сыпалась на лицо, набивалась за шиворот, в рукава, впивалась в тело. Изолировщики всю ночь чесались, и кожа в открытых местах постоянно была в красных точках, как у чесоточных. В лагере, хоть он и был временным, было все, что положено при общем режиме: санчасть, столовая, клуб, где два раза в неделю крутили фильм, библиотека, школа и Ленинская комната. В ней зеки в свободное время обычно играли в карты. Меня подмывает, руки просто чешутся описать ряд интереснейших случаев из лагерной жизни, но тема рассказа моего другая. Как-нибудь в следующий раз. Хорошо, отвлекусь на миг, расскажу, как меня в первый же день чуть не сделали «козлом». Козлами, или ссученными, называют тех зеков, которые согласились работать на администрацию: бригадиры, библиотекари, завклубом, завстоловой и тому подобный состав. Ниже «козлов» по положению в лагере только «петухи», педерасты.

Только по прибытии в лагерь устроился я в бараке, застелил шконку, разложил в тумбочке вещи, слышу, дневальный кричит:

— Алешкин, Кукленко, на выход!

Выходим мы вдвоем на улицу. Возле барака нас ждет лейтенант в полушубке с двумя граблями.

— Видите, на запретке сугробы намело, — указывает он нам на запретную зону. — Быстренько снег разровнять. Чтоб ровненько было! Марш! — Он сунул нам грабли.

Кукленко взял свои, а мои упали рядом со мной на тропинку.

— В чем дело?! — рявкнул он на меня. — В карцер хочется?

В запретной зоне летом вспаханную землю регулярно разравнивали граблями, чтобы на земле могли остаться следы, а зимой ровняли снег, чтоб за гребнем сугробов не прополз незамеченный беглец. Делали это «козлы», активисты. Я понял: если войду на запретку с граблями, все — я «козел», не пойду — непременно окажусь в ШИЗО на пятнадцать суток. А в таком холоде карцер не мед. Бога благодарить надо, если только с воспалением легких вынесут. Меня осенило: надо придуриться, и я сделал испуганное лицо, опустил глаза и прошептал с дрожью в голосе:

— Не пойду в запретку!

— Бери грабли! — рявкнул лейтенант.

Я в ответ только сгорбился сильнее, но не шевельнулся.

— Иди пиши объяснительную за отказ подчиниться. И в ШИЗО на пятнадцать суток.

В конторе мне дали листок и ручку. Вместо объяснительной я написал заявление прокурору, что вопреки правилам, по которым зеки не имеют права не только входить в запретную зону, но и приближаться к ней, мне приказывают идти в нее, якобы для работы, но я понимаю, что им нужно, чтобы охранник меня подстрелил и получил за это отпуск. Это заявление я передал дежурному, попросив передать прокурору. Он прочитал и захохотал, позвал лейтенанта. Тот тоже захохотал над моим заявлением. Насмеявшись, они порвали бумагу и сказали мне:

— Ступай в барак, отдыхай, завтра в бригаду изолировщиков!

Ликуя в душе, что я так легко отделался, я радостно заскрипел валенками к своему барaku, глядя, как дурачок Кукленко добросовестно работает граблями в запретке, ровняет снег. А может, и не дурачок? Некоторые зеки добровольно шли в актив. Помнится, в тот же день, присидев в бараке часок, чтоб дежурный и опер забыли обо мне, пошел знакомиться с лагерем. Первым делом заглянул в санчасть. Пьяненький фельдшер, мужичонка небольшого росточка, грубо спросил:

— Какого... надо?

— Знакомлюсь.

— Познакомился, утопывай. — Он, конечно, сказал поглубе.

Я зачем-то весело подмигнул ему и пошел в клуб. Завклубом, лысый и полноватый мужик лет пятидесяти, напротив, обрадовался мне. Был он тоже под мухой. «Неплохо здесь живут «козлы!» — подумал я.

— Новичок! — долго с удовлетворением тряс он мне руку и, едва мы познакомились, спросил: — Поешь?

— Не-е, танцую! — засмеялся я.

— Это же здорово! Танцоры нам нужны! Записываю в художественную самодеятельность,— бросился он от меня к столу, к амбарной книге.

— Я только во сне танцую,— остановил я его.— Вообще-то стихи почти могут. Можешь записывать,— согласился я.

— Стихи — тоже хорошо,— с прежним энтузиазмом, ничуть не обидевшись, что я разыграл его с танцами, продолжал завклубом, записывая мое имя в амбарную книгу.— У нас литературный кружок есть, рекомендую! Каждое воскресенье работает. Энтузиастка ведет, энтузиастка, скажу я тебе!.. Смотри, сколько у нас кружков,— указал он на плакат на стене.— Выбирай любой!

В длинном списке был даже акробатический кружок.

— Хочу в акробаты,— сказал я.

— Акробатический, честно скажу тебе,— прижал руку к груди завклубом,— не работает... Был тренер, освободился недавно. Ученичке своей лохматый сейф вскрыл и загремел на восемь лет...— Завклубом вдруг горестно вздохнул.— Я тоже за лохматый сейф срок мотаю. Но у меня другое дело, честно я те скажу. Взревновала одна хористка, что я к ее подруге заглянул, и пришли дело. Бабам вера... Может, ты ко мне в хор хочешь? Ох, какой у нас хор!..

— А кто литкружок ведет? — перебил я его.

— Учителка одна! Энтузиастка, скажу я тебе...

— Где они собираются, здесь? — снова перебил я.

— В библиотеке, в библиотеке в этом же бараке... С того торца вход. В три часа, каждое воскресенье!

— Спасибо. До свидания,— повернулся я и пошел к двери.

— Напрасно, напрасно ты в хор не хочешь! Отличный хор! Я профессионал... Заслушаешься,— говорил мне вслед завклубом.

На удивление мое, библиотека оказалась хорошей: собрания сочинений Лескова, Марка Твена, других классиков.

— Зек один завещал,— пояснил библиотекарь, бывший студент. Баклан — так звали тянувших за хулиганку. Кликуха у него — Кулик, по фамилии Куликов. Я, знакомясь, называл себя Белый.

— Литературный кружок у тебя занимается?

— Вон там,— указал Кулик. За стеллажами с книгами виднелось небольшое пространство, где стояли журнальный столик, потрепанный диван, несколько стульев.— Стихами балуешься? — спросил он без иронии.

— И прозой тоже.

— Тогда тебе здесь место. Приходи в воскресенье... Ирина Ивановна рада будет, она каждому новичку радуется...

В воскресенье без четверти три я пришел в библиотеку.

— Проходи, собираются,— указал Кулик на диван за стеллажами.

Там я с удивлением увидел своего бригадира, пожилого, с большим ноздреватым носом, похожим на картофелину, и совершенно лысого. Сидел он много раз и много лет. Тело его за годы отсидки сплошь покрылось синими наколками. Кого-кого, а Калгана, так его звали, я не ожидал здесь встретить. Рядом с ним расположился на диване чахоточного вида парень со впалыми щеками и резко выступающими скулами. На стуле пристроился мужичок небольшого росточка с круглым сморщенным лицом. Встретили они меня дружелюбно, особенно Калган, бригадир. Он усадил меня рядом с собой на диван и все приговаривал с одобрением:

— Не ожидал... рад... очень рад... Что ж ты молчал раньше? — упрекал он меня, словно я работал с ним не три дня, а три года и скрывал, что пишу стихи.

Шумно вошли два парня, должно быть, одноклассники, ненамного старше меня, застучали валенками у порога, обивая снег, начали раздеваться, громко споря о чем-то. В библиотеке сразу стало шумно. О чем шел спор, не помню теперь точно, помню, что он был литературный, о стихах. Кажется, один утверждал, что новое стихотворение Андрея Вознесенского — говно, а другой называл его великим, классикой нашего времени. Калган сразу включился в спор, стал доказывать, что Асадов — первейший поэт эпохи, пытался читать некоторые его стихи.

— Пришла! — вдруг прошелестело громко, и спор затих.

Мы повернулись к двери и молча стали смотреть сквозь стеллажи, как невысокого роста женщина, стоя спиной к нам, снимает коричневую искусственную шубку, вешает на гвоздь, снимает белую пуховую шаль, встряхивает иссиня-черными густыми волосами до плеч (вначале они показались мне крашеными), проводит несколько раз по ним расческой, поворачивается и с улыбкой идет к нам меж стеллажей, чуточку развернув одно плечо вперед, чтобы не задеть книги на полках. Не помню, какой я рисовал себе перед встречей эту ла-

герную учительницу литературы. Помню, что не такой! Мне показалось, что к нам приближается индианка или персиянка, так смугла она была. Чуть пухловатое, смугло-темное лицо ее озарялось блеском зубов. Сильно заметен был синевато-фиолетовый пушок над верхней губой, сгущавшийся к уголкам припухших губ. Глядела она, приближаясь, на меня. Я, не отрывая взгляда от ее персидского лица, стал почему-то подниматься ей навстречу.

— Новенький? — по-прежнему с улыбкой глядела она на меня. — Садись, садись! — Положила папку на коричневый журнальный стол с многочисленными белесыми кругами от стаканов, села на свободный, скрипнувший под ней стул и спросила: — Как зовут?

— Белый! — вякнул я и поправился: — Петр Алешкин...

— Хорошо... Люблю простые имена: Пушкин, Шишкин.

— Алешкин, — добавил я, вдруг чувствуя внезапный восторг, прилив иронии.

— Стихи?

— И проза.

— Это хорошо, а то у нас только один прозаик, — улыбнулась она Калгану, и тот радостно заерзал рядом со мной. — Его прозу мы сейчас будем обсуждать... А потом перейдем к стихам... Вы нам читаете свои? — снова глянула она на меня.

Калган писал о пиратах, о капитане Флинте. В главе романа, которую он читал, мелькали красивые названия: Бискайский залив, Карибское море, Сарагоса, Бильбао. Он читал, а я видел перед собой не лысого мужика со вспотевшим лбом и ноздреватым носом, а романтического мальчишку, мечтающего о дальних землях и морях, где он непременно побывает, когда вырастет, не подозревающего, что вся его жизнь пройдет в лагерях, а каравеллы и пальмы он каждую неделю будет видеть только в бане, выколотыми у себя на животе. «Неужели и мне суждено прожить такую жизнь? — промелькнула горькая мысль. — Нет-нет, надо любым способом менять ее, уезжать, удирать подальше от Уварова, туда, где меня никто не знает. Начинать сначала, выдираться из круга, водоворота, в который втягивает жизнь».

Я не ожидал, что глава из романа вызовет такие споры. Спорили даже о некоторых строчках: одним они казались вычурными, фальшивыми, другие убеждали, что в романтическом произведении они допустимы, приводили примеры. Народ был начитанный. Я только слушал, наблюдая с интересом за спорящими. Ирина Ивановна тоже молчала, ждала, когда спор иссякнет. По всему виду ее, по изредка вставляемым словам чувствовалось, что спор ей нравится. Она хотела подключить к спору и меня, но я постеснялся, покачал головой, отказываясь.

— Хорошо, привыкай! — улыбнулась она, и у меня на душе стало тепло и уютно, как, помнится, бывало в детстве, когда гладила меня по голове, ласкала мать.

Последней говорила о главе романа Калгана Ирина Ивановна, говорила быстро и много, слушали мы молча, не сводя с нее глаз, и, кажется, не только я, но и другие больше не слушали, а любовались ее бархатными улыбающимися глазами, реденькой черной челкой, прикрывающей половину высокого смуглого лба, пухлыми губами, наслаждались звуком ее мягкого голоса, и у каждого от нежности к ней ныло сердце.

Потом, волнуясь и дрожа, читал стихи я, читал на память, потому что не знал, что их в первый же раз будут обсуждать, и не переписал. Но обсуждать не стали.

— На слух сложно судить, — сказала Ирина Ивановна. — Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты молодец, у тебя много хороших строчек. Не ожидала, признаюсь... Я рада, что ты пришел... Откуда ты родом?

У меня горело лицо, в душе был восторг от ее похвалы. Я был счастлив, что оказался среди поэтов: да, да, передо мной были поэты, избранники Божьи, а не угловники. И они меня принимают, хвалят мои неуклюжие стихи. Я стограл от нежности и любви к этой небесной персиянке.

— Из тамбовской деревни...

— Да, да, ты же сказал это в стихах о море... Прочти еще раз. В нем ты ближе всего подходишь к поэзии.

Я прочитал.

— Посидеть бы тебе над ним еще, поработать. Могло бы хорошее стихотворение получиться... — сказала Ирина Ивановна.

— Мне понравились стихи о страннике, — вставил Калган. — От души сказано!

— Это там, где строки: «Но нету счастья в жизни сей! Себя я узнаю в грядущем и вижу: странник среди полей с пустой котомкою бредущий»? — Я поразился ее памяти: один раз послушала и запомнила наизусть. Вот это да! Потом ее память меня не раз поражала. — Нет, нет, эти строки надуманы, не выплеснулись из души, не его характера. — «Откуда ей ведом мой характер?» — подумалось мне. — А в стихах о море я вижу подтекст, глубину, символ. Там об извечных ошибках человека говорится, о человеческой душе. Все мы склонны рваться вперед, мечтать, думать, что счастье, счастливые дни впереди, придут, когда мы достигнем того-то, а когда достигаем, видим, что ошиблись, что вся эта синяя вечность — мишура, а счастливые дни были как раз там, позади, когда мы мечтали о вечности синей. И кто знает, — вдруг грустно заметила она, — может быть, кто-нибудь из нас назовет счастливыми дни, проведенные здесь, в колонии. Не дай Бог, конечно! — вздохнула она и замолчала.

Мы тоже молчали, не сводили с нее глаз, ждали, что скажет дальше. И она заговорила, глядя на меня, как мне показалось, с особой интимной улыбкой. Видимо, так всем казалось, когда она улыбалась им.

— А сентиментальщину брось, не пиши. Это безвкусно. Да и себя губишь... — Это какие?.. — не понял я.

И она снова поразила меня своей памятью, прочитав:

— Да вот эти строки: «Я приеду к тебе и про все расскажу, свое сердце тебе я открою. И всю подлость свою пред тобой обнажу, на коленях стоя пред тобой». Или вот такие строки, уже от имени женщины: «Ты зачем обманул, нащептал, что влюблен? Ты зачем разбил бедное сердце? Прилетел, промелькнул, словно сказочный сон... А сейчас мне скажи, на кого опереться?» Не пиши больше так, — снова, как мне показалось, как-то по-особенному улыбнулась она мне.

Признаюсь: именно эти строки мне нравились больше всего, именно эти стихи пели под гитару в Уварове. И здесь вчера вечером зек-гитарист пел их, и полбарака слушали, потом хвалили меня.

Мы провожали Ирину Ивановну до конторы. На улице стемнело. Ярко, ослепительно светил прожектор. Снег сверкал, отражался искорками от сугробов, хрумкал под нашими ногами. Узорчатые снежинки медленно падали сверху, осыпали дорожку, сугробы, крыши барачков. Мир был особенный. Я не чувствовал себя заключенным. Я был слишком свободным, счастливым человеком. Впереди меня шла небесная женщина, инопланетянка, неизвестно зачем попавшая к нам, уголовникам, в степь, в лагерь. Рядом с ней, по бокам, шли те два шумных парня. Сзади, подпрыгивая, хромал, пытаюсь оттеснить одного из них, Калган. Он все что-то быстро говорил и говорил Ирине Ивановне, спрашивал, а мы с чахоточным парнем шли сзади. Я счастлив был видеть, как шевелится белая шаль, когда она поворачивает голову, смотреть на узкие следы от ее валенок в мягких снежинках, пухом лежащих на дорожках.

Ночью думал о ней, с нежностью вспоминал ее лицо. Почему она здесь? Сколько ей лет: не больше двадцати пяти? Может быть, жена какого-нибудь начальника? Я слышал, как ворочался внизу на своей шконке бригадир, видно, обдумывал очередную главу романа, и свесился к нему, прошептал:

— Слышь, Калган, она замужем?

— Кто? Иринушка?

— Ну да...

— Была... к мужу своему, зеку, приехала два года назад. Чтоб поближе быть... А его вскорости прибило. Балка сорвалась, по голове — и не капнулось. — Калган замолчал, потом добавил: — Ты о ней не думай... Зря! Многие до тебя думали... и после думать будут.

Но я не мог не думать о ней, ждал воскресенья. В тот день мы читали стихи любимых поэтов. Я читал Блока, каждая строка его томила меня, была наполнена тайным мистическим смыслом. И мне так хотелось, чтобы и Ирина Ивановна почувствовала то же самое, что чувствовал я. Потом, когда мы ее снова провожали, помню, она сама пошла рядом со мной, стала спрашивать, и я признался, что поступил в педагогический институт, но учиться не пришлось.

— Ты подай заявление директору школы, — посоветовала она мне, — что хочешь учиться в одиннадцатом классе, хочешь освежить знания. У меня в классе всего три человека, да и те не каждый день ходят...

О такой возможности я не подозревал.

— А разрешит?

— Разрешит... Это же твое свободное время...

И я стал видеть ее почти каждый день. Каждый раз, когда она появлялась в классе и мы встречались взглядами, я вздрагивал, замирал, млея от нежности. Она видела, понимала, что я чувствую. Скрыть я уже не мог. Однажды, когда мы задержались в классе вдвоем после урока, а два других ученика выскочили в коридор, она протянула мне руку для прощания. Я коснулся ее пальцев, и словно взрыв взметнулся в моей душе. Я быстро наклонился, чтобы скрыть от нее свое лицо, глаза, и тихо коснулся губами ее теплой смуглой ладони.

— Дурачок ты, дурачок! — погладила она меня по щеке. — До завтра!

И ушла. А я еще минуты две стоял, прислонясь к парте, унимая жар, дрожь, ощущал ее нежные пальцы на щеке. Господи, как я счастлив был! Раз-ве поверит кто, что можно быть счастливым в заключении, в лагере? Я и сам теперь спрашиваю себя иногда: было ли это? Не сочинил ли я, как сочиняю жизнь героев своих романов, а потом поверил в вымышленное? Нет, слава Богу, было, было!

Прошла еще одна томительная неделя. Не знаю, как развивались бы наши отношения, если бы библиотекарь Кулик не загрипповал и не попросил меня посидеть в библиотеке в воскресенье: может, какой зек заглянет поменять книгу. Я был самым заядлым книгоцелем в колонии, и он мне доверял.

В субботу, помнится, я без всякой задней мысли сказал Ирине Ивановне, что завтра буду с утра сидеть в библиотеке один. Я не думал, что она придет и мы сможем посидеть вдвоем, поговорить. Конечно, я мечтал об этом непрерывно, но понимал, что мечты пустые: где в лагере можно уединиться?

Помню, большие стенные часы с медным маятником величиной с хорошую тарелку медленно и величаво в тишине били двенадцать, когда заскрипели морозно ступени, открылась дверь и, постукивая валенком о валенок, чтобы сбить снег, вошла она. Я читал книгу. Обернулся, увидел ее и вскочил... Помню, как, суетясь, дрожа от волнения, помогал снимать ей шубу, торопливо вешал на гвоздь, но, как мы оказались в объятиях друг у друга, убей, не могу вспомнить! Кто сделал первый шаг? Она ли? Я? Как отрезало! Скорее всего я на мгновение потерял рассудок. Опомнился, пришел в себя и чувствую, как изо всех сил прижимаю ее к себе у порога, и она крепко обвила меня своими руками, а я тихо, бережно целую ее, целую непрерывно, сгорая от истомы. Я не выдерживаю, впиваюсь в ее сладчайшие губы и вновь проваливаюсь в беспмятство, в сладкую пустоту. Привел меня в сознание шепот:

— Закрой дверь на ключ!

Мы стоим, обвив друг друга руками, прижавшись к косяку. Пуховую шаль она снять не успела, и пух щекочет мне шею. Я отпускаю ее и поворачиваю ключ в двери. Она снимает шаль, резко мотнув головой, встряхивает волосами, смотрит на меня блестящими глазами, улыбается, смеется вдруг и, видимо, от прилива нежности сжимает холодными с мороза ладонями мои щеки, притягивает к себе и быстро клюет в губы. Я снова обхватил ее руками, но она, гибко изогнувшись, выскользнула, отстранилась, прошептав:

— Погоди, погоди!

Взяла сумку с пола, сунула в нее руку и вынула из-под стопки тетрадей и книг бутылку шампанского.

— Будем пировать... Выключи свет... У нас с тобой два часа.

— Три!

— Нам не должны видеть вдвоем... Я уйду и приду.

Мы сидели на диване, прильнув друг к другу, пили по глотку шампанское прямо из бутылки и целовались непрерывно. В первый раз я чувствовал сладость женских губ и не мог насытиться. Я смелел, начал целовать ее в смуглую шею. Она сильнее откидывалась на диван, сползала на сиденье, жарче дышала. И чем более я смелел, чем сильнее сходил с ума, тем сильнее дрожали у меня колени. Я не мог ничего сделать с ними, не мог сдержать дрожь! Наконец она сползла на сиденье. Мы упали, не выпуская друг друга из объятий. Валенки ее с мягким стуком свалились на пол. Я лихорадочно стал расстегивать ее кофточку, снимать одежду. Увидел ее маленькую темную грудь с тугой ежевичной ягодкой и прильнул к ней губами, чувствуя, как колени мои уже не дрожат, не трясутся, а буквально ходят ходуном.

— Успокойся, успокойся,— шептала она, постанывая, и гладила меня одной рукой по голове, другой по спине под свитером и сорочкой. — Не спеши! Погоди!

Помнится, я вырвался из ее рук, вскочил и, как мне кажется теперь, слишком грубо сорвал с нее последнюю одежду, в один миг скинул с себя все, а дальше опять провал, беспмятство, сладчайшие обрывки. Помнится, все эти два

часа, пролетевшие в мгновение, мы не выпускали друг друга из объятий, впали в детство. Целовались, смеялись над каждым словом. Я наливал ей сверху в рот шампанское, она делала глоток, а остальное я выпивал у нее изо рта, прижавшись к ее открытым сладким губам. Проклятые часы пробили два раза. Она улышалась и легонько высвободилась из моих объятий, села на диван.

— Ты выдержишь на занятиях? — спросила она, одеваясь.

— Постараюсь...

— Постарайся, это важно для нас...

На занятии кружка я был тих, молчалив, задумчив, хмур. Не было сил смотреть на диван, вспоминать Ирину Ивановну, мою Иринушку, в своих объятиях, видеть ее сейчас деловую, строгую, слышать ее голос.

— Что-то Белый загрузил, — усмехнулся Калган. — Помалкивает сегодня.

— Грусть — нормальное состояние интеллигентного человека, — ответил я, и уголовники-поэты захохотали над моей шуткой. Во мне сразу спало напряжение, я стал спокойнее, свободнее.

Я думал, что ночь будет бессонной, но сомкну глаз от счастья, но уснул после отбоя сразу и спал без снов до подъема. День проскочил в нетерпеливом ожидании конца работы, в ожидании встречи с Иринушкой в классе.

Дни, когда не было уроков в школе, стали для меня тягостными. И дело не только в близости, в поисках уединения для которой мы были изобретательны и неосторожны до безрассудства, а больше всего в том, что я жаждал хотя бы на минутку увидеть ее, прикоснуться к руке, встретиться взглядом. Этого мне хватало, чтобы я чувствовал себя счастливым.

Чаще всего встречи наши происходили по воскресеньям в библиотеке на диване перед занятием литературного кружка. Кулик за бутылку водки давал мне ключ. Два часа в ласках и разговорах пролетали мгновенно, незаметно. Мы никак не могли наговориться, насытиться друг другом. Еще в одну из первых встреч я рассказал ей, как попал в лагерь.

— Почему ты не сказал следователю, как дело было?

— Я предчувствовал, что тебя встречу, — целовал я ее в уголки губ, в мягкий пушок.

— Нет, серьезно... Он же тебя подставил. Ты боялся его?

— Ничего я не боялся и не боюсь! Просто запахло предавать кента... Я бы сам запретил себя, не чувствовал человеком, если бы выдал. Жизнь длинна, зачем мне такой груз? Неужели не понимаешь?

— Понятно, понятно!.. Не пойму я другого: почему Губану не запахло, что из-за него человек сидит?

— Это уж его дело, его совести... А я хочу жить по правильным понятиям...

— Дурачок ты мой, — поцеловала она меня в лоб.

Во встречах наших мы слишком уверовали в свою звезду, в свое счастье, стали слишком беспечны, забыли, где находимся, не ждали катастрофы, а она была за дверью, на пороге.

Однажды, когда мы, как всегда, в воскресенье нежились на диване, кто-то толкнулся в дверь библиотеки, постучал, потоптался на скрипучем от снега крыльчке. Мы затихли, замерли в объятиях друг друга, думая, что просто зек пришел поменять книги. Уйдет. Такое было не раз. Шаги действительно проскрипели по ступеням, удалились. Мы опять увлеклись ласками и не слышали, как опер вернулся с запасным ключом, прокрался к двери, тихонько открыл ее и ворвался к нам. Вскочить с дивана мы не успели. Я обомлел, растерялся, а Иринушка, даже не сделав попытки прикрыть наготу, неожиданно резко и гневно крикнула:

— Как не стыдно?! Выйдите вон!

Опер, влетевший в библиотеку с лицом человека, захватившего преступников на месте преступления и готового к расправе над ними, остановился у стеллажей в нерешительности. Пыл с него слетел, он как-то обмяк, промямлил:

— Хорошо... Я подожду на улице. — И вышел.

Мы молча оделись, обвили друг друга руками, предчувствуя, что больше встреч не будет, по крайней мере таких. Не дадут.

— Плюй на них... Я люблю тебя, — прошептала Иринушка.

— Что они мне сделают, кроме карцера, а ты... ты...

— Не терзайся... Мне-то они что...

Никогда не забуду ее последний поцелуй, долгий, страстно-горький, прощальный взгляд черного бархата ее глаз. Я не думал, когда меня прямо из библиотеки уводили в карцер, что вижу Иринушку в последний раз. Отправили ме-

ня в ШИЗО на полную катушку, на пятнадцать суток. Дней через десять я узнал от вновь прибывшего штрафника, что Ирину Иванову уволили с работы и, по слухам, она уехала. Куда — неизвестно! Я изнывал от тоски, от бессилия, от горечи. Высох, почернел. Казнил себя ежеминутно: это я ее погубил!

Срок свой в ШИЗО я не отсидел до конца. Меня неожиданно вывели, приказали собрать вещи и одного, под конвоем повезли на станцию. Куда? Зачем? Ничего не объясняли, посадили в поезд, обычный, пассажирский, в отдельное купе с двумя конвоирами. Я решил, что везут меня в другой лагерь. Но утром в окошке замелькали знакомые места, полустанки. «Чакино, Ржакса», — читал я с бьющимся сердцем названия железнодорожных станций. С каждым стуком колес поезда мы приближались к Уварову. Зачем меня везут назад? Что произошло? Пересуд? Или вообще отпустить хотят? Тогда зачем конвой?

В Уварове меня поместили в одиночную камеру, накормили, повели знакомым коридором, которым не раз водили на допрос. Остановились возле комнаты следователя. Один из конвоиров скрылся за дверью и тут же вновь распахнул ее:

— Вводи!

В комнате было два следователя: один знакомый, он вел мое дело, другого я впервые видел. На табуретке у стены сидел Васька Губан. Оба следователя, как показалось мне, ехидно улыбнулись, глядя, как я вхожу.

— Знаком? — с ходу кивнул мне в сторону Губана мой следователь.

Я сделал вид, что разглядываю Губана, и пожал плечами, начал придуряться:

— Вроде бы где-то видел... Может, встречались когда, городок маленький, с кем только не приходилось выпивать... А так — не помню... Нет, не помню.

— Белый, не валяй ваньку, — глянул на меня горько и побито Губан. — Говори, как есть! Они все знают... Да и я им все выложил...

Я вздохнул, то ли горько, то ли облегченно, и начал рассказывать, как встретились мы с Губаном, как пили пиво, как попросил он меня купить фонарик. Все рассказал.

— Почему же раньше молчал? — спросил с насмешкой мой следователь. — Не сидел бы за него три месяца.

— А вы бы на моем месте как повели себя? Предали? — чересчур грубо спросил я.

— А если бы он тебе предложил напрямую грабануть магазин, ты бы тоже согласился? Так? — повысил голос следователь.

— Я бы такое ему никогда не предложил, — подал голос Губан.

— Почему?

— Он не вор. Вором надо родиться! — твердо ответил Губан и обратился ко мне: — Братан, я тебя подставил, прости, если сможешь...

Я вспомнил лагерь, Иринушку, литературный кружок. Не было бы у меня этого ничего, если бы он меня не подставил. И спросил себя: согласился бы я не иметь этого? Нет, нет... Я был счастлив, как никогда до этого, и один Господь знает, будут ли еще в моей жизни такие безумно счастливые минуты. Подумал так и сказал Губану:

— Не горюй! Мне было там хорошо...

— Ну да, — горько усмехнулся он. — Вижу... Черный весь...

Суд оправдал меня. Я вышел на солнечную мартовскую улицу Уварова свободным человеком. Все во мне пело. И тут же ко мне подошел милиционер и очень вежливо попросил:

— Пройдемте в милицию!

Отделение милиции было в двух шагах.

— Зачем? — растерялся я.

— Мне приказано привести.

«Что еще за новость?» — подумал я с тревогой.

Привели меня прямо в кабинет начальника милиции, к подполковнику лет сорока пяти, лобастому, угрюмому.

— Извиниться решили? — нагло спросил я.

— Садись, — указал он на стул. — Никаких извинений не жди. Сам знаешь почему... У меня к тебе обоюдное предложение. Подумай... Сейчас март, ты утопываешь в свою Масловку и сидишь там, как мышка, два месяца, носа не показывая в Уварове. Я, со своей стороны, как только начнется весенний призыв в армию, похлопочу перед военкомом, чтобы тебя, несмотря на твой срок, немедленно забрали! По рукам?

Я сделал вид, что обдумываю его предложение, хотя сразу с ним согласился, потом встал, подошел к подполковнику с прежним наглым видом, протянул ему руку.

— По рукам, гражданин начальник!

— Ишь ты, стервец! — ухмыльнулся, качнул головой подполковник, но руку пожал со словами: — Утопывай! Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу.

— Это было бы здорово!

Весну я провел в Масловке, надо сказать, веселую, запоминающуюся весну, с привкусом грустинки, печали по утраченной любви. Я написал письмо Калгану, просил узнать, как фамилия Иринушки, и если это возможно, то куда она уехала. Письмо от Калгана до меня не дошло. А четырнадцатого мая, когда по всем садам Масловки расцвели вишни, меня проводили в армию.

Но на этом история с Иринушкой не закончилась. Случилась она, напоминая, зимой шестьдесят восьмого года.

Сию я недавно в своем кабинете на втором этаже издательства, как обычно, не один. Лето. Июль 1996 года. Жара. За окном Москва, Пятницкая улица. Мягко шуршит кондиционер. Раздается звонок. Голос в трубке женский, не деловой, с некоторой смешинкой и чуть-чуть вздрагивающий:

— Здравствуй... Не узнаешь меня?

— Иринушка!!! — ошеломленно вскричал, ахнул я.— Ты?

— Я! — Милый, милый голос и немножко удивленный, радостно удивленный.— Как ты меня узнал?

— Не знаю... Током ударило — ты!.. Как ты меня нашла? Где ты сейчас? В Москве?

— Я тебя не теряла,— смеется.— Я все про тебя знаю!.. Ты сейчас лысый, с бородой, женат, у тебя двенадцать книг вышло, ты секретарь у писателей, руководишь издательством...

— Ошиблась! — весело вскричал я, забыв о сотруднике, сидевшем напротив.— Не все ты обо мне знаешь!

— Не может быть! — снова смеется мило-мило, а сердце у меня трепещет, как в юности.

— Я без бороды!

— Ой, да я тебя и в книгах, и по телевизору то с бородой, то без бороды видела...

— Ты все обо мне знаешь, а я о тебе ничего. Где ты живешь? Как?

— Если вкратце, как была учительницей, так и осталась. Муж, дети — трое, внук. Видишь, я уже бабушка, седая бабушка...— смеется.— Живу далеко. Лучше не спрашивай, не скажу... Ведь я тебя знаю...

— Ты права! Я страшно хочу тебя видеть!

— Вот-вот. Потому и не скажу. Ты увидишь совсем не то, что ожидаешь.— Без смеха слова сказать не может.

— Ну и что!

— А ты подумай, подумай...— И голос ее серьезнеет: — Я, как ты понял, шучу, ничего я о тебе теперешнем не знаю... Помню милого мальчика, но сильного, волевого мужа и ласкового, страстного, безрасудного мужчину...

— Ого! — теперь смеюсь я.— Не верю. Неужели я таким был?.. Кстати, меня тогда почти сразу выпустили на волю...

— Я рада, что смогла тебе помочь!

— Ты?

— Ну да... Разве ты ничего не знал, тебе не сказали?.. Когда я узнала, за что ты попал в колонию, я в тот же вечер написала в прокуратуру твоего Уварова, что ты непричастен к краже, назвала имя вора...

— Я считал, они сами взяли Губана.

— Жди от них! — опять смеется.— Ты прости, что я твой покой нарушила... Не выдержала я, мне так хотелось твой голос услышать. Прости!

— Что ты! — вскричал я.— Знала бы ты...— Я взглянул на своего сотрудника, ожидающего конца разговора, и повторил тише: — Знала бы ты...

— Ты не один?

— Да... Я тебе перезвоню, назови телефон. Я записываю!

— Ну да! — Ее смеющийся голос сводил с ума.— Записывай... Я скажу, а завтра встречай тебя, а у меня дети, внуки, я — седая бабушка, люблю покой...— шутила она, потом серьезно сказала: — Я сама позвоню тебе... Пусть живет в нас, как жило...— И нежно: — Целую! Целую!

Весь день стояла передо мной моя нежная персиянка, я видел ее глаза, смуглое лицо, пухлые губы и черный, почти фиолетовый пушок над верхней губой. Потом несколько месяцев ждал ее звонка, вспоминал Александров Гай, компрессорную станцию, библиотеку со старым, мягким, но ужасно скрипучим

диваном. Ждал, томился: звонка не было. Тогда я решил освободиться от грусти воспоминаний, выплеснуть их на бумагу. Что и сделал!

Но я знаю, верю: она позвонит, я вновь услышу в трубке смеющийся голос! И хочется верить, что когда-нибудь я обниму ее, мою седую бабушку...

СТАРАЯ ДЕВА И ЛОВЕЛАС

Как всегда, после застолья, после многочисленных и замысловатых тостов за именинницу Таню, хозяйку дома, после танцев, во время которых больше не танцевали, а дурачились, мужчины вышли на лестничную площадку покурить, а женщины остались убирать и носить из кухни горячие блюда. Именинница приготовила утку, фаршированную сливами. Андрей, почувствовав запах, кивнул с улыбкой на дверь:

— Утка — на столе!

Мужчин было четверо. Все они, как и пять женщин, гулявших с ними, были одногодки, одноклассники. В этом году по очереди отмечали каждому тридцатипятилетие. Разговор шел о политике, хотя никто из них ею не занимался, шел вяло, без особой страсти, которая всегда вспыхивает, когда в компании оказываются люди с разными взглядами. Поэтому после замечания Андрея об утке мужчины легко переключились на другую тему.

— Да-а, уточка у Танюши всегда хороша! — чмокнул губами Сева, предчувствуя, как здорово пойдет она с коньячком. Он любил поесть, из-за этого был полноват, с розовым лицом. Разгоряченный танцами и вином Сева все время вытирал платком пот с широкого лба и больших залысин, несмотря на то, что на лестничной площадке было холодно. Лампочка тускло освещала заиндевевшее окно внизу и узкую полоску снега, тянущуюся по бетонному полу от щели в раме.

— Помните, как Оленька попыталась так же утку приготовить, а она у нее вся расплзлась? — не удержался Олег, муж Тани. Ему была приятна похвала друзей.

— Раз я видел Оленьку совершенно голенькой! — пропел Андрей. Он сидел на перилах, свесив ноги, и улыбался в усы. Чувствовал он себя легко, приятно. Ничто не обременяло. Дома его никто не ждал. Андрей был единственный холостой мужчина среди четверых друзей, точнее, не холостой, а дважды разведенный.

— Сомневаюсь я, чтоб кто-нибудь ее видел голенькой! — хохотнул Сева.

— Вы заметили: она не стареет, а год от году хорошеет, — сказал Олег.

— А что ей стареть? Забот нет: за детьми ухаживать-беспокоиться не надо, из-за мужа или из-за любовников волнений никаких! Живи себе... — подхватил четвертый, Вадим, самый молчаливый из них. — Все бабы ей завидуют!

— Ну да! — усмехнулся Андрей. — Вряд ли захочет какая так жить: тридцать пять лет, а она не знает, что такое мужик в кровати!

— А мне в это не верится, — сказал Сева.

— А ты проверь! — посоветовал с усмешкой Андрей.

И они заговорили об Оленьке, стали вспоминать смешные случаи из ее жизни, жизни старой девы. Говорили добродушно, без ехидства и насмешки.

Оленька в школе была прилежна, тиха и незаметна. Ни дурнушкой, ни красавицей не слыла. По характеру была добра, всегда выручала всех. Но парни знали, что она очень не любит заигрываний. Была слишком серьезна. Легкомысленных и веселых девчат, с кем можно было приятно провести время, хватало, и к ней со временем все стали относиться как к хорошему приятелю. Оленька, естественно, с красным дипломом окончила педагогический институт, защитила диссертацию и работала теперь старшим научным сотрудником в Институте языкознания. Ребята не стеснялись перехватить у нее десятку до полочки, девчата неизменно приглашали свидетельницей на свои свадьбы. Потом она крестила у них детей и, конечно, как крестная мать, всегда сидела с ними, когда родителям нужно было куда-нибудь отлучиться на денек-другой. Дети ее любили, и, как ни странно для старой девы, она их тоже любила. В последнее время, уезжая в отпуск, друзья начали оставлять у нее своих собак. Знали: возражать Оленька не будет.

Вадим рассказал, как Оленька отказалась от выгодного варианта при обмене квартиры лишь из-за того, что хозяин хорошей квартиры погладил ее по заднице. Вышел скандал. Хозяин не смог убедить Оленьку, что смахнул комара. Был март.

— Я однажды, когда Дениску привез к ней, — признался Олег, — чтоб она

посидела с ним субботу, без всякой задней мысли, просто комплимент хотел сделать, приобнял ее за плечи и говорю: «Какая ты ладная с годами становишься!» Она так повернулась ко мне, так зубами щелкнула!.. Я думал: нос отсобачит! Полчаса извинялся, объяснял, что обнял по-дружески...

Андрей громко захохотал, и все повернулись к нему.

— Скажешь, бывал у нее, да? — быстро спросил Олег не без скрытого ехидства.

— Нет, врать не буду, не буду...

— Ну, если Андрей не бывал, то все мои сомнения побоку! — засмеялся Сева.

— Он же хвастается, что нет бабы, которая бы ему не отдалась после двух часов знакомства, — поддел Олег Андрея, обращаясь к Севе.

— Я и сейчас так считаю, — уверенно ответил Андрей, покачивая ногой.

Андрей еще в школе слыл довеласом. Был художав, высок ростом и очень походил на известного актера Леонида Филатова. Андрей отпустил такие же усы, стал подражать актеру, принял манеру держаться невозмутимо-иронически даже с учителями. Впрочем, такая манера соответствовала его легкой, поверхностной натуре. Если добавить к этому, что он был неглуп, незлобив и нежаден, начитан, был интересным собеседником, то успех его у женщин станет понятен. Сходилась он с ними легко, как, впрочем, и расходился, без скандалов и больших переживаний с обеих сторон. Дважды был женат, и оба раза недолго. Молодые его жены быстро убеждались, что любовником иметь такого человека неплохо, но мужем — одни слезы! Хорошие отношения с женами сохранились у него до сих пор, хотя обе они были замужем, и мужья их не в пример ему были семьянинами. Андрей, посмеиваясь, говорил им при встречах, что, мол, это он научил их выбирать мужей. Несмотря на то, что обе были довольны своими мужьями, они не отказывались от встреч с ним, когда он звонил... Работал Андрей раньше ведущим конструктором в одном военном КБ, готовился защитить диссертацию, но в девяносто первом бросил все, стал «челноком». Летал в Китай за пуховиками, в Турцию за кожаными куртками, в Грецию за шубами, в Таиланд, в Египет, в Арабские Эмираты... Деньги были — на судьбу не жаловался!

Олег да и другие приятели, привязанные к семьям, немножко завидовали его легкой жизни, его приключениям в дальних странах, посмеивались, подшучивали над его частыми посещениями кожно-венерологического диспансера.

— Нет, — возразил Сева Андрею, — есть такие твердокаменные... Легче кремлевскую стену головой пробить!

— Не спорьте напрасно: я лучше знаю! — самоуверенно стоял на своем Андрей. — Главное — с первой минуты верный тон взять...

— Скажешь, у тебя проколов не было? — усмехнулся Олег.

— Были, — признался Андрей, — но не из-за того, что недоступные попадались... Торопился, фальшивил... Контакт терялся, и ни времени, ни смысла не было тратить силы, налаживать: не хочешь — гуляй!

— А Оленька?.. И таких немало, — сказал Сева.

— Да, Оленьку тебе взять слабо! — снова подзадорил его Олег. — Крепость не по зубам!

— Скажешь, крепость! — усмехнулся Андрей. Самолюбие его было задело. — Избенка на бугорке!

— Бронебойная избенка! — засмеялся Сева, снова вытирая пот со лба. — Избенка, а взять ты ее не сможешь! Слабо?

— Спорим! Сегодня же возьму! — Андрей быстро протянул руку Олегу.

— Давай, — схватил его руку Олег. — Только как мы узнаем... Тебе соврать — недорого взять!.. Хочешь, я уговорю Татьяну подпоить ее и оставить у нас ночевать? И ты тоже оставайся... Спальня в вашем распоряжении... Слабо?

— Годится!

— Только не насиловать, — предупредил Олег.

— Это не в моих правилах!

Сева разбил их руки, и они, посмеиваясь, пошли в квартиру.

— Севчик, ты почему на мороз в одной сорочке? Да еще потный!..

— Не беспокойся, Оленька, во мне слой жира на два пальца. Не проморозишь!

— Давайте, девочки, поскорее, выпить хочется, весь хмель на морозе вышел...

Все вновь уселись за стол, снова начались тосты, говор, шутки, пьяный смех. Андрей искоса через стол следил за Оленькой, как она пьет, как без конца подливает ей Таня (значит, Олег уговорил ее), смотрел на ее лицо словно

впервые. Удивлялся тому, что у нее почти нет морщин, чуточку сеточкой обозначились в уголках глаз. Тон кожи на щеках ровный, смугловатый, с чуть прогибающимся от хмеля румянцем. Зеленоватые глаза вспыхивают, отражают блеск люстры над столом, когда она мельком поглядывает на него. Сидела она рядом с именинницей на диване, и трудно было поверить, что они ровесницы. «Хороша она как! — с удивлением подумал Андрей и тут же усмехнулся над собой: — Хмель, дружок, да похоть любую овцу красавицей сделает!»

Вспомнилось вдруг, как лет десять назад между женитьбами, привыкший к легким победам, попытался он соблазнить Оленьку. Дело было у нее в квартире. Тогда он не сомневался в успехе: атмосфера была соответствующая. Они посидели на кухне, выпили, оба чувствовали себя легко, непринужденно. Все для него шло к тому. И момент выбрал удачно: захотелось послушать Брамса, и они вошли в комнату. Он подхватил ее на руки. Оленька оказалась легкой. Опустил на диван и стал быстро целовать в щеки, в губы. Оленька не отбивалась, не отворачивалась, не пыталась освободиться, произнесла только просто и бесстрастно:

— Встань! Ничего не получится...

— Почему? — прошептал он, прекратив целовать и глядя в ее чуть потемневшие глаза. Но не поднялся.

— Встань, встань! Не порть вечер, — все так же бесстрастно повторила она, даже не делая попытки выбраться из-под него, словно была уверена, что он сам освободит ее из своих объятий.

И он подчинился, поднялся, помог ей за руку встать на ноги, но, стоя, быстро притянул к себе, обнял и поцеловал в щеку. Оленька в ответ только усмехнулась, проговорив:

— Значит, ты давненько не слушал Брамса? Сейчас поставлю...

Слушали музыку они потом около часа, разговаривая о том о сем как ни в чем не бывало. Помнится, когда он шел от нее домой, вспоминал ее чуть потемневшие зеленые глаза, бесстрастный голос и удивлялся ее спокойствию, тому, что он так легко подчинился ей, не пытался уломать. Странно!

После этого воспоминания Андрею подумалось с сожалением: «Зачем я поспорил с Олегом? Зачем мне это надо? Из-за глупого самолюбия!..» Ведь ясно, если он добьется своего, то нарушит этим все течение Оленькиной жизни! Для него шутка, игра, почти гимнастическое упражнение, а для нее... Глупо! Отказаться? Встать и уйти сейчас?... Нет, не годится! Так он покажет ребятам, что струсил, что все его амурные победы — блеф, хвастовство пустое.

Он снова и снова взглядывал на Оленьку, видел, как розовеют ее щеки по мере того, как пустеет очередная рюмка.

— Ну что, попрыгаем? — предложил Сева, и все стали подниматься, отодвигать стулья.

Музыка громко била в уши. Танцевали, кричали, прыгали кто как мог. Танцевать Андрей умел. Приятно было смотреть, как легко и изящно извивается его тело, как ловко двигаются ноги. Танцуя, он держался на расстоянии от Оленьки, но ни на минуту не выпускал ее из виду. Видел, как она все медленнее и медленнее двигается в танце, потом вяло упала на стул, но тут же встала и подошла к Тане. «Неужели уедет домой? Нельзя ее одну в таком состоянии отпускать!» — ужаснулся он и, продолжая танцевать продвинулся к двери, чтобы видеть, что делается в коридоре. Таня с Оленькой скрылись в спальне. «Отлично!»

Таня вернулась, сказала весело с добродушным удивлением:

— Отрубилась наша Оленька! Не подрасчитала, видно!

— И нам пора! — прекратили танец девчата. — Мужья давно уж на часы поглядывают... Рычать будут. Пора!

— На посошок!

— Это святое!

Андрей брякнулся на диван, притворяясь пьяным, и потянулся к бутылке.

— Может, тебе хватит?

— Не, — пьяно повел рукой Андрей. — На посошок...

Налил водки в фужер, граммов сто, выпил и вяло откинулся на диван, безвольно вытирая губы платком.

— Во дает... И этот хорош...

Рука его с платком обмякла и упала на диван. Голова отвалилась на плечо.

— Его некому ждать, у нас заночует. Не впервой!

Молодец Олег, не подводит!

— Нечего ему тут делать! Севчик на такси отвезет... — голоса девчат.

Вот сучки! Почуяли! Теперь все от Татьяны зависит!

— Мы в комнате Дениски заночуем, а он здесь, на диване!

Молодец, Танечка!

Он слышал, как одевались в коридоре, прощались. Хлопнула дверь. Тишина, мягкие шаги, усталый голос Тани:

— Завтра с утречка уберем со стола... Оленька поможет... Андрею надо постелить...

— Андрей! — затряс его за плечо Олег. — Иди, умойся! А мы тебе здесь постелим!

— Счас... Счас... — поднялся он с помощью Олега. — Я сам... — И пошел, петляя, в коридор, в ванную. Ударился по пути о косяк двери.

В ванной стал разглядывать в зеркале свое худощавое лицо, разгладил усы. Пьяным сильно он себя не чувствовал, за столом пил мало, чуть пригубливал. Прополоскал рот, умылся тщательно: долго поливал лицо холодной водой, чувствуя, как гулко бьется сердце. Усмехнулся, засмеялся над собой. «Плунуть, выйти, сказать: еду домой! — мелькнула мысль. — Нет, надо доводить до конца!»

Вернулся, диван застелен. В комнате никого. Из детской выглянула Таня:

— Ложись! Спокойной ночи... Свет выключи, не забудь.

— Гуд найт! — вяло улыбнулся, махнул ей рукой и прикрыл дверь.

Снял пиджак, повесил аккуратно на спинку стула, галстук туда же. Растегнул верхнюю пуговицу сорочки и оглядел разгромленный стол. «Выпить, что ли, еще?... Не надо!»

Он дернул за шнур, выключил свет, подошел к окну и стал смотреть, как вдали проносятся по темной дороге автомобили с горящими фарами, ползет троллейбус, как беспрерывно и быстро искрятся тонкие снежинки между веток под светом фонаря. На улице морозно. Январь. А в комнате тихо, тепло. Слышно, как тикает будильник на телевизоре.

Андрей скинул туфли и, особенно не таясь, прошел по коридору в спальню. Здесь светлее, чем в комнате. Прямо под окном на улице — фонарь. Свет его мягко и сонно падал на широкую кровать, на неподвижно лежавшую под простыней Оленьку. Лежала она на боку, калачиком. Щека на подушке и короткие русые волосы освещены матовым светом. Дыхания не слышно. «А если не спит?... Не может такого быть... Сам видел, как пила!» Он осторожно и медленно поднял простыню. Она была совершенно нагая. «Раз я видел Оленьку...» — глупо мелькнуло в голове, и стало стыдно. Он держал простыню над женщиной с давно забытым чувством стыда и разглядывал, как что-то запретное, еще не сошедший летний загар, две белых полоски — одна на приподнятом на постели бедре, другая — на боку, расширяющаяся к груди. Грудь маленькая, с небольшим темным пятном, выставленным ему навстречу. Одна рука — под подушкой, другая — ладонью на плече.

Чувствуя нестерпимое желание, он отпустил простыню и стал рвать, растегивать пуговицы сорочки. Одна не выдержала, отлетела, ударилась о дверцу шкафа и мягко упала на ковер. Ложился к ней дрожа, словно от холода, на миг замер рядом под простыней. Она не шевелилась, еле слышно дышала. Он осторожно, медленно просунул свою руку ей под голову. Оленька вздохнула ему в плечо, вытянула ногу и вдруг... закинула ему на грудь свою руку, обняла и снова затихла, стала дышать ровно. Он с дрожью ощущал ее теплое дыхание, мягкие волосы с тонким ароматом французских духов пухом касались его щеки. Кожа под его ладонями казалась бархатной, необыкновенно нежной и огненной. Обжигала пальцы. Он медленно провел, едва касаясь, по ее руке вверх, к плечу и, опасаясь, что его грохочущее сердце разбудит ее, не чувствуя больше сил сдерживаться, бережно перевернул ее на спину, начал быстро целовать в щеки, в глаза, в безвольные пухлые губы.

Утром проснулся от того, что онемело плечо. Оленька, словно почувствовав это, сдвинула свою голову ему на грудь и еще крепче во сне прижалась. Он затаил дыхание, чтобы не разбудить ее, продлить мгновение.

Скрипнула дверь, приоткрылась, показалась Таня, глянула на них и скрылась. За ней появился Олег, распахнул дверь, сказал громко:

— Эй, голубки! Десять часов уже...

Оленька, не прекращая сонно обнимать Андрея, подняла голову.

— Лежи, лежи! — тихонько и нежно шепнул ей Андрей на ухо и увидел, с каким ужасом она уставилась на него, приоткрыв рот, потом взвизгнула дико, взлетела над постелью вместе с простыней, оставив его нагим.

— Ты что, ты что! — только и успел он вскрикнуть, вскакивая вслед за ней.

Она сорвала со стула свою одежду и, тонко завывая, вылетела из спальни. Андрей начал лихорадочно одеваться, путаться, никак не попадая ногой в шта-

нину, слушая громкие, какие-то детские рыдания Оленьки и голоса Тани с Олегом, успокаивающие ее.

Когда он оделся и выскочил в коридор, на ней была уже шуба.

— Оленька! — бросился к ней Андрей.

— Сволочь! Сволочь! — с отчаянием крикнула она ему в лицо, щелкнула замком и скрылась за дверью.

— Пантера! — сказал ей вслед Олег с каким-то восхищением.

Андрей с неожиданной злобой глянул на него и ушел в спальню. Там сорвал с постели простыню со следами прошедшей ночи, скомкал, кинул на пол. Сел на кровать, глядя на подушку с еще не остывшим ее теплом. Упал, уткнулся в нее, вдохнул тонкий запах французских духов, и сердце его сжалось вдруг такой нежностью, что он вскочил и стал ходить по спальне от окна к двери. Заметил на стуле заколку, схватил и спрятал в ладони, глядя на постель, вспоминая бархатную загорелую руку, и почувствовал, что нет сил больше смотреть на эту постель, на скомканную простыню на полу. Он сунул в карман заколку и вышел из спальни.

Таня с Олегом носили грязную посуду в кухню.

— Похмелишься?

Он мрачно кивнул, выпил. Проговорил хрипло:

— Вы, ребята, простите меня.

— Ты как будто в первый раз! — засмеялась Таня.

Да, действительно, не раз и не два приходилось ему ночевать у них с девками, когда женат был. «Что, собственно, случилось? — думал он, закусывая огурцом. — Что в ней особенного? Почему я не могу глядеть ни на Таню, ни на Олега, будто совершил что-то гадкое?.. Совершил, совершил!.. Как бы она одну под машину не бросилась», — пронеслась ужасная мысль.

— Простите, ребята, — пробормотал он и бросился в коридор к вешалке. Открыв дверь, обернулся к Тане с Олегом, провожавшим его недоуменно. — Позвоните ей непременно через час, а я вам перезвоню...

— А сам?

— Не могу!

На улице его охватили холод, дрожь. Необыкновенно громко скреб асфальт дворник широкой железной лопатой. Скреб он, видно, и тогда, когда из двери выскочила Оленька. Рыдала ли она еще? Или прекратила? Что подумал о ней этот худой скрюченный временем человек?.. А не все ли равно? Главное, что теперь чувствует она? Что думает о нем? Он вспомнил ее в постели всю, вспомнил аромат ее кожи, ее крепкое тело, и вновь в нем возникло то новое и странное, что он почувствовал впервые, когда уткнулся в подушку с ее невыветрившимся запахом, чего никогда не было с другими многочисленными женщинами. И вообще, он не подозревал это чувство в себе, не догадывался, что оно существует. «Что делать? — думал он с тоской. — Куда податься?.. А если поехать к ней? Глупо! Может быть, надраться до потери пульса?» Все было глупо, нелепо, на душе пусто и тоскливо. «Черт бы побрал этого Олега! Как было вчера хорошо, покойно на душе. Думал, посижу с друзьями, расслаблюсь... Расслабился!»

Он сел в свою «тойоту», завел двигатель, резко развернулся на обледенелом асфальте. Машину занесло, ударило задним колесом о бордюр.

Весь день провел на рынке ЦСКА, где было несколько торговых точек, которые он снабжал норковыми шубами из Греции. Узнал, что идут они хорошо. Сезон. Его просили привезти еще, и он обещал завтра же вылететь в Афины. Вечер провел в ночном клубе. Много пил, знакомился с какими-то наркоманами. Пытался курить вместе с ними, хотя знал, что наркотик его не берет. Вернулся домой под утро, долго не засыпал: не выходила из головы Оленька. «Черт возьми! Не с ума ли я схожу? Не может быть такого со мной! Не может!.. Завтра либо к психиатру, либо вскрою вены!» — пронеслась шальная мысль.

Спал долго, но тоска не прошла. Бреясь, с удивлением увидел, что всего за день похудел, потемнел лицом. Выбрився тщательно. Пил кофе, думая: так мучиться нельзя! Где же его невозмутимость, ирония? Где его характер? Он решительно набрал номер телефона Оленьки. Одни долгие тяжкие гудки. Значит, на работе. Оделся быстро и покатил в Большой Кисловский переулок в Институт языкознания. В маленьком холле института его остановил охраннык:

— Куда?

— Туда! — быстро поднял он палец вверх, не останавливаясь.

Взлетел вверх мимо книжного ларька, который расположился на площадке между этажами.

На третьем этаже на широкой лестничной площадке у стены стояло старинное кресло с высокой спинкой. То ли трон, то ли кресло судьи. Кожаная обшивка сиденья лопнула, и видна была вата.

Оленька сидела в большой комнате, где кроме нее было шесть молодых женщин. Вначале, когда он вошел, на него равнодушно глянула только та, что сидела у двери, миловидная, с круглым крестьянским лицом и курносым носом. Взглянула, глаза у нее от удивления расширились, и она громко прошептала:

— Леонид Филатов!

И только тут все остальные женщины, включая Оленьку, уставились на него.

— Простите, девочки! — сказал он, улыбаясь, стараясь держаться, как прежде непринужденно и иронично, хотя дрожал от волнения и слышал удары своего сердца. — Я не Филатов, я Андрей Сергеев, одноклассник Оленьки. — Глянул на нее и сказал: — Проезжал мимо... дай, думаю, загляну... поговорим...

— Ну да, давно не виделись, — ответила она без всяких эмоций, без улыбки, бесстрастно поднялась и вышла в коридор впереди него. Там она села в кресло, положила руки на деревянные подлокотники. Он взглянул на эти руки, ярко вспыхнуло в памяти, как она во сне обнимала его, и неожиданно для себя упал перед ней на колени, поцеловал кисть. Она не отдернула руку, смотрела на него.

— Я не могу без тебя! Я люблю тебя! — выдохнул он, не помня себя, видя только ее милое строгое лицо.

— Ты всем так старомодно признаешься?.. — спросила она все так же без эмоций.

— Теперь я знаю... — прошептал он, поднимаясь. — Я никого не любил... Я просто не знал, что это такое... Принимал одно за другое. Ты понимаешь?

Они венчались в Елоховском соборе.

Это было три года назад. За эти годы Оленька ушла из своего института, окончила бухгалтерские курсы и открыла вместе с мужем торговую фирму, где стала работать главным бухгалтером. Судя по тому, что они купили дачу на Рублевском шоссе и поменяли «тойоту» на «БМВ», фирма их процветает. Компанию одноклассников они не забывают, все вечера проходят с их участием, часто приглашают к себе. Оленька по-прежнему каждому готова помочь, и Андрей все так же всегда улыбки, ироничен, невозмутим, но о любовных приключениях своих если и рассказывает, то в давно прошедшем времени. Ребята не верят, что он так резко изменился, привязался к одной юбке. Натуру не победишь. Но однажды им стал известен его разговор с одной из первых жен, Аллой. Она встретила случайно с Таней на улице и поинтересовалась, кто это сумел так охотушить Андрея. «Взгрустнулось мне как-то, — говорила она, — звоню ему: «Ты куда пропал? Целый год не виделись!..» «Работа заела», — отвечает, а голос прежний, ласковый и веселый. Прилетит сейчас, голубок, решила я и говорю: «Работа работой, а любовь любовью! Я одна, мужа нет, приезжай, отвлеку тебя на часок от работы, устрой секс-час...» «Секс — это хорошо! — смеется он. — Особенно с тобой... Но, видишь ли, у меня уж год, как не секс-часы, а секс-ночи каждые сутки! Женился я...» «Надолго ли?» — скажу прямо, растерялась я... «Думаю, навсегда!» — хохочет дурак... «Я тоже так думала, когда за тебя замуж выходила», — брякнула я ему с обидой... «Не обижайся, — говорит, — ты хорошая, но другая...» «Значит, все?» — спрашиваю... «Видно, так!» — убил он меня!.. Что же это за фифочка его окрутила?» — спросила Алла у Тани.

«Оленька!»

«Кто-о-о? — Разинутый рот, круглые глаза. — Оленька-а!» — И хохот.

Напрасно смеялась Алла. Видела бы она, какая нежность сквозит в их глазах, когда они встречаются взглядами в своей компашке, как предупредителен он к каждому ее движению, не видит никого за столом, кроме Оленьки, и тогда вспомнилось бы Алле, как она раздраженно одергивала Андрея, чтоб он хоть при ней не заигрывал с девками, вспомнила бы, что он отвечал ей на это, и Алле стало бы не до смеха.

На частых застольях по случаю именин кого-нибудь из одноклассников, бывает, в веселую минуту Олег с Андреем перемигнутся, вспоминая спор, захочут. Оленька вскоре узнала о причине их смеха. А Андрей так и не узнал, почему иногда, поглядывая на него, перемигиваются за столом Таня с Оленькой и прерывают от него свой смех.

Блок 1995—1996

Вошло теперь даже в моду, укрепилось в практике: публиковать писателям «малую прозу», «эссеистику», «крохотки» (по А. Солженицыну), дневники и тому подобное. Дважды и я печатал в «Октябре» (1992, № 1; 1995, № 6) свои писательские заметки, обозвав их «блоками». Отзывы читателей и критики убедили меня, что сей жанр хоть и не нов, но вполне современен, и даже особо современен, поскольку с большой прозой нынче сложно, да и читается она часто натужно и холодно. Сегодня предлагаю читателю новый, накопившийся блок всякой всячины, еще не обретшей философских обобщений знаменитого «Дневника писателя» (то был все же жанр «большой» прозы), это лишь свод реалий, повседневностей, почти дневника, к подлинному дневнику все же ближе всего относящийся.

ДНЕВНИК, 95-й

1 января. Фильм «Серые волки» с Роланом Быковым в роли Хрущева. Полезное зрелище для народа. Но не более. Хотя актерская работа, конечно, золотая, что говорить.

...Звонок от Саши Володина из Питера насчет моего «Блока-92», понравилось. Очень мне дорого его слово, он один из любимых мною на свете людей (и писателей).

Накануне, 30-го, день рождения дочери Татьяны на Заставе. Катя приехала, Митя, Любка (еще жива была наша легендарная Любка, которая подарила мне «Роковую ошибку», с нее писалось).

4 января. Вечером с дочерью Наташей, ее Катей, с Марой Микаэлян в «Ленкоме», «Чайка». В тамбуре, в дверях, вдруг — Алла, которую не видел, наверное, больше года, — милая, красивая, со своими глазами, локонами, — когда-то очень был ею увлечен. Грустная. И — опять потерялись, не попалась ни в антракте, ни после... Хороший, по-моему, спектакль, быстрый, интересный (не скучный), про Треплева (хороший Дима Певцов), Чурикова очень эффектна, но все, конечно, со своими штучками, глазами. Хороши Янковский — Тригорин, Броневой. Саша Захарова, я смотрел на нее уже как на возможную Колумбу, которую я делаю для Марка Анатольевича. Был на спектакле приехавший Миша Козаков с женой, сто лет не виделись. В красивом кабинете Марка сидели в антракте, Миша читал монолог Тригорина на иврите — все смешалось.

Я заключил с ними договор и работаю для них, а Гриша Горин, главный автор «Ленкома», кажется, прямо завтра будет читать свою пьесу во МХАТе. Марк сказал, в чем-то они не сошлись, бывает.

«Комсомолец» вышел с огромной шапкой на Грачева на первой полосе: «Самый бездарный полководец России». Общественное мнение. Которое никого не интересует.

Чудовищный, мне кажется, роман Айтматова в «Знамени». В последних вещах он вообще мало нравился мне. Компиляции, компиляции, чужие, опробованные уже мысли и идеи. Здесь апофеоз по набору всякой чуши. Опять обвинения системы в создании идиотов и злодеев на генетическом уровне. Космический монах Филофей, он же ученый, конечно, в прошлом, и монстры из ЦК, и знак Кассандры; и эмбрионы, которые не хотят рождаться на свет (было у Акутагавы). Зло мира начинается с чрева женщины. Эдакий выходит дешевый американский сценарий по типу «Челюстей», и, конечно, выборы президента в Америке, и выдуманный герой-борец, картонная фигура. А написано!.. А претензии! А амбиции! Не иначе как на Нобелевскую замах!.. Нарезана газетная публицистика лапшой и склеена в роман. Просто беда, что это имеет отношение к русской литературе, то есть не имеет, конечно, но претендует, заявляется! Убогая мысль, убожество исполнения, фальшь, дикий финал, все неправда,— Бог, конечно, Космос, весь шар земной,— ну, заумь! Не будь автором столь знаменитый господин, не знаю, кто бы сие печатал, кто б читал!.. Грустно.

Поехали со Славой Головановым рано в Москву. Мороз 25, солнце. Долго искали издательство «Армада» на Кронштадтском бульваре и дальше. Я подписал договор на «Бунина», в бухгалтерии дали деньги, аванс. «Подари мне горчицу»,— сказал Славка. Искали эту горчицу. Потом в «Комсомолку», где меня фотографировали для статьи, аж в две камеры. А я усталый, башка грязная. Девушки в 609-й комнате угощали кофе. Потом — американский магазин. Чего только нет! Я мало бываю в магазинах, каждый раз поражаюсь новейшему изобилию. Но цены!.. Виноград, ананас, яблоки, сыр. Славка подгонял, мы уже опаздывали в театр.

А театр был — который на Трубной. «Миссис Лев». В дверях столкнулись с Борей Морозовым, потом Райхельгауз. И еще у них в гостях какой-то немецкий драматург с женой, мне не знакомый. Я вдруг соображаю, что вообще в первый раз в этом театре, во, до чего доехал!.. Дуров и Талызина работают. Драматургии ноль, Дуров с толстовской бородой, более ничего. А такие хорошие артисты! Я крепился, выдержал.

Заехали еще в Чистый, завезти домой денег. Дом разорвется все более, лифт уже глухо не работает.

Два часа — интервью Голованову для «Комсомолки», все более о театре. А к вечеру, зараза, опять давление.

Митя, красивый, с бородой, наш разговор о Боге опять (как-то он уже сказал: папа, я не могу с тобой об этом, мы не на равных, я знаю об этом уже больше и глубже). Он все время возле батюшки, отца Владимира, где-то вблизи патриарха и прочее.

Позже Рита Тимофеева, красивая, как всегда, умная, мы в баре с ней посидели.

Крестьянский сын Серега, как он себя называет, с мяскокомбината, с палкой колбасы в подарок. С ним двое сыновей-мальчишек, Артему — 14 лет, Даниле — 6. Книжицу стихов выпустил, предисловие — Михалкова.

Закончил рассказ «Радиация».

Приходили Голованов с Юрой Давыдовым, говорили много о Севастополе, о Питере.

Хочется такую телеграмму в Думу: господа товарищи депутаты! Надоело слушать дебаты о Севастополе и Черноморском флоте! Пусть каждый из вас перечтет хотя бы «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.

А без телеграммы вот что: с груди России невежественный Кучма хочет сорвать жадно один из ее боевых орденов. Что делать? Люди порядочные и не

трусы не задают себе таких вопросов. Пусть каждый представит, что это с него скарябывают, рвут орден.

Илюша Анчаров: что у Юльки Вольфа инсульт, положили в коридоре в 4-й Градской.

Истерика Нади Мир... после юбилея Бондаренко. Два часа сидела лицом к лицу с Зюгановым. Потом читала хорошие стихи (свои).

23 января. Рой звонил из Хьюстона. Вот как можно было почуять, догадаться, предположить, что это последний его звонок? Очень дорогой для меня человек. Много лет он бился, боролся со своим раком, у него был какой-то чудо-доктор, как-то держал его, хотя всего изрезал, изоблудил и прочее. Но вдруг говорил: вот сейчас вы ничего, вполне можете съездить в свою любимую Россию. И Рой приезжал в Москву, в Питер. Он преподавал русский и нашу литературу в Хьюстонском Райс-университете.

Удивительный был американец, один из самых интеллигентных и симпатичных, каких я только видел. Когда я попал в клинику доктора Дебейки и некому было помочь мне с переводом, Бет Санфорд, режиссер театра «Элли» и давняя подруга Роя, позвала его. Так мы познакомились и потом подружились. Я обычно даже жил у него, приезжая, в его маленьком домике с садиком на улице Вассар. У него не было никакой русской генетики, у этого коренного, настоящего техасца, но он, во-первых, удивительно внешне был похож на русского, у нас просто неотличим в нашей толпе, а во-вторых, по-настоящему, преданно любил нашу литературу. Достаточно сказать, что занимался не чем-нибудь, а русскими былинами, в Питере специально переписывал кассеты в Щедринке, написал потом целую книгу — техасец про русские былины, не чудо ли!..

Юлька Вольф умер в 4-й Градской в реанимации. Мы дружили лет 25—30, не меньше. Он был директором школы, преподавал географию, сам вечно бродяжничал, работал по всему Союзу с геологами. Собственно, привез его в нашу компанию Лев с Чукотки, когда они работали там вместе.

Все собрались в крематории хоронить его, а я не мог из-за давления.

28 января. Позвонили утром из Дмитрова, сказали, что умерла утром в больнице Люда Букварева, милая женщина, с которой мы познакомились когда-то в Бакулевке, она была в 137-й палате на нашем этаже после операции митрального клапана, что нас и сблизило, кроме симпатии.

С Митей в Театре Армии на «Загнанной лошади» Саган. Плохая пьеса, полная пошлости. Но необычайно бравый Зельдин, которому, оказывается, не 70, а 80! И он-то как раз молодец, а молодежь, о, Боже!.. А публика!.. Единственно, что зальчик хороший: малый, наверху.

Монолог о закрытии дверей

Уважаемое собрание! Вас всех пригласил сюда сегодня директор по моей просьбе. Вы все меня знаете, видите каждый день. Я уже шесть лет сижу в нашем институте внизу, при дверях и телефоне. Что я хочу сказать? Каждый день по многу раз вы открываете и закрываете входную дверь: туда-сюда, туда-сюда. И она хлопает прямо у меня перед носом, просто бьет по башке. Я, конечно, терплю и никогда вроде не обращаю внимания. Но вот один из вас постоял недавно около меня с полчаса, вроде побыл на моем месте. И объяснил, что так нельзя. Он говорит: человек воспитанный, интеллигентный, приличный, а если не такой, то хотя бы просто внимательный, вежливый, никогда не хлопает дверью, всегда ее чуточку придерживает. Как вы, говорит, тетя Лида, терпите это безобразие весь день? Это же хамство. Вам говорят, слава Богу, здрасте, до свиданья, но это только показное, а на самом деле, если они хлопают, значит, они

вас просто не видят, не берут во внимание, все равно, что сидела бы на вашем месте кошка или муха. При том, что всеми вами любимый писатель Чехов говорил, что порядочному человеку бывает стыдно даже перед собакой. А сие есть хамство. А хамов, говорит, тетя Лида; надо учить и ставить на место. Ведь вы, говорит, наверное, всех нас знаете, даже кто в каком отделе и тем более по именам и фамилиям. И он посоветовал: возьмите и пишите два списка: в один тех, кто хлопает дверью, в другой — кто не хлопает. Не стесняйтесь, говорит, докажите людям, что вы не пустое место, а тоже человек и, как все, заслуживаете внимания и уважения. Кроме того, это ваше рабочее место, вам просто мешают работать и портят нервы и здоровье. Подумаешь, сидит какая-то тетка!.. Так вы уж меня извините, дорогие, но я с ним согласилась. Делать все равно нечего, дай, думаю, правда, буду записывать. Вот, уважаемые, эти два списка: в одном — кто не хлопает, а значит, человек вежливый, внимательный к любому маленькому служащему, интеллигентный, в другом — кто всегда хлопает, а значит, совсем другой. Я хотела передать эти списки нашему директору, просто так, не для внушения вам или наказания, а просто можно прочесть, — вот, пожалуйста, всех по фамилиям. Но я сейчас хочу сказать: каждый из вас может сам вспомнить и подумать, в каком он находится списке. Так что извините меня и прошу прощения.

2 марта. Жуткий этот день с Владом Листьевым (то есть без него уже). Вот чего не забывать, не прощать!.. Мужественно все держались и говорили. Накипело. Слом эпохи опять. Предвозвестье чего-то. Нет-нет, не забывать, не прощать! Или бежать — Макаревич, кажется, сказал — отсюда, или вооружаться. В самом деле задумаешься.

Работа, конечно, не идет совсем, не клеится. Мудрено.

Позвонили, что умерла Нина Самарская, после четвертого инфаркта, 62 лет. Редактор моей первой книжки в «Молодой гвардии». Бойкая всегда была, живая, кокетливая. Издательство дало на похороны 150 тысяч, а стоит это сейчас миллиона два. Если не больше.

Журнал «Слово» (1—6 номера 1994 года). Ужасный отрывок Людмилы Дербиной «О Рубцове» (поэте), как она убила его — дьявольщина, бред, грех, вина без вины. Пьянь, ужас, быт наш. Жаль ее жутко, не говоря уж о нем.

Консоме

Ну, хорошо, допустим, что без рекламы действительно нельзя, что она кормит ТВ (и вскармливает, и развращает, и доводит до преступлений), но управлять-то ею можно! Да-да, реклама должна быть постоянна, повторима, навязчива — иначе она уже не реклама. Но! Она не должна быть бездарна, глупа, без чувства меры, тошнотворна, не обеспечена реальной покупательной способностью или вообще отсутствием того, что рекламируется, или реальной недоступностью товара или услуги. Хочется уже задушить, застрелить безвинных персонажей рекламных клипов, отторгнуть, вытошнить из себя эти щетки, лекарства, диваны, автомобили, младенцев с памперсами и прочее, — какая же это реклама, если она вызывает ненависть? И никто не убедит меня, ничем не докажет, что рекламу нельзя дозировать, не пихать ее посреди хорошего фильма или серьезного разговора, далекого от прокладок с крыльшками. Кстати, насчет прокладок тоже бы надо иметь чувство деликатности, приличия, что ли.

А игры? Эти бесконечные, одна за другой, игры, завлекаловки, обещания тыщ и миллионов! Все воровано, все чужое, все взято или берется из другого общества, у богатого общества! «Эхо Москвы» звонит с утра по телефону. «Ой, кто это?!» — «С вами говорит «Эхо Москвы», вот у нас такая игра, ответьте на вопрос, даем три варианта — и можете выиграть двести тысяч! Что такое кон-

соне? Диван на ножках, выпуклость на стене, кушанье?» А им отвечает пожилой спросенок женский голос: я не умею, не знаю, сейчас никого дома нет. Вполне милые и вроде славные дикторы «Эха» не врубаются, однако, не чувствуют, что попали на человека, которому неохота играть ни в какую игру, ему это дико, неприятно, тон его явно это показывает. Нет, «Эхо» не врубается, ему почему-то и а д о играть в свою игру, оно настаивает, предлагает наводящие вопросы, опять подманивает суммой выигрыша. Зачем? Слушать этот разговор чудовищно, оскорбительно за человека, который не понимает, чего от него хотят, не х о ч е т играть в эти игры. Нет, «Эхо» продолжает про свое консоме, нарушая тем самым покой, нервы и п р а в а человека.

У зрителя, к сожалению, нет способа и возможности проверить: правда ли, что так уж необходима в гостелевидении рекламная пауза? Нам, к сожалению, не показывают, как втекают в ТВ, куда именно текут и перетекают рекламные денежки. Но чудится, что они подозрительно грязные.

10 мая брат Саша приехал, рассказывал все свои путешествия этого года: США, Канада, Греция, Турция, Израиль, Родос, Чечня, Воронеж, Сахалин, даже Венесуэла — во как! У меня только слюнки текли. Он работает у Шафранника, дела, конечно, тяжелые, но вот, нет худа без добра, ему повезло в этом году. А ведь когда-то он едва мечтал о Чехословакии, волновался, как попасть туда, даже по приглашению хорошего друга. Что скажешь, времена изменились.

Вчера в телевизоре — передача о Джуне с вездесущим Юрой Шерлингом. Очень мне понравилась: зрелая, умная, свободная, что-то знает про мир, жизнь, Бога и про себя. И — про меня. Очень интересна, и не нужно никаких сплетен, пересказов, мнений, — вот она, какая есть. Личность. Умница. Женщина. Пожалел сильно, что в свое время не встретился с ней, когда предлагали.

Сегодня же — мучительный, долгий, но совершенно роскошный бергмановский фильм «Фанни и Александр». Как это я, темный человек, до сих пор не видел его! Шедевр в полном смысле слова, вот кино!.. Вот они, кого всю жизнь обдирают наши жалкие подмастерья!..

«Моя жизнь» Чехова. Дочитал сегодня. Ах, Чехов! Умница! Повесть, рассказ... Огромный роман! И никакой беллетристики, болтовни, глупости, — все выверено, точно, глубоко, благородно. А написано! С ума сойти. И что сказано о мужике, о народе, — внутри, конечно, полемика с Толстым, с опрощением, с необходимостью труда для к а ж д о г о . Не в этом, мол, дело, а просто про жизнь, про смерть, про все. А Маша какая, а сестра, а отец! «Маленькая польза». Гений! «Мужики». «В овраге».

Давно собираюсь написать специально об этих последних повестях и пьесах, насколько много там похожего, сколь переплетаются мысли, образы, до деталей. Слишком большая работа, некогда.

С писателем А. Вишенковым разговариваем о книгах нашего детства, как много читали уже в 10—12 лет: Майн Рида, Буссенара, Жюль Верна и прочее. Даже Чарская каким-то образом попала. Вспоминаю свой маленький провинциальный Камышин, где работал четыре года в районной газете, нашу городскую замечательную библиотеку, нашего цензора Клавдию Дмитриевну Дыбло. Без цензора нельзя было типографии выпустить даже простую афишу, программку, любой печатный листок. В обязанности цензора входило также изъятие запрещенных книг из библиотек. А была огромная, старая, с дореволюционных еще времен собиравшаяся городская библиотека, — Господи, сколько часов я там провел, допущенный милостиво хорошенькими нашими библиотекарями ползать вольно по всем полкам, даже по тем, что стояли в

заветной, дальней комнате, где складывались самые ценные. Вот из этой библиотеки и изо всех других, какие были в городе, даже из школьных, Клавдия Дыбля, совсем далекий от всякой литературы человек и даже не шибко, как говорится, образованный, выгребала по приходившим из Москвы спискам КГБ в с е . Она говорила: «Миша, я всю жизнь дров-то не покупала в дом, топила всегда печи одними книгами».

Гитлеровским гестаповским кострам такого не снилось! Так и ушла в с я литература Серебряного века, 20-х и 30-х годов,— а была у нас тогда замечательная, богатая литература! — в огонь, в огонь, в домашние, не видимые миру костры. Представить жутко!

А нынешним издателям ничего не нужно, да и читателям — детям! — ничего не нужно. «Ящик» все заполнил, все чтения заменил. Такая эпоха. Умный издатель, н а с т о я щ и й мог бы собрать, найти, издать, подобрать сегодня для тех же детей такие серии, такие книжки, которые выдержали бы конкуренцию с телеящиком, но — у издателей нет денег.

— Есть богатые люди,— говорит Вишенков.

— Этих богатых людей не интересуют книги.

— Да, к сожалению, так.

А можно бы! Нужно бы!.. Эпоха восстановления, возвращения ценностей должна бы заняться и книгами. Рукописи не горят, по Булгакову, а книги-то вот сгорели. Как их вернуть?..

Размышления над вопросами «Литгазеты» о круге чтения

Как всегда, читается несколько книг сразу. В «Иностранке» наконец появился Грасс — «Жестяной барабан» (очень люблю этот фильм) и роман читал жадно. Там же — неожиданная, бешеная книга Аласдера Грея «Бедные — несчастные» (1995, № 12) в переводе Л. Мотылева. В том же, кстати, номере несколько блестящих страничек Петра Вайля — эссе об Испании, об Эль Греко и Веласкесе. «Иностранка» вообще, шагнув за свое сорокалетие, обрела новое, молодое дыхание.

Еще для одной своей работы перечитываю «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» Чарльза Дарвина». Тоже удивительное чтение! Когда-то до войны была, кажется, такая книжка в переложении для детей,— не грех бы какому издателю найти и повторить ее!

Только что вышла в «АРТ» книга Виктора Славкина «Памятник неизвестному стиляге». Пользуюсь случаем, чтобы поздравить автора и читателей с этой весело-печальной книжкой про пяти-шестидесятников: как оно все было, как душили, а все же не задушили целое поколение (а то и не одно).

Получил в подарок от старшего сына собрание творений святого Ефрема Сирина, начал читать-изучать. Читаю и думаю: ничего-то мы не знаем из великих своих богатств, из *этой* литературы. Особый, духовный писатель, и как писательски богат, слово удивительное,— опять сами себя обкрадывали, не зная этих творений. Слава Богу, сии книги есть кому издавать, выпускать в мир.

В прекрасном и ставшем популярным в Москве магазине «Эйдос», что в Чистом переулке, купил прелюбопытную книжку «Московский некрополь» — обо всех московских кладбищах. Собирая всю жизнь книги о Москве, не мог не порадоваться этому изданию — редкость.

Конечно, не на энтузиазме частных лиц, всяких новоиспеченных издательств, а на государственном уровне, всерьез без отлагательства следует готовить и издавать книжки к Пушкинскому юбилею. Бестолковая наша Дума закон бы должна принять, любые деньги найти. Все лучшее, что было сделано, наработано, издано в свое время или забито в долгие ящики, надо бы найти, подумать, повторить, дать детям, юношеству, всем читателям. Лотмана, например.

Совсем личное, но не нахальное, а, ей-богу, стоящее пожелание: издать 5—6 томиков Мих. Рощина, чтобы представить этого автора, перешагнувшего шестой десяток, в достаточно полном его объеме. Куда откладывать-то? Прежде в России писатели в 30—40 лет издавали свои первые собрания сочинений. И ничего, не горели издатели, не прокальвались.

И еще раз о столетии МХАТа. Конечно, литература о театре, его истории, актерах, спектаклях огромна. Но отобрать лучшее старое и сделать новое в некую специальную юбилейную серию — милое бы было дело!.. Кто?.. Когда?.. Опять опоздаем, как всегда, будем локти кусать потом.

Вышел 6-й номер журнала «Драматург», который выпускаем и редактируем мы вместе с драматургом Алексеем Казанцевым. Мне хочется назвать авторов новых пьес, там помещенных: Иван Савельев (ему 19 лет), Людмила Разумовская, Ольга Михайлова, Михаил Угаров, Надежда Птушкина, Сергей Носов. Какой-либо исключительной и новой пьесы (ни нашей, ни западной) я что-то ни в периодике, ни в театре за последнее время, по-моему, не читал, не видел. Самыми лучшими к концу века остаются все-таки те, о которых я говорил, — в начале же века написанные Антоном Павловичем.

Как шестидесятники стали 60-десятниками

В проходящем году водопадом, обвалом, подряд справляли юбилеи, дни рождения, 60-летия целой группе актеров, режиссеров, людей театра, — мне хочется отметить это среди событий года.

Началось, если не ошибаюсь, с Тани Дорониной, с Татьяны Васильевны, пардон, с ее большого вечера, где она была красива, очаровательна, умна, почти добра (уж, несомненно, доброжелательна и добrorасположена ко всем присутствующим), рада, как с нею бывает, сама себе, самую собою, играла Ануя (очень хорошо, как умеет), читала стихи, пела, смущалась, что ее величают великой русской актрисой. И, конечно, как было не вспомнить любимые народом «Три тополя на Плющихе», ее и Олега Ефремова в этом фильме 60-х, полном доброты и удивительного попадания прямо в душу зрителя.

Кажется, тем — самое главное — должны быть помечены шестидесятники, что болели за свой народ, знали его, страдали с ним вместе, служили по мере сил его пробуждению и просветлению. Хоть и пили (тоже важно) без отрыва от народа тоже.

Драматург Мария Арбатова выкручивает на нас, шестидесятников, холодный душ: вы были конформисты, все получали от власти, которую об... и тоже не давали дороги молодым, все захватили себе. Кому, Маня, не давали? Кого не пустили? Кто? Ефремов, Окуджава, Тарковский? Высоцкий? Кто? Кому? Мы сами продирались сквозь джунгли. Кто шел с нами, проделал свой путь. Мы были веселы, искренни, в основном талантливы, мы, словно цветаевские молодые генералы, в одной невероятной скачке прожили свой краткий век, и вот — наши кудри, наши бачки осыпал снег.

Было шестьдесят Мише Козакову — подумать только! Целая эпоха началась с «Убийства на улице Данте», с «Современника».

Что ж сделаешь, время. Время идет.

Время шло, и мы двигались вместе с ним, а возможно, даже подгоняли его колесо. Чего мы хотели? Правды, справедливости. Чтобы не было бесконечной пропагандистской лжи, которая разъедала общество, как ржа железо. Диктатуры. Произвола. Глупости. Мы уже прочитали Оруэлла, Солженицына, Гроссмана, Кафку. Уже побывали в Европе и Америке. А иные и уехали туда, не по своей воле. Мы хотели работать и много работали, пробиваясь через ужас Отдела культуры ЦК (вспомнить хоть одного Поликарпова!), цензуру, произвол каждого райкома и обкома. Вспомним, сколько сделали хотя бы те-

атр Ефремова, Любимова, Товстоногова, Эфроса! А поэты! Барды! А художники, которых сметали бульдозерами и обзывали «пидарасами»! А музыканты! Многие из нас оставались в партии, думали самими собою улучшить ее. У меня, например, за тридцать лет набралось три строгаца! — не знаю, кто кого улучшил. Когда мы выходили из партии, я, помню, сказал: «Мы-то выйдем из партии легко, а вот как она из нас выйдет?...» И все-таки! Мы дождались Хрущева и Аджубея, потом знаменитой речи Андропова на съезде. Пришел Горбачев, наш ровесник и почти единомышленник. Пришла гласность. Жизнь прошла, но не зря все же. Слишком много сил, слишком много жертв: инфаркты, лагеря, психушки, водка. И сколько не осуществивших себя, погибших в забвении талантливых, неповторимых! Чудо, спасибо природе, что шестидесятники дотянули до шестидесяти, живы остались. Новое время, однако, оказалось не таким, как мечталось. Вот признание одного из тех, кто был самым первым, Андрея Синявского, уже ушедшего от нас: «Когда мне предложили рассказать о роли интеллигенции в перестройке, я, естественно, начал обдумывать последние десять лет и вдруг обнаружил, что это были, в сущности, самые горькие годы моей жизни. Ибо ничто не бывает горше несбывшихся надежд, а также утраченных иллюзий.» Вот так-то, значит. И до этого рубежа довела нас жизнь. Ничего не остается, как жить дальше. Опять работать, сколь хватит сил.

4 октября. Таня Бутрова с переводом «Трех с Бигля». Интересно оказалось, кажется, есть за что зацепиться, но все равно сделать из этого пьесу будет большим мучением. Весь Чарльз Дарвин, вся его жизнь! Пили «Хванчкару», ели приготовленные Таней замечательные баклажаны. Она устала и хотела спать, и проспала минут 20 на моем диване, пока я дочитывал рукопись.

Умерла Ирина Григорьевна Егорова, многолетний секретарь Ефремова во МХАТе. Как ее хоронили! Все приехали на кремацию с букетами, проститься, слова сказать. А крематоры говорят: а мы ее уже, у нас «окно» было, мы ее в «окно» и отправили. Там свой конвейер. Но вообще это — ко МХАТу, к его нелепым историям, к его булгаковщине.

15 октября. Разговаривали с Тамарой Жирмунской о войне, о ветеранах. Первую военную ночь я встретил в Севастополе. Мой отец работал там на Морском заводе, а мы с мамой из заводского пионерлагеря, где она была кастеляншей, приехали к нему на субботу и воскресенье. Севастополь — военный город, там всегда были учебные тревоги. И все началось как будто с такой тревоги, с тревожной сирены. А это немцы бомбили бухту. Они бросали не бомбы — морские мины, чтобы заградить выход флоту из бухты. И все это я видел и слышал вместе с другими мальчишками. Потом завод отца переместился на Кавказ, мы отправились в эвакуацию — одну, затем другую, оказались в Туапсе, в Потти. Жили под страшными бомбежками. В Потти был завод, флот — все это бомбили. В Туапсе была к тому же нефть, гигантские нефтяные баки. Немцы зажигали их, они горели, заволакивая небеса чернотой... В осажденном Севастополе, отец рассказывал, когда завод «ушел под землю», цеха были в штольнях, приехал адмирал Октябрьский, командующий, ходил, смотрел, как за станками стоят женщины, дети. Сокрушался. Какая-то работница сказала: «Вам в боях труднее». На это адмирал ответил: «Нет, там опаснее, а труднее здесь, вам».

По впечатлениям военного детства я написал пьесу «Эшелон», которую увидел мир. Эта пьеса не только про эшелон, про войну, она про способ существования. Я помню эти заводские эшелоны, набитые станками и людьми. На первом этаже станки, на них нары, а уж потом на нарах — люди: женщины, дети. Помню, как после долгих мытарств мы прибыли в Красноводск: песок, солнце и холера. Жили в палаточно-беженском городке... Когда по ТВ показывают беженцев, у меня душа болит, потому что я сам мальчиком, уцепившись

за материнский подол, держа сестренку другой рукой или на закорках, пережил все это. Я считаю, что всех детей, которые не только родились в годы войны, но даже были в материнской утробе, надо считать ветеранами. Мы знаем, что многие «дети войны» пережили больше, чем иные генералы и штабисты, которые получали ордена совсем не за боевые заслуги, а так, по спискам... Нельзя устраивать дележку, кто ветеран, а кто нет. Все те, кто в эти годы жил в нашей стране, работал, учился... Или, наоборот, не учился. Я, например, сидел с младшей сестрой, варил ей кашу, но, ей-богу, тоже считаю себя ветераном войны.

Сначала я не знал, что напишется — роман, повесть, потом понял: пьеса. Я тогда дружил с театром «Современник». Когда писал, давал героиням имена актрис, которые будут играть. Например, Лавра — такого женского имени нет, я его придумал, потому что эту роль должна была играть Татьяна Лаврова. Весь женский состав «Современника»! В моей пьесе пятнадцать женских ролей: Марина Неелова, Мила Иванова, Люся Крылова, Галя Соколова, Алла Покровская, Лиля Ахеджакова... Ставила «Эшелон» Галя Волчек — и здесь, и в Америке.

Но и в Америке это непросто! Надо было найти театр, актеров, союзников, деньги. Помогло, думаю, то, что годом раньше, в 77-м, в Сан-Франциско хорошо приняли «Валентина и Валентину». Это была сенсация в том смысле, что тридцать лет до того в Америке не ставили советских пьес!

Драматургу нелегко пробиваться на американские подмостки. Нас с Галей Волчек туда «пробила» удивительная женщина — Эдит Марксон, один из театральных лидеров Нью-Йорка. Она связывала два материка. Эдит Марксон увидела спектакль в Москве и решила воссоздать его в стране невозможных возможностей.

Она завещала развеять свой прах после смерти в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Москве. И мы с друзьями сделали это. На Чистопрудном бульваре, неподалеку от «Современника».

У меня тоже была когда-то такая «завещательная» идея — развеять прах над морем, в Севастополе, на мысе Херсонес, но я вспомнил, что прахом Лжедмитрия выстрелили из пушки в ту сторону, откуда он пришел... Все-таки это не христианский, а какой-то басурманский обычай.

А постановка «Эшелона» — для меня еще и лично интересная история... Значит, лечу в Хьюстон, богатый американский город, где только что построили новый театр. Кстати, его директриса была в «Современнике», ее привезла все та же Эдит. Она загорелась: «Америка должна это увидеть, потому что американцы ничего не знают. У нас двести лет не было войны...» Моя лечащая врач, Татьяна Григорьевна Никитина, перед поездкой мне говорит: «Хьюстон — центр мировой кардиологии. Постарайтесь попасть на консультацию». В дороге мне становится неважно, сердце барахлит. Подошла ко мне Эдит: «Что с вами?» Объясняю. Американцы долго не рассуждают — они действуют. Когда сели в Хьюстоне, в аэропорту нас ждали две машины: одна из театра, другая — из госпиталя. И я поехал не на премьеру, а в госпиталь. Не поехал — повезли. Меня послушали в два стетоскопа. Говорят: «Все понятно». Быстро сделали уколы, анализы. Я попросил достать из чемодана костюм и повесить в шкафчик... Но он не понадобился.

Через два дня сделали операцию... Перед тем я имел разговор с главным хирургом госпиталя Дебейки. Крепкий, улыбающийся старик. Ливанец по происхождению. Он мне сказал: «У вас такая дырка в сердце, что вы с ней жить не сможете». Я хотел отшутиться: «У нас кругом дырки, доктор. Мы привыкли». Но было не до шуток. Я подумал про деньги и спросил, а кто будет платить за операцию. Он ответил: «Вы должны думать сейчас не о деньгах, а о жизни и смерти». Начались звонки-перезвоны: Вашингтон—Хьюстон... Наше посольство... Москва... В Америку отправлял меня ВААП¹. Там работал хороший чело-

¹ ВААП — Всесоюзное агентство по авторским правам, ныне — Российское Авторское Общество (РАО).

век Василий Романович Ситников. В те годы ВААП собирал отчисления в валюту за использование всех наших произведений — пьес, книг — за границей. Были в Агентстве и мои деньги. И все как-то устроилось без моего участия... Тяжелая была операция...

Спустя три года, когда я приехал в очередной раз на консультацию к Дебейки, я упросил его, чтобы он разрешил мне посмотреть такую же со студентами, через стекло, сверху. Вообрази: тебя разрезают пополам, как в цирке. Переламывают, как сардельку. Ставят поддон, на который вынимается твое сердце, легкие. Все сосуды пережали, перерезали, подключили к АИКу — аппарату искусственного кровообращения. Теперь уже машина гоняет твою кровь... Мое сердце облили антифризовым раствором, который заставляет сердце замереть. Оно было в отключке 47 минут. Всего же операция длилась пять с половиной часов. Но уже через день я стал иначе дышать. Дней через пять поднялся, а через пятнадцать меня выписали из госпиталя. Я потом успел посмотреть американский «Эшелон». Спектакль имел успех. После премьеры меня навестили в госпитале актрисы с корзинами, охапками цветов. «Эшелон» играли месяц, днем и вечером, так что я не опоздал... Актрисы были замечательные.

...Про каждую свою пьесу думаю годами, а то и десятилетиями. В театре ли сижу, в кино, читаю ли книгу — всегда думаю о своих вещах. Так долго приходится варить в голове этот суп, пока он сварится. Первый спектакль, который увидел в жизни, — опера «Демон». У меня была соседка, девочка Майка, на три года меня старше, одно лицо с Диной Дурбин, пела в локтевском хоре, знаменитом, пионерском. Мы с ней потом пересмотрели-переслушали весь репертуар Большого театра. Так вот, после первого в жизни спектакля я пришел к соседям и на их темном ночном балконе спел всю оперу «Демон». Мне было тогда десять лет.

ДНЕВНИК, 96-й

27 января. Умер Иосиф Бродский. Всю ночь не спал, часа в три включил радио, время проверить, слышу — что-то говорят о Бродском. Вот-те и что-то!.. Какой поэт! Какая судьба! У нас так положено: чем поэт выше, тем судьба круче... Почему это у нас?.. А где по-другому-то?.. Я начал заново курить из-за него. Когда показывали фильм, где он с Женей Рейном бродит по своей любимой Венеции, пока рассказывает, показывает, присаживается за столик в уличном кафе, — все время сигарета торчит во рту. Ах ты, бес, я подумал, у тебя такая же операция была, как у меня, а ты что?.. Я пятнадцать лет после операции не курил и вдруг теперь взял и снова стал покуривать. Ладно, авось ничего.

Это, разумеется, не все, что я мог бы и хотел сказать об Иосифе, но... все и без меня уже сказано, и главным образом им самим.

Еще утрата.

В журнале «Понедельник» портрет Ельцина в зимнем пальто и шапке. Пальто серенькое, скромное, но нараспашку, и видна богатая горностаевая (!) подкладка. И называется снимочек: изнанка власти. Вроде бы шутка, но как много в воздухе, во всяких завихрениях умов муссирования этой темы, этого предположения или предугадывания, что ли, — что нечто подобное возможно или даже необходимо: что Россия-де не может иначе, как без монаршей власти. Есть ведь, кажется, где-то и откровенные уже монархисты. Что-то несусветное, право, в этом.

Поехали на «Ассамблею» Анохина, спектакль Нового театра. Играли во МХАТе, вдали от своей Лосинки. Кто-то говорил, что это весело, смешно, я по-

этому взял Алешу с собой. Он мало у меня бывает в театре, в отличие от Мити или старших дочерей, с которыми я ходил повсюду много. Спектакль показался мне жутким, глупым, при всей моей любви и уважении к Анохину. Пьеса Гнедича, — ну, из такого нафталина вынута! Хоть бы переписать ее стоило по-новому, современным хоть языком. В антракте мы еще ходили с Алешей по фойе, я показывал ему мхатовские портреты, но в начале второго действия я понял, что не выдержу больше, стало мутиться в глазах: пока еще были силы, я полез вон из ряда, понимая, что уже накатывает на меня приступ. Ирина за мной, я вынужден был лечь на скамье прямо в фойе, побежали за доктором, сняли брюки, укол, а я все просил, у меня с собой был фотоаппарат, сделать снимок: мхатовского драматурга в фойе с голым задом. Но не до юмора всем было.

7 апреля. Перечитывая Рощина... Среди царства лжи я по мере сил старался писать правду. Тем и спасся. Тем и жив. Весь секрет.

Как буду писать о Бунине?.. А что, если большими главами-рассказами, как «Бунин в Ялте»?.. В 15 лет, в 30, в 70. А начать — с утробы матери.

С Головановым с утра по вонючей, забитой Москве. До самого Лефортова. Спорткомплекса. Массажист Анатолий Павлович — мощный, ручищи, добрый, словоохотливый, доброжелательный. В деревянной кабинке, где раздевательные шкафчики для купающихся в бассейне. Позвоночник, ноги, руки, крестец, шея — везде соли, шлаки, все забито, нервы. Отделал Славу, потом меня — аж дух вон. Вышел, наблюдал за студентами и студентками, которые передевались снаружи. Грубые, громкие, некрасивые, швыряют сумки, сапоги, ботинки с ног. Совершенно немытая Россия.

Костя Шилов — после поездки в Питер. Был у Лихачева, у Яши Гордина, у Пушкина на Мойке и проч. Так и потянуло — как давно не был я в Питере, просто грех.

У Голованова. Его друг Озенберг, вулканолог с Сахалина. Слава стал читать нам свою пьесу, которую писал бешено в запале несколько дней. «День смерти» называется — о подведении итогов, о том, что человек жил бы иначе, знай он точно, что завтра умрет. Что-то не вышло, на мой взгляд, герои неинтересны, написано слабовато. Не так-то это просто (как мне всегда кажется) пьесу написать. Пришлось его пошкурить, расстроить. Но он держался непоколебимо, сказал, все равно будет ее делать.

Потом смотрели «Одиссею 2001» Кубрика. Замечательный по-прежнему фильм. Красотища невероятная. И вроде бы уже расхожая, тривиальная философия о человеке и космосе, но все равно, все равно. Замечательно. Как он возвращается, молодой, к себе, умирающему старику! Ах, молодец, собака, приду-мал!..

С утра — Гоголь, Костанжогло, Петух, Хлобуев, Платонов.

8 апреля. Давал интервью ТВ-6 к 40-летию «Современника». Пока думал, как и что сказать, все вспомнил, заволновался: как начиналось, что это было тогда для нас всех — этот театр, вечно где-то бродящий, эти толпы у «Советской» каждый раз, перезвон по Москве всех телефонов — у них завтра прогон, они ставят то-то; у них спектакль, надо прорваться, у них премьера и прочее. Конечно, они заводили меня, влияли, без сомнения, учили — прежде всего смелости — вот про что надо писать, в какие мишени бить. Подзуживали, подстегивали.

Я работал в «Новом мире», маленькая, худенькая завлит «Современника» Ляля Котова вползала по нашей широкой деревянной лестнице, шла к Твардов-

скому: «Нет ли у вас какой новой прозы, которая могла бы пригодиться для театра?» Твардовский посылал ее к Кондратовичу, Кондратович говорил: «Зайдите к Роцину в отдел прозы». Она заходила в нашу с Асей Берзер комнатенку, я вскакивал и краснел, говорят, до самого воротничка белой своей рубашки. Она рассказывала о театре, приглашала на спектакль, так попадал я на них — с кем-нибудь, с любимым своим Таракановым или с кем-то из возлюбленного женского пола, с Веткой, Бьянкой, потом Липой или еще потом с Лидой.

История с «Валентиной» так раскручивалась: Олег <Ефремов> еще был в «Современнике», на Маяковке. Да, но до того в том же «Новом мире» взял у меня Солженицын мою самую первую пьесу, «Геракла», прочел, позвонил утром на Заставу: можно ли, мол, передать почитать Ефремову? — Конечно. Так с Ефремовым и познакомились: как-то после работы иду от Пушкинской к Маяковке, уже к ним, пригласили. Да, иду через площадь к театру и встречаю... Кого? Конечно, Евтушенко. Что да как, куда? Объясняю. А он уже читал пьесу, кажется, тоже, — наверное, я давал, мы дружили тогда тесно. Я рассказываю, что и как. Он радуется, говорит: «Давай, я тебя провожу, я их всех знаю». Пришли. Ефремовский кабинет — еще тот, старый, что был поглубже как-то, с предбанником, где сидела Раиса Викторовна, знаменитый его секретарь. Длинный Ефремов встал навстречу, в кабинете уже были Волчек, Кваша, Толмачева, Табаков, кто-то еще из главных. Может быть, Леня Эрман, точно не помню. Евтух начал: «Вот я вам привел замечательного прозаика Мишу Роцина, моего друга, но только, братцы, погодите, и ты, Миш, извини, я должен прочесть вам свои новые стихи, вчера написал». Мы с почтением все согласились, повесили с вниманием головы. Читает. Поет. Хлопаем, чмокаем, крутим и киваем башками: молодец, мол! Еще? Ну, давай. Читает еще. Опять хлопаем, радуемся. Не помню, убей, какие были стихи, о чем. Еще читает. Переглядываемся, я дурак дураком, вроде сам же его привел. Гоголевская сцена. Наконец Ефремов его остановил, сам смущен, он человек деликатный. Потом мне говорит: «Вот мы твою пьесу почитали, хорошая пьеса, смешная, но непроходимая, сам, наверное, понимаешь, не дадут. Вот Хрущ умрет, тогда поставим». А был между тем 63-й год. Я написал после этого «Дружину», «Девочку», «Лермонтова» — все вмертвую. «Валентина» была уже пятой моей пьесой. А «Геракла» поставили только через двадцать пять лет, и ставил его уже Ефремов-младший. Да, вернусь к «Валентине». Я сидел однажды случайно на цоколе памятника Маяковскому, в авоське держал бутылку водки и буханку хлеба, не помню, почему. Ефремов бежал в театр, увидел, остановился. Поздоровались. «Хера ты здесь сидишь, тебе за столом надо сидеть, пьесы писать». Сквозь авоську ему виден мой товар, радуется. Я смутился, забормотал: а я и это... как раз... еду, собираюсь, мол... Какую-то такую несу нелепицу. Но под нею истина: было накануне моего отъезда в Ялту, мы с Володей Левиным уезжали, — наверное, был конец лета, надо по дневникам проверить. Потому что, возможно, это было уже перед «Старым Новым годом» — его, может, я привез тогда, после этой встречи.

Вернусь снова к «Валентине». Ефремов прочел, сам ничего, кажется, не говорил, Ляля Котова потом передала, что не понравилось: любви какие-то, монологи, что-то не то. Пьеса осталась, сохранилась у Котовой — она потом мне отдала самый первый вариант.

Пьеса осталась, а Ефремов стал как раз переходить, уходить во МХАТ. Да, да-да, конечно, эпизод у памятника был со «Старым Новым годом». Потому что я уезжал не в Ялту (где «Валентина» и писалась), а в Пензу с Лидой, там, в Никольском, на пасеке, и писал «Старый Новый год» — и конечно, раньше «Валентины». И во МХАТ Олег уходил уже с ним с условием, чтоб дали ему там поставить, поскольку в «Современнике» не дали — семь лет мы ходили, просили.

Короче, Ефремов ушел, Галя Волчек с Котовой стали разбирать портфель: что у нас есть, — обнаружили «Валентину». Галя пригласила Валерия Фокина, не знаю, почему, как он оказался в тот момент под рукой. Ему пьеса

сразу понравилась, мы познакомились. Началась работа. Фокин очень дружил с Костей Райкиным, даже, кажется, жил у них, бывало. Так подтянулся, появился Костя, будущий Валентин. Я дружил с Боровским, и он уже читал, конечно, пьесу, тоже. Так появился художник спектакля.

У меня все разгорался роман с Катей Васильевой, она уже ушла из Ермоловского, я агитировал ее и старался помочь идти в «Современник». Взяли Катю. Не было Валентины. Фокин стал искать среди молодежи. И во мхатовском училище нашел Иру Акулову. Матери уже были определены сразу: Лаврова и Покровская, Женей стала Васильева, сестрой Валентина — Крылова, Гусев — Гафт.

Боровский придумал жесткое оформление: кровати, сетки, они же двери лифтов, фонари уличные, скамейки, бездомность влюбленных в городе. Один огромный фонарь располагался в горизонтали — тот, на котором потом жарили яичницу.

Пьесу отправили в управление культуры, потом в министерство, нужен был ЛИТ. Пока в театре начали репетировать, строить и шить, мы с Валентиной (!) Андриановной Цирнюк, моим редактором постоянным, сидели и не шили, а пороли и латали, драли пьесу за ее столом.

Вдруг выяснилось: Ефремов, ревниво следивший за всем, что творится в покинутом им, обидевшем вроде его и обиженном «Современнике», потребовал почитать пьесу: что ж это они там ставят? Он ее не помнил. Прочитал заново — она ему вдруг понравилась. Загорелся ставить. Только, позвал меня, надо бы усилить вот то-то, то-то и то-то. Это никакая не молодежная пьеса, а про всю нашу жизнь, про Москву и прочее, так и надо ставить, в таком духе и дотягивать. Композитор Троцюк написал музыку, режиссером взяли Кузенкова, никому не известного. Аллу Константиновну Тарасову Олег пошел уговаривать играть мать Валентины, ему нужна была крепкая поддержка пьесы изнутри перед началом. Тарасова не без труда согласилась, бабу дали Пилявской. Насколько «Современник» был своим, свойским, равным мне по всему театром, настолько МХАТ с его дорожками, дверями, кабинетами, иерархией, совсем чужими мне актерами казался таинственным и высоковознесенным замком. Мы носили по тогдашней моде какие-то кожаные (или под кожу) куртки — Ефремов, я, Саша Вампилов, с которым мы подружились в ту пору, и вот в этих кожаных куртках, будто какие комиссары, мы ворвались в стены, где натурально пахло нафталином (наверное, так сохраняли все дорожки, многие ковры и сукна). Сам вход в театр, все его службы были вроде иными.

Летом или осенью «Современник» отправился на гастроли в Ленинград. Я поехал с ними не из-за репетиций, которые там должны были продолжаться, а следом за Катей, с которой уже не в силах был расстаться хоть на день.

Жили в «Октябрьской», совершенно без денег, хорошо, если у Котовой удавалось стрелнуть трешку или пятерку. На сию сумму я готовил своей любимой актрисе ужин: бутылку винца за рубль двадцать восемь, двести граммов колбасы, булку, плавленый сырок «Дружба». Денег не было ни у кого, но, как водится в театре, на гастролях, к вечеру, после спектакля все были пьяны. Вампилов жил где-то рядом в номере, пил крепче нашего, да еще вдруг стал у него появляться, а то и ночевать, боясь идти домой, Сандрик Товстоногов. А к Кате являлась однажды Вика Федорова — красotka — вместе с Валей Ежовым (у них тоже как раз горел-разгорался роман), а Вика с Катей снимались в одной картине на «Ленфильме» — «Воспоминание о наших матерях» («О тех, кого помню и люблю»), о девушках-фронтовичках. Вика и Ежов пили коньяк стаканами, Ежов был уже лауреатом, сверкал на пиджаке золотой медалью сталинской (потом ее где-то потерял по пьянке, мы искали ее долго на какой-то чужой даче).

Мудрая Ляля Котова, начав ссужать нам с Вампиловым трешки, которых и у самой негусто было, отправилась однажды к Товстоногову в гости и взяла с

собой экземпляр «Валентины» (так, на всякий случай, может, почитают с Диной Шварц). Было, кажется, воскресенье или суббота, отдых, но уже через день — да, пожалуй, не более — пришла весть: Гога прочел, ему понравилось, театр готов заключить со мной постановочный договор и дать какие-то деньги в счет будущих спектаклей. Однако через несколько дней театр заканчивал сезон, уезжал на гастроли (или уходил в отпуск). Я не был даже знаком с недоступным и великим Гогой, а тут мы встретились, поговорили, он сказал мне всякие добрые слова и просил быстро, совсем быстро и срочно прийти и прочесть пьесу на труппе. Если труппа примет, все будет в порядке. Мы с Катей (и Вампиловым) были должны всем и всюду: за номера, в ресторане. Меня снаряжали на читку в БДТ, как за золотом в Клондайк. Читка в БДТ! Господи, где я? Кто я? Сидел на каком-то маленьком возвышении или просто за столом, а предо мной Басилашвили, Тимофеев, Толубеев — мама мия! После читки подписали договор, отвели в бухгалтерию, отвалили рублей, кажется, пятьсот — море денег! Я швырял красными десятками в администрации гостиницы, сколько-то дал Вампилову, и все, в том числе Ежов с Викою, рванули обедать... но не к себе, конечно, в несчастную привокзальную «Октябрьскую», а в «Европейскую», по-моему, или в саму «Асторию» — словом, где белые люди гуляют, а не шпана какая актерская. Обед обошелся сотни в полторы, не меньше, гуляй, Вася!.. А хохотали, а болтали! Боже ты мой! Так подключился к пьесе БДТ, и потом это имело великое значение!

Фокин между тем репетировал, не помню, правда, как и где. Выпускать намечено было в начале сезона, в крайнем случае к декабрю — закрыть план года. А что случилось дальше с «Валентиной» — ее провал, скандал, успех — требует отдельного рассказа. (Когда-нибудь!)

9 апреля. С утра по радио — узбеки отмечают 660-летие Тамерлана. Лучший праздник трудно найти!.. Впрочем, если я правильно помню, именно от него пошел весь наш госаппарат, чиновничество и т. п.

У нас пока продолжается в каждых вестях и новостях: Явлинский, Зюганов, Ельцин, Лебедь. Кажется, Марк Твен говорил: никогда так много не врут, как перед войной, во время выборов и после охоты. Вранье нескончаемое.

Люди же без конца задают один вопрос: ну а кто? Кого? Этих хотя бы мы уже знаем, они насытились, наворовались, сидят незыблемо в своих креслах. Надо менять людей, надо пробовать — на то и демократия: смена, замена, проба новых сил.

Но где они, где? Слишком узок выбор, мал разброс. Но как только расширишь — возникают жириновские, брынцаловы.

Русский человек всегда затрудняется в выборе: перед ним положи три яблока, он будет чесать в затылке, не зная, какое взять. Узурпаторы, самозванцы и жулики пользуются, чего ж не пользоваться.

Сравниваем с Америкой. Но забываем, что в Америке выходят в кандидаты, как правило, люди уже богатые, уже из власти и элиты.

И избиратель там другой, и система контроля. И з а к о н ы .

В России, давно известно, правят не законы, а люди.

А что за люди? Пожалуйста, вот они, все на виду.

Помню, я был в Штатах как раз во время выборов: американцы относились к ним вполне равнодушно, интерес был чисто спортивный. Но у американцев есть своя частная жизнь, свое дело — свой дом и семья им важнее всего на свете. Мы же стали оголтело политизированы, нас так и тянет к газетам, радио и телеящику: что? Кто? Какой рейтинг?.. «Надежды юношей питают». Привыкли надеяться на «хорошего» царя, на ожидание его.

Но и еще другое: привыкли болеть за родину, за «державу» — патриотизм в крови, с молоком матери. Поэтому волнуемся, поэтому страдаем, поэтому настроение все время хреновое: надежды обманывают, «хороших» царей не бывает.

Лекция по истории

Из книги об Америке

...Сколько я себя помню, столько я помню себя учащимся, учеником. Мы все учились понемногу. Мы учились и учимся всю жизнь и всегда учимся плохо. И то, что знаем, знаем плохо, поверхностно либо вообще неправильно. Особенно это касается, конечно, истории, как своей, так и чужой. Путешествуя по Америке и живя здесь, я должен был в какой-то момент признаться, что или плохо знаю, или вообще не знаю американской истории. Как все это начиналось, как получилось таким, как есть? Мои знания отрывочны и неполны, хороших книжек по истории США я, пожалуй, тоже не видел. Поэтому я решил просить по максимуму. Два профессора-историка передо мною: одеты, как студенты, в университетских майках с эмблемами, в джинсах и кроссовках. Алан — светлый, светлоглазый, с небольшой рыжеватой бородкой. Генри — темный, кудрявый, загорелый. Они вполне были готовы начать свою лекцию, а я слушать — уж кто и когда расскажет мне об этом лучше?

Сказав лишь несколько первых общих слов, Алан жестом попросил у меня мой блокнот и быстро тонким черным фломастером нарисовал на страничке старинный герб со щитом, женскими фигурами, всадником и плюмажами. На ленте висала латинская надпись: «Мне будет служить неведомый народ».

— Это герб Новой Англии,— сказал Алан,— и вот в этом самое, может быть, главное: Америка — новая страна и новый, неведомый дотоле человечеству народ. Добавим: сам себя создавший. Америка — самый смелый опыт в области слияния народов, веротерпимости, социального равенства, экономических возможностей и политической демократии. Записали? Хорошо. Теперь будем развивать эти тезисы и доказывать, что так оно и есть...

— И как это получилось,— добавил я.

— Да, разумеется,— согласился Алан.— Начнем с природы. Первые сошедшие с корабля майским утром 1607 года в Вирджинии поселенцы нашли изобилие лесов, лугов, красоты, дичи, рыбы. Континент поражал богатствами и просторами, невиданным размахом: на севере лед и мороз, на юге солнце и жара, но в целом климат здоровый и вполне привычный для европейцев. На плодородных землях росло все то же, что и в Англии, Франции, Германии, откуда в основном двигались переселенцы. Индейская кукуруза, посаженная в мае, в июне уже давала початки, индейцы же познакомили новичков с картофелем. Здесь были миллионы оленей и бизонов, тучи голубей затмевали небо, мощные реки кишели осетрами и прочей рыбой, не говоря уже о двух океанах, омывающих страну на западе и востоке. Со временем выяснилось, что в земле есть железо и медь, уголь и нефть, золото. Доплыть из Европы до Новой Земли иным стоило жизни, но корабли шли и шли, и в заливах и бухтах изрезанного Атлантического побережья — вот здесь неподалеку, где мы сидим сейчас с вами,— возникали все новые и новые поселения.

Мне пришлось остановить историка:

— Простите, Алан, это все хрестоматийно, а вот дальше, дальше... я понимаю, что в истории все важно, но... мне бы хотелось теперь особенно уяснить создание государственности. Вы, думаю, понимаете, почему меня сегодня особенно интересует этот момент.

— Хорошо,— сказал Алан,— хотя нового не понять без прошедшего. Возьмем 1619 год, Вирджинию — она в это время уже сложившаяся колония. Десять лет назад высадившиеся здесь мужчины основали Джемстаун, построили форт, церковь, амбар, несколько хижин. А в 1619 году в Вирджинии было уже две тысячи жителей. И пришел из Англии корабль, который привез девятьюстами молодых девушек — каждый мог выбрать себе жену, уплатив 120 фунтов табаку за их проезд.

Второе событие, — продолжил он, — 30 июля в церкви собирается первое на континенте законодательное собрание: губернатор, шесть советников и по два делегата от каждой из десяти окрестных плантаций. Вот вам и начало... Третьим событием 1619-го было прибытие голландского корабля с рабами-неграми, двадцать из них продали населению.

И тут Генри, пыхнув дымком сигареты, сказал: «Мейфлауер».

— Это были честные, мужественные, трудолюбивые люди, к тому же трезвенники.

— Пилигримы! — сказал я с радостью троечника, который хоть что-то вдруг вспомнил из прежних уроков.

— Да, они не очень-то хорошо жили в изгнании и решили отправиться в Новый Свет...

— Ну вот, вы сами все знаете, — заметил Алан. — Их было сто два человека, они прибыли в Массачусетс в декабре 1620 года, и в первую же зиму больше половины из них умерло от цинги и холода... колонии стали возникать одна за другой. Из Англии плыли католики и протестанты, аристократы и ремесленники, священники и бродяги, голландцы воевали с англичанами в Европе и переносили вражду и в Новый Свет. Но надо было не воевать, а жить вместе: работать, строить, осваивать новую землю. В Мэриленде английские аристократы были католиками, а простолюдины в основном протестантами — как жить? Терпимость была необходимостью, условием существования, и Мэриленд стал очагом и примером религиозной свободы. Король Карл I пожаловал компании хартию, они выкупили ее, не желая быть подданными Лондонской компании еще и на новых берегах, — так началась компания Массачусетского залива, сыгравшая великую роль в колонизации нового континента. Затем корона дала право отдельным лицам владеть американскими колониями, король мог так же, как прежде в Англии, подарить колонии, что он и сделал: лорд Балтимор получил Мэриленд, Уильям Пенн, сын адмирала, — Пенсильванию, а придворные Карла II — Каролину. Пенн позже сам собрал законодательное собрание, все члены которого были избраны поселенцами. И Пенн разрешил им провозгласить конституцию. Великую хартию, по которой многие права правительства передавались народу.

Приток переселенцев между тем нарастал: шел слух о богатстве новых земель, свободе. За десять—двенадцать лет Англию покинуло двадцать тысяч человек. Среди ехавших были предки великих людей — Франклина, Линкольна, Адамса и других. Бостон превратился в крупный порт, оживленный и культурный город. Был основан Гарвардский колледж. После гражданской войны в Англии приток переселенцев еще более усилился, население Вирджинии к 1670 году достигло сорока тысяч, причем приехало теперь немало богатых людей, которые могли купить большие поместья и вести хозяйство.

Профессора, читающего лекцию, перебивать не принято нигде и никогда. Но это была не публичная лекция — ее читали специально для меня, на берегу залива, под открытым небом, и я, как собственник, решил прервать Алана. Мне не терпелось услышать о том, ради чего я, вероятнее всего, и просил о лекции: как же складывалась федерация США, как колонии стали штатами и как затем тринадцать очень разных штатов соединились и стали тем, что мы называем теперь Америкой?

— Хорошо, — легко согласился Алан, — в самом деле, ближе к теме. Дело в том, что правительство конфедерации оказалось весьма слабым. В 1786 году наше будущее выглядело мрачно. Каждый штат вел выгодную лишь для себя политику, между штатами того гляди могла начаться война. Национальное правительство уже не имело права регулировать торговлю, оно потеряло контроль даже за внешними сношениями, и некоторые штаты уже начали самостоятельные переговоры с европейскими странами. А контроль над отношениями с индейцами? Джорджия даже сама вела с индейцами войну. Беспорядки стали уг-

ржать и людям, и имуществу. Средний класс не хотел отдать того, что он с таким трудом завоевал, а депрессия, как всегда, задела тех, кто и без того жил бедно. Положение было крайне тяжелым, торговля замерла, урожай не убирался, деньги обесценились. Штаты стали выпускать свои ассигнации, и тут уже окончательно все запуталось. Шла спекуляция землей, народ не желал платить налоги. Одни только проценты с государственного долга составляли примерно четырнадцать миллионов долларов при национальном доходе в четыреста тысяч. Земля, собственность, торговля, свобода — все, на чем стояла новая страна, оказалось под угрозой. Люди умные и дальновидные забили тревогу.

Алан сделал передышку, заглянул в мой блокнот: много ли я записал из рассказанного — и продолжал ровно и почти тихо:

— Дальнейшее, я думаю, известно. Был созван конвент, и в мае 1787 года в Филадельфии принята им конституция. Джордж Вашингтон приехал тринадцатого, он был одет в черный бархат, при шпаге, а шестнадцатого Бенджамин Франклин дал знаменитый обед в честь делегатов. Америку сделали люди, ни в одном месте земного шара в мае 1787 года нельзя было бы собрать за одним столом сразу столько замечательных людей, умов, личностей. Половина делегатов имела высшее образование; Джеймс Мадисон и многие другие скрупулезно изучали теории государства и особенно углублялись в историю греческой, швейцарской, нидерландской конфедераций. Независимо от количества делегатов каждый штат имел один голос. Чтобы не углублять разногласий, избежать давления избирателей, галерки и прессы, работа конвента проходила в строгой тайне.

Конвент понимал, что главный вопрос — это самостоятельность, уже утратившаяся свобода штатов и необходимость властного федерального правительства, ибо наступивший кризис и развал особенно доказывали необходимость общих финансов, торговли, армии, внешних сношений с остальным миром. Кроме того, вообще свободе нужен закон, чтобы не превратиться в произвол и анархию, а закону необходимо исполнение. Речь шла о создании некоего совсем нового аппарата, дотоле неизвестного в мире, — прецедент можно было найти лишь в истории Британской империи, где тоже существовало разделение власти между центром и местными органами управления. Но теперь полномочия центрального правительства следовало перечислить не вообще, а как можно конкретнее.

Алан остановился и потянулся за книгой, прочитал, на ходу переводя с английского: это Гамильтон. Вот: «Для сохранения свободы необходимо сильное правительство, но... опасное честолюбие чаще прячется за благовидной маской заботливости о правах народа, чем за суровой внешностью ревнителей твердого и действенного правительства. Из всех мужей, которые когда-либо попирали свободы республик, большинство вступали на свой путь, льстиво преклоняясь перед народом: начинали демагоги, а кончали тираны».

Теперь можно только поражаться знаниям и мудрости, находчивости и таланту людей, которые придумали двухпалатную систему для законодательной власти, решив споры между большими и малыми штатами, затем разработали законы о роли, выборах и деятельности исполнительной власти — президента, о назначении судей и прочего, и прочего, и прочего. Многие историки судили потом конвент и нашу конституцию как классовые, отражавшие интересы имущих и богатых. Что ж, к этому времени все в Америке или почти все: лавочники, фермеры, рабочие, плантаторы, артисты и журналисты — были довольно зажиточными и резких классовых различий в стране не было. Конституция была не экономическим, а политическим документом. Федеральному правительству принадлежало право: собирать налоги, производить займы, устанавливать пошлины, чеканить монету, создавать армию и флот, регулировать торговлю и международные отношения. Был решен даже такой мелкий, казалось бы, вопрос: правительству разрешалось иметь столицу, не превышающую по площа-

ди десяти квадратных миль. Сила правительства уравновешивалась силой штатов. Между прочим, «штат» по-английски — это «государство». Штаты сохраняли свою полноту власти на местах, ведали всей каждодневной жизнью граждан. Правительство имело право вмешаться во внутренние беспорядки штата лишь в том случае, если об этом просил губернатор или легистратура (правительство) штата.

Я не удержался и опять осмелился перебить, вопрос сам просился с языка:

— А как же правительство осуществляло свою волю? Ведь, по сути, конфедерация распалась и потребовала замены и весь кризис настал из-за неисполнения штатами законов?.. Как? Силой?..

Алан вновь взял в руки книжку с закладками, полистал и быстро нашел нужное место:

— Вот. Мадисон — Джефферсону: «Надеяться на добровольное соблюдение федеральных законов правительствами всех штатов не приходится». Надо было воздействовать не вообще на штат, на правительство, а на каждого гражданина страны. Была и вписана соответствующая статья в конституцию. То есть принятые правительством законы стали обязательными для всех, и местные органы власти и суды, как и федеральные, обязаны следить за их исполнением. Конституция была принята, Джордж Вашингтон избран первым президентом.

— И что же? — не удержался я от вопроса.

— Что? Начались понемногу перемены.— Алан опять обратился к книге с закладками и с вопросом показал ее Генри.

Тот кивнул согласно, и Алан снова стал читать. Я постарался записать, хотя цитата была изрядная.

Перепись населения 1790 года показала, что в стране уже миллион жителей, из них три с половиной тысячи — белые. Население в основном сельское, городов всего лишь пять, буквально: Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон, Чарлстон, Балтимор; средства сообщения ужасные: на европейцев Америка произвела впечатление страны дикой, грубой, полной неудобств, население неотесанное, культуры никакой, но зато самоуверенности хоть отбавляй. Но очень скоро началось новое развитие, возникли, например, компании для строительства новых дорог. Граница все более и более двигалась на запад, продолжалась колонизация новых земель. Собственно говоря, Америку создавало это движение на запад, свобода экономическая и политическая — каждый мог найти себе и по себе дело, каждый имел равные с другими права. «Будьте едины,— говорит Вашингтон,— будьте американцами».

— Вашингтон умело назначил нужных людей в свое первое правительство, и...— Алан сделал паузу и попросил меня выделить две особых странички в своем блокноте: — Здесь мы обязаны быть чуть внимательнее. Историю творят люди, и мне хотелось бы рассказать вам о двух выдающихся американцах, сыгравших, несомненно, великую роль в нашей истории. Напишите, пожалуйста: Джефферсон и Гамильтон.

Джефферсон был назначен государственным секретарем, он недавно вернулся из Франции, где был посланником. Считалось, что он придерживается антифедералистских взглядов. Александр Гамильтон занял пост государственно-го казначея, он всегда был ярким сторонником и, можно сказать, идеологом сильного федерального правительства. В жилах Гамильтона текла шотландская кровь, он был смел, решителен, умен, привлекателен, талантлив. У него были замечательные организаторские способности, он выступал и писал всегда с блеском и успехом. Он умел правильно поступать в нужный момент и обладал огромным обаянием. Благодаря этим качествам Вашингтон сделал его одним из главных своих помощников.

Еще во время войны, помогая Вашингтону, Гамильтон показал себя как страж порядка и страстный патриот, возмущавшийся неразберихой и беспоряд-

ками, царившими в разных штатах, в их разобщенной политике. Он считал лучшей английскую форму правления и, естественно, был сторонником сильной централизованной власти и неперемнной активной деятельности правительства. Джефферсон, который сам долго был губернатором Вирджинии, знал изнутри жизнь штата и его взаимодействие с федеральной властью и другими штатами, прямо говорил, что он против сильного правительства. Он был демократом, философом, любителем природы и свободы, сельским жителем и стоял не за мощь и свободу государства, а за свободу каждого человека и за равенство между гражданами.

Мы считаем, что для Америки было великим счастьем сочетание этих двух деятелей. Они осуществляли две главные идеи, одна без другой не имевшие бы, вероятно, места или в случае развития одной и забвения другой не приведшие бы к созданию той страны, которую мы имеем: мощную как держава и свободную для ее граждан. Гамильтон учредил банк Соединенных Штатов, подобный английскому, государственный монетный двор. Его финансовые мероприятия дали эффект и привлекли на сторону правительства зажиточных граждан.

Джефферсон выступал против Гамильтона. Став во главе нового правительства, он начал проводить в жизнь свои демократические принципы. Уже в первой своей речи он сказал (Алан снова обратился к книжке с закладками): «Страна нуждается в мудром и бережливом правительстве, которое бы поддерживало порядок среди населения, но в остальном предоставило бы людям самим свободно решать, как они хотят трудиться и каких улучшений добиваться, и не отнимало бы у них заработанного куска хлеба».

Несомненно, отсюда начался новый и обогащающий страну период в истории Америки. Конституция открыла путь к порядку, демократии. По-иному не могло быть. Пришлых отовсюду, разрозненных людей разных рас, возрастов и вероисповеданий объединял один и тот же труд, один образ жизни, одна патриотическая идея, индивидуализм и демократизм. Людям на западе приходилось полагаться лишь на себя; ни титулы, ни богатство, ни происхождение или даже высокая образованность не могли заменить авторитета труженика, хозяина, самостоятельности. Напористые ирландцы и шотландцы, расчетливые немцы, предприимчивые янки, жители других штатов, с юга, востока и севера, сливались понемногу на западе в некий новый этнос. Акр земли правительство продавало за один доллар 25 центов, а потом отдавало бесплатно просто потому, что человек на этой земле поселился. Равенство экономических возможностей воспитывало в людях и социальное, и политическое равенство, а природным лидерам давало возможность легко выдвинуться. Как, например, Аврааму Линкольну.

Алан отложил книгу и сказал, что пора сделать маленькую передышку. Мы согласились. И Алан тут же помчался вприпрыжку в сторону воды, вспугнув хищных крючконосых чаек.

— Вот это профессор! — вырвалось у меня.

На что Генри поднял значительно палец и сказал:

— О да, Алан — очень хороший профессор, один из лучших.

Я не стал спорить, потому что уже знал, что по-настоящему серьезные люди не выглядят серьезно. По крайней мере на этом берегу.

Геронтологические заметки

Я говорил о моем замечательном хьюстонском докторе Майкле Дебейки, великом хирурге и прекрасном человеке, сделавшем мне в 1978 году операцию на сердце (протез митрального клапана). Ему было в ту пору уже около семидесяти, он каждый день (операционный) делал по пять — семь операций, переходя из одной операционной в другую, где каждая новая бригада готовила больного, оставляя ему главное: клапаны, шунты. Он великий труженик, он автор нескольких книг, у него сравнительно молодая жена и маленькая дочь (в ту пору). По всей клинике можно видеть фотоплакат: улыбающийся, с очень живы-

ми, не без озорства глазами, в хирургической белой пилотке и марлевой на груди повязке Майкл и подпись: «Я потому так хорошо выгляжу, что никогда не курил и всегда следил за своим весом».

Вот, значит, первый секрет.

А вот ответ 90-летнего Черчилля на вопрос о его долголетию. Остроумный Уинстон сказал: «Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать».

Вот второй секрет.

Правда, про Черчилля же есть легенда (или так было), что он выпивал с утра чарку (интересно, сколько это будет — чарка — в переводе на английскую систему?) только армянского настоящего коньяку и съедал рязанскую спасскую луковицу — именно в каком-то спасском колхозе на Рязанщине это мне и рассказали, одаряя и меня в дорогу своим очень крепким, едучим луком.

Когда-то в Армении одна очень старая женщина рассказала:

— У меня умер взрослый сын, совсем взрослый, тридцать шесть лет. Ровно год у меня был траур, я не могла ни пить, ни есть. Чтобы не умереть, съедала одну луковицу, кусок хлеба и выпивала стакан воды. За целый день. — И добавила: — Это достаточно человеку, чтобы не умереть.

А может быть, в самом деле достаточно, а остальное, что мы едим, — лишнее? А все лишнее, уж точно, вредно.

Будем считать, что это тоже годится в секреты сохранения здоровья. Я верю.

Однажды в переделкинском Доме писателей гостила группа американцев, человек пять. Один выделялся особым ростом, грузной фигурой — пиджак его обнимал, как колокол, — младенческим цветом лица и пенным ежиком седины. На его розовом лице словно проступала вся экологически чистая, свежая, насыщенная витаминизированная еда, которую обычно употребляют в Америке и не самые богатые люди. Как-то у телефонной будки, где стояла также знакомая американская поэтесса Маргарет, я — с ее помощью — обратился к гиганту с вопросом о его возрасте. «84», — был ответ. Тогда я рассказал ему о Дебейки и о Черчилле и попросил сказать, как это ему удалось так славно сберечь себя до такой цифры. Мистер подумал минуту, поглядывая на меня сверху (был головы на две выше меня), все сформулировал и ответил: «Все дело в чувстве ответственности».

На мой взгляд, замечательный ответ, я его повторяю часто.

Примем и его как один из основных секретов.

В том же Доме творчества часто жил поэт Саша Красный, знаменитый тем, что дожил до 110 лет, — так он уверял. Он был сух, тонок в кости, почти слеп, с трудом ходил, часто засыпал у телевизора в холле. Но он работал, он требовал устраивать ему встречи с читателями, бурно и страстно читал со сцены свои стихи. Его всегда сопровождала довольно молодая женщина. (О, поэты! Хорошо помню совсем старого, сморщенного, подвыпившего Антокольского, влетающего в ресторан непременно под ручку с обеих сторон с двумя, а то и тремя девицами!) Саша Красный, где бы ни сидел, постоянно массировал свои сухие, старческие пальцы. Он и меня учил: «Делайте это постоянно, каждый палец по очереди, сильно, энергично — это знаменитый японский пальчиковый массаж». В самом деле, это очень оживляющая, влияющая сразу на все органы процедура: точки на руках и ступнях, как известно, связаны со всеми внутренними органами.

В Переделкине есть известный геронтологический санаторий-интернат. Я как-то выступал там, знакомился с обитателями. Очень живые, не потерявшие интереса к жизни люди от семидесяти и выше устраивают вечера, танцы, даже, говорят, не обходится без флирта и милых знакомств и привязанностей.

Интеллигентные, культурные люди вообще иначе старятся, чем обычные, им удается легче побеждать немощь и трудности возраста.

«Тогда у старости отыдем, — говорил Пушкин, — все, что отыметя у ней».

Беда не в том, что мы стареем — мудрец Ларошфуко, — а в том, что не замечаем этого. Конечно же, даже самый нестарящийся мужчина, даже самых прекрасных качеств и здоровья женщина должны замечать и правильно себя оценивать и вносить соответствующую коррекцию в то, что должно быть в человеке прекрасно: лицо, одежду, мысли, норму и форму поведения.

Во МХАТе Стреллер — «Остров рабов». Это в рамках Чеховского фестиваля, который шел все лето. Я мало видел. Стреллер — нарядный, интересный, белоснежный, пустой и глупый. Вся сцена МХАТа была усыпана белым натуральным песком (остров), где герои и кувыркались.

Дождь опять. Читаю весь день «Три любви Достоевского» Слонима, бедную, поверхностную, но все же главное передающую книжку: про большого психа Федора Михайловича.

29 мая. С Головановым и Таней приехали в Театр Гоголя на первый прогон «Овечки». Под навесом под дождем ждали Таню, смотрели, какая собирается публика. Надя мелькнула Птушкина, автор, в шляпке, волнуется, говорит еле-еле. Много молодежи, театральных старушек, юношей: Москва, такой один город на свете, всегда все знает, где что новенькое, дня два небось все перезванивались, теперь приехали Бог знает куда, в субботу, под дождем. И не зря — неожиданный, страстный, настоящий спектакль, хотя рычать на него будут вовсю, несомненно. Боря Мильграм, режиссер, молодец, действовал с той же смелостью, с какой Птушкина написала. Зашли к Яшину, поздравили, что в его театре нашла приют такая «Овечка». Потом за кулисы, к Чуриковой, которая так и стоит в гримуборной, переодеваясь, все с теми же ошалелыми глазами и выражением, с каким только что играла. Напоздравлялись, нарадовались, взбудоражились, на обратном пути купили каберне, выпили у Голованова на даче, никак наговориться не могли о спектакле. Потом ушли ко мне и устроили свою такую овечку, что и на другой день расстаться не могли. Великая сила искусства!

В один день

6 июня. Митя за мной заехал, повез к мощам Святого Пантелеймона, куда устремилась нынче вся Москва, да и из многих иных городов народ тоже. Мощи привозили в Россию когда-то однажды до революции.

Ехали с батюшкой, Катей, Марией и другой, маленькой Катей. И еще куча людей. В Донском и вокруг не протолкнуться от множества толп. Монахи в рясах и омоновцы в масках и лягушачьей униформе, объединяясь, сдерживали людской напор. Богатый, расписной, отреставрированный собор, широкие лестницы, которые осаждают отовсюду. Дети плачут, бабы вопят, калек тянут по ступеням. Истошно, истошно рвется народ к исцелителю. Ковыляю со своей палкой тоже, в кольце поддерживающих. Священники, каждый со своей группой, применяя незамысловатый семафор мимикой и руками, помогают друг другу протиснуть своих сквозь кордоны. Вспоминается кино: «Праздник святого Йоргена» и «Ночи Кабирии» — там все было верно снято: как валит толпа за чудом. Ощущение присутствия чего-то необычайно важного. Соединение с множеством народа, охваченного одним чувством, всегда заразительно, даже на стадионе или демонстрации. Но теперь я еще с о з н а ю , что рядом тайна и сила, пусть мне неведомая, но каким-то образом заражающая и на меня воздействующая. В ней нет опасности или страха животного, как если бы я входил в незнакомое море или всходил на незнакомую гору. Нет, возбуждение велико, реакции, хоть на тех же омоновцев или близстоящих, ясны и разнообразны, но есть еще незнакомый покой или, если угодно, умиротворение, возможно (или вероятно), это и есть таинственное святое воздействие на мою грешную душу?.. Народ между тем продолжает давить, как в метро. Но вот и вход арочный —

туда втекают и как-то сразу разбираются на струйки. При входе кладут в руку (Катя сзади: «Бери, бери!») черненькую аптечную бутылочку («Маслице, маслице, бери!») и синюю бумажную, в открытку, иконку св. Пантелеймона. Впереди народ сгущается, сгущается у некоего невысокого, со стол, помоста, на нем — не что, вроде высокого ларца, золоченого или бронзового. Уже я знаю: это и есть мощи. А мощи св. Пантелеймона — это его усекновенная голова, мумифицированная. Люди, обтекая с двух сторон, трогают ларец, прикасаются лбом ли, губами ли, матери тычут личиками младенцев, прижимают нательные крестики. Сбоку есть слюдяное окошечко — не для всех, батюшка потом рассказал, что ему-то позволили заглянуть. Но видел ли что — умолчал. Приложился и я к ларцу губами тоже, куда же денешься, если весь народ здесь?

На сходах с лестниц, на выходах священники кропили всех святой водой — из ведер, вразброс большими кистями, люди опять толпились, тянулись, хватили сверкающую солнечную воду.

Митя отвез меня обратно в Переделкино, не успел уехать — явился мой друг Егоров. Я лежал на диване, перебирал в себе происшедшее: не шел из мыслей ларец с головой, ж и в у щ е й с XI века.

— Чего это ты лежишь? — грозно спросил мой решительный Егоров.

— Отдыхаю. А что, нельзя?

— Нельзя! Вставай! Поехали!

— Куда, что?

— Как куда? Забыл, что ли?

(Господи, думаю, неужели сейчас скажет, что вся Москва у св. Пантелеймона?)

— О чем, Сережа? Не знаю.

— Да сегодня же день рождения Пушкина!

— Вот те на, здрасьте!

— Лежит! Писатель тоже! Да все ваши писатели должны на Пушкинской с букетами стоять, а они лежат, видишь ли, отдыхают.

— А ты-то что, сдурел, что ли? Тебе-то что?

— Я не писатель, но я строитель, и я русский человек. Могу я день рождения Пушкина отметить?.. Вставай, Миша, не ленись.

Я пытался отговориться, объяснить ему, где был, устал, и без того впечатлений сегодня хватает. Егоров стоял на своем.

И мы плюхнулись в его машину и поехали к Пушкину. Как-то вышло, что дорогой разговор пошел не о поэзии, не о св. Пантелеймоне, а о политике, как у всех нас, несчастных. Я имел неосторожность сказать, что меня зовут приехать в Курскую область: выступать в рамках проходящей выборной кампании.

— За Ельцина, что ли? — сразу рыкнул Егоров.

А надо объяснить, что мой друг далеко не горячий поклонник президента России. Он сам много занимал руководящих должностей и на производстве, и в аппарате управления, и поэтому о происходящих у нас в хозяйстве страны делах с ним лучше и не заикаться. Как с цепи сорвавшись, мой друг все полчаса пути до города разносил Бориса Николаевича и его команду. Прямо-таки разъярился, чуть на красный свет не проскакивал. Досталось и дороге, и гаишникам, и всем безобразным перестройкам улиц в центре, где совсем действительно невозможно стало двигаться частному транспорту. Но все же мы упорно двигались к Пушкинской, купив по дороге даже букетик цветов. Припарковались у «Известий», вышли и сразу попали в какой-то гомон, суету и неразбериху. Оказалось, вокруг памятника Пушкину кипит и кружит человек двадцать с флажками и плакатами. Публика была далеко не поэтическая, не из почитателей Пушкина явно. Мы приблизились. Мордастая тетка с налитыми красными щеками и налитыми пьянью глазами держала один конец-древко самостоятельного горизонтального плаката, а белоголовый дед в полувоенном одеянии — за другую планку. Развернув свой малый транспарант вширь, они двигались пря-

мо на нас. По голубому полотну белой известью кричал лозунг: «За Ельцина!» Душа у меня оборвалась в пятки, я только вкось глянул на Егорова, желая перехватить любое его слово или действие. Другая небольшая толпа совершала некий хоровод вокруг памятника. «Ну! — сказал я себе. — Свят-Пантелеймон, сохрани и помилуй!»

Егоров заорал сразу, без регистров и пристроек: «Это что вы тут носите? Это что вы тут делаете? Возле Пушкина!» Он сказал им простыми словами, что сегодня день рождения Пушкина, а не Ельцина, что они хоть сегодня бы постыдились здесь, у ног поэта, махать своими тряпками. Ему, естественно, быстро ответили, не задержалось. Скорбный Александр Сергеевич, склонив голову, смотрел сверху вниз. Егоров воздевал руку и к нему — погляди, мол, на этих людей, Пушкин! Пока Егоров говорил этим мелким демонстрантам, что он о них думает, а они тупо отругивались, все еще было терпимо, но я предвидел, что кипит-то он совсем не на них. И не ошибся: Егоров решил продолжить тот монолог, что держал в машине, в адрес высокого кандидата. Пришлось мне — не уезжая в Курскую область и совсем на малой аудитории — все-таки принять участие в предвыборной борьбе, не то чтоб грудью стал я на защиту Б. Н., но скорее друга решил уберечь от излишней полемики. Мы положили аккуратно свой букетик и отправились в кафе под «Россию» выпить кофе; некоторые, которые не за рулем и имели слишком много переживаний за этот день, выпили даже рюмашку коньяку за день рождения лучшего Президента Поэзии. Не нуждающегося в выборах.

Ну и денек! — как говорят на «Эхе Москвы».

21 июня. Фильм «Падение». Лановой, Стеклов, Прыгунов, Саша Захарова, Алика Смехова — ба, все свои люди! Круто, круто, все по штампу, уже привычному, но, однако, эффектно.

Выборы, выборы, все каналы ТВ надрываются полный рабочий день. В метро взрывы. Безразличие обывателя полное. Лебедь, рак и щука. Результаты первых. Ночью интервью Киселева с Лебедем по НТВ. Самоуверен, счастлив до предела. Наполеон Бонапартиец. Я победитель, я крутой, я спасу Россию! Ужас! Какое-то тяжелое оскудение, личностное, индивидуальное. Сплошные эрзацы. Я тупо проголосовал за Явлинского, он просто мне симпатичнее прочих, но... слаб тоже, конечно, никак не поставишь во главу угла, не хватает необходимого качества. Какого? Всякого. Качества, качества!

Сижу, работаю над Дарвином. Дарвин работал, как мало кто на свете. Он сказал о своей жизни: «Я родился, учился. Совершил путешествие на «Бигле». Потом опять учился». Он дожил до 94 лет, доказывал, что не Бог все создал, а мать-природа медленно, долго создавала и Землю, и все, что на ней. После его смерти богомольная жена Эмма, с которой он вполне дружно прожил всю жизнь, отредактировала его автобиографию так, что выкинула все, что он придумал, и вывел, и хотел еще раз подтвердить напоследок.

В лавке купил трехтомник Георгия Иванова. Целый день читал Тане навсквозь весь первый том. Какой замечательно глубокий, умный, совершенный поэт — слова божественные, неслыханная простота, классика, пушкинская стезя!

Зазеваешься мечтая,
Дрогнет удочка в руке —
Вот и рыбка золотая
На серебряном крючке.

Так мгновенно, так прелестно
Солнце, ветер и вода.
Даже рыбке в речке тесно,
Даже ей нужна беда:

Нужно, чтобы небо гасло,
Лодка ластилась к воде,
Чтобы закипало масло
Нежно на сковороде.

Дочитывал Алданова, закончил. Сел за статью. Очень хочется написать о нем: никто же ничего не знает.

Заехала Ира Купченко, прекрасная, как всегда. Рассказывала, что работала в спектакле про царя, расстрел царской семьи — по Радзинскому. Ну, Эдвард! Мало ему книги про царя, мало сидеть в креслах и, играючи, самому рассказывать, теперь еще и спектакль! А ведь не очень понимает, на мой взгляд, про этого несчастного царя, набрался только чужих материалов. А царь-то, что ж, не только Россию и свой народ защитить не сумел, но и семью. Дворянин, полковник, гвардейский офицер — девочка под ружья подставил, да как это так?! Конечно, конечно, все есть, чем оправдывать, чем доказывать. А, однако же, нельзя! В святые, в герои — не стоит, не ставится.

Вот так переключается неожиданно: алдановские вышедшие шесть томов, с его Парижем, и царственная Ира Купченко.

В какой-то вечер по ТВ — «Молчание ягнят», которых я так прежде и не видел. А не зря был хвален и прославлен фильм! Все очень серьезно. Актриса какая — глаза! А он?.. А мысль?! Что все такие. Вожделиние и простота. Сильно, ничего не скажешь.

28 июня. Как безобразно много мы пропускаем, не знаем — по небрежности, недостатку времени, лени, нелюбопытству! А есть много чего на свете, друг Горацио, что ни в коем случае не должно быть пропущено.

Еще в 91-м году в «Иностранке» было напечатано, а я так и жил без этого столько лет! Патрик Зюскинд. «Парфюмер». Вот только что дочитал, лапоть. Вот уж книжка!..

Придуманно роскошно — так художники годами, жизнями придумывают самые гениальные картины. А уж исполнено не менее роскошно. Какое мощное укрупнение и какая вязь деталей, подлинность. А фантазия! Ну, собака Зюскинд, откуда только взялся? Что-то подобное я затевал в своей «Камере Мухина», так и не написанной. Но я-то и не замахивался, и не собирался, и придумать не мог про то, как Дьявол борется с Богом в открытую, а это как раз про это! Ай, книжка!.. Кто не читал, должен прочитать, потому что вот так, походя, не расскажешь, — можно только поделиться наслаждением, художественным восторгом, который вызывает такое письмо, мысли и образы. Не помню даже, не могу, с чем сравнить из прочитанного за долгое-долгое время. «Аромат!» — как говорил Немирович про пьесу «Чайка».

И какая слабая, беспомощная, скучная «Голубка» того же Зюскинда, про сто небо и земля. И как это так бывает с писателями?!

Наша Родина — наше прошлое

1 июля. Фильм Саввы Кулиша «Железный занавес».

Авторы прямо датируют свой фильм десятилетием: 1947—1957. И даже начинают его документальными кадрами — прибытием Трумена и Черчилля в Фултон, где последний произнесет знаменитую речь о коммунистической угрозе и необходимости опустить между свободным миром и советским железный занавес. Мы оказываемся на своем месте: за занавесом. Картина бесконечно долгая. Несколько часов вмещают в себя в том или ином виде все события десятилетия, все его переходы и приметы, идеи, виды и видения, фигуры исторические и вымышленные. Попадаешь в как бы давно снятый, сугубо советский фильм, вплоть до идущего на всех парах в первых кадрах паровоза «Иосиф Сталин», как это бывало во множестве наших фильмов когда-то.

Мальчик Костя Савченко, герой картины, возвращается с семьей в Москву из алма-атинской эвакуации. Начинается сага об этой семье, о родных, знакомых, соседях по коммуналке. Сама коммуналка тоже бесконечно знакома, описана и изображена, кажется, бессчетно. С ее кухней, враждой и дружбой, нашим сердечным и бессердечным оголтелым коллективизмом, с нашей моралью и нравами. Много места отдано школе — о, мужская школа тех лет! — со словочными директорами, злобными военруками, несчастными учителями, справедливыми и униженными детьми. С несправедливостью, унижением, глупостью, антисемитизмом, оголтелой пионерией, драками до крови, но — с нежнейшими дружбами, романтикой, стихами, влюбленностью в «хороших» учителей и учителей. Опять же все до документальности правдиво, однако... это уже не знакомые старинные фильмы про школу: здесь вам не «Первоклассница», не «Слон и веревочка» — все жестко, жестоко, обнажено, и мальчику приходится вести бесконечную и яростную борьбу за свое лицо (и в буквальном, и в переносном смысле). Итак, коммуналка, где живут бок о бок жена зека и сама вчерашняя зечка, и тут же стукачка, заложившая ее мужа, и тут же дворник, занявший лучшую комнату тоже арестованных жильцов. В каких картинах мы это уже видели? В скольких? Черные эмки с гебистами, подкатывающие к подъезду по ночам, обыски, уводы из дому ни в чем не повинных людей. Костя с матерью пережили когда-то войну, налет немецких самолетов на пароход с беженцами, гибель этого парохода, — мальчика то и дело преследуют сны-кошмары этого события. Опять-таки почти документально наше военное детство, война. Хотя война ведь кончилась, уже 46—47-й годы; вот денежная реформа, отмена карточек, вот «Девушка моей мечты» на экране, возвращение дяди — Героя Советского Союза, трофейные порнографические открытки под партой — кто из моего поколения этого не помнит! Все верно, все точно...

...Коммуналка, школа, потом что было еще главным в жизни, в формировании? Конечно, двор. Кулиш много (и хорошо) снимает Москву, Сретенку и прочие близлежащие места этого района. У двора свои нравы, свой быт, свои типы: показано, как жестоко дрались, как играли в стеночку или «расшибалочку» пятаками и пятиалтынными, как всегда глядела из окна соседская красивая девочка Неля, как курили у костра и делали первые наколки у дворового уркагана и слушали первые блатные песни. Как гоняли в футбол, как опять дружили с одними и враждовали с другими. Все жестоко, все страшно, жизнь взрослых врывается в детскую без конца, советская идеология, Ленин и Сталин на каждой стенке, в каждой книге. Автор не пропустил, кажется, ничего или почти ничего из того, что было тогда. Как катались на коньках, как цеплялись за трамваи и машины. Офицерский кортик, Звезда Героя, пистолет, из-за которого мальчишек потащили в КГБ (и отцов, конечно). Кажется, об этом уже что-то где-то было, теперь эти темы кочуют, как из книги в книгу, так и из фильма в фильм. Кулиш хочет все сделать по-своему, быть предельно честным, предельно подробным. Героем картины становится быт. Но бытописание, конечно, коварно: что-то без конца повторяется, что-то без меры тянется, отбор становится относительным, возникает, к сожалению, скука, провалы. Серый, тяжелый быт, как оно и было, взрывается восторгами и пафосом ярких физкультурных и авиационных праздников, салютов; сияющая в ночи Спасская башня и звезды Кремля парят и царят над бедной, нищей жизнью. Бедной? Да нет, мы были, оказывается, счастливы — там, в своем детстве, в юности, в молодости, как ни жестоко обращались с нами власть и идеология. Учительница истории рассказывала о рабах, о рабстве, о том, что хозяин раба тоже раб, что не бывает свободы у тех, кто отнимает ее у других. Но герои фильма, слава Богу, не за колючей проволокой, хотя бы не в ГУЛАГе, они только за железным занавесом, они и не похожи на рабов: живут полной, бурной, относительно благополучной жизнью. Сталин является в сны мальчика и юноши подобно архангелу или самому Богу. Сталина вообще бесконечно много в картине, и надо заме-

титель, что тенденция эта — пихать Иосифа всюду — сделалась столь постоянной и навязчивой, что диву даешься: зачем? Кулиш даже цитирует целым куском сцену с прилетевшим в Берлин генералиссимусом из «Падения Берлина», — понятно, не без иронии, — но при избытии великого кормчего в картине вообще даже эта почти пародийная цитата кажется излишней: Боже, ну зачем опять его, не хватит ли? Это-то для кого? Для какого зрителя? Получается уже просто портрет на стекле таксиста.

Наша действительность, к сожалению, нехудожественна, наш быт — тем более. В картине, мне кажется, мало искусства: желание подробности, правдивости, документальности губит, к сожалению, поэзию. Правда жизни не бывает правдой искусства. Хроника семьи Савченко не перерастает в сагу, в поэму, остается лишь хроникой.

Кулиш хотел воспеть свое детство, свое время, своих друзей, выплеснуть самое главное, что есть у него на душе, — память прошлого. Но в какой-то мере он выступил просто хроникером, документалистом. Воспеть те годы невозможно, как ни будь сентиментален и предан им. Проклятое и проклятое время. Наше? Да, наше. Ну и что же? Вспоминаются ярость и пронзительность «Покаяния» — что касается политики и политического развенчания эпохи.

Но зачем? Сегодня уже всем все известно, пройдено. Даже в кинематографе. Новый поворот, новое потрясение могло дать только искусство. Вспоминается «XX век» Бертолуччи, конечно, «Амаркорд» и «Жестяной барабан» — это тоже своего рода хроники о детстве и жизни при тоталитаризме. Но там не было однообразно го бытописательства и просто описательства. А здесь, приходится признать, есть.

Замечательна, надо отметить, игра всех артистов, особенно удачны все женские роли. Фантастически работает оператор. Все.

Как я не был в Испании

В Испанию ездят так: мой десятилетний Алеша дружит в классе с Федей Левиным, черноглазым и бойким. А у Федей есть бабушка, тоже очень энергичная, деятельная. А у бабушки — муж, дедушка Левин, деловой, степенный, серьезный. И говорит однажды эта бабушка Алешиной маме Ирине: где вы собираетесь отдохнуть летом? Мы, например, отдохали в прошлом году в Испании, взяли недорогой тур, теперь это просто, и нам очень понравилось, мы теперь хотим опять поехать. Чего и вам советуем. В разговоре по телефону дедушка Левин, Анатолий Михайлович, рассказал мне, какой в Испании воздух, какое море, он за три недели забыл обо всех болезнях. Поговорили еще, посоветовались, помечтали. Потом продается наша подмосковная кооперативная так называемая дача — трехэтажный дом среди леса с отдельными квартирами, где мы почти никогда не жили из-за отдаленности и отсутствия там даже телефона, не говоря о близкой врачебной помощи, что для меня существенно. Это продается, потому что и без того нет денег и черный день, ради которого сие жилище приберегалось, практически наступил. Из вырученных денег выделяется сумма на летний отдых, довольно быстро оформляются документы, визы — я тем временем сижу, работаю и вроде ни во что не вникаю. Но вот уже и билеты на самолет куплены, и дата отъезда близка. Происходят быстрые сборы, выясняется, что к нам присоединился еще и брат моей жены с десятилетней кузиной Алеши Танечкой, ба, какая компания! Не пропадем! Берется с собою минимум летней одежды, Алеша — маску и ласты для плавания. А у меня работа срочная, и я думаю: что ж я там буду делать? Машинку тащить тяжело, неудобно, беру только бумагу, любимую китайскую ручку с золотым пером, баночку черных чернил. Улетаем. Из книг взял только малоформатного Пушкина и походное свое Евангелие, а Алеша — «Дети капитана Гранта». Самолет набит в основном нашими туристами, прибываем в Барселону. О, Барселона! Но мы, конечно, ее не видим, надо прибыть сначала на место.

Место — курортный берег Коста Браво, маленькие городки и отели. Нам — в Салоу, городок вроде Гагры или Анапы. Недорогой трехзвездочный отель «Калипсо», эдакий белый параллелепипед с бассейном и садиком внутри двора. Полон пузатыми, уже обгоревшими на солнце немцами и англичанами. И русскими. Сами испанцы тоже присутствуют, но в основном приезжают на уик-энд машинами. Нам отведено два номера, я захватываю белый пластмассовый стол на балконе, раскидываю бумаги. Левины живут в другом городке, далее по берегу, тоже в новеньком билдинге на самом берегу моря, там торчат всюду гигантские старые сосны, поэтому называется Ла Пинеда. Наша «Калипсо» в самом центре Салоу, зажатая другими такими же отелями. Господи, сколько лет подряд писали мы, говорили, кричали: давайте построим такое же в нашем Крыму и на Кавказе!.. Пока мы кричали и согласовывали, испанцы построили, теперь качают деньгу из этого берега. Всюду, конечно, кафешки, магазинчики, дансинги, по вечерам неистово гремит снизу из самых мощных колонок самая раздрающая музыка — молодежь подъезжает на машинах, на мотороллерах, — моторов за музыкой не слышно. До моря весьма далеко, надо переползти по крутым улочкам, пока доберешься. Пляжи перекрытые, платные. Мне с моей больной ногой и палкой не очень-то разбежаться. К тому же море еще странно холодное (июнь) и вообще не жарко: в Москве было 32, здесь — 20. Даже странно, как эти пузатые немцы и англичане ухитряются вмиг сгореть.

С моего балкона, с пятого этажа, видны этажи и балконы такого же, как наш, отеля. Где-то вдали горы, справа (а море где-то слева, и его ни фига не видеть). Из-за гор наползают к вечеру черные холодные тучи, подувает прохладой. На каждом балконе напротив меня такие же типовые пластмассовые белые столы и стулья (они же в каждом кафе на улице). Я честно работаю, накапливаю исписанные страницы. Хочется, конечно, в Испанию. Но одному в экскурсию мне поехать без присмотра нельзя, а с присмотром уже надо платить еще за три билета. До Барселоны — чуть больше часа, до Андорры — подумать только, Андорра! — почти четыре часа, до дома-музея Дали — часа два с половиной, до портовой, самой близкой Террагоны — часа полтора. Все — мимо!.. В Барселоне был бой быков — посмотрел кусочки в уличной кафешке по телевизору. Спасибо. Вина нельзя, всякие моллюски и устрицы дорого. Хороший ресторан дорого. Питаемся внизу, в гостиничной столовке, где шведский стол, выбор из выбранного хозяевами. Еды много, она обильна, дети таскают фрукты и мороженое. Хотя в объявлении на стене, написанном только по-русски, сказано, что выносить с собой ничего нельзя. Дети спуют целый день по лифтам, лестницам, болтаются в бассейне, играют на автоматах, скучают. В номере ни телевизора, ни радио, ни одной русской газеты или журнала за две недели. Только когда познакомились с одной переводчицей-москвичкой Ириной, которая привезла группу, из ее рук получили какую-то газету, в которую она что-то, уезжая, завернула. Сидим с этой Ириной на балконе, покуриваем, она рассказывает, какая вообще замечательная Испания.

Зато я гоно, почти заканчиваю свою работу, читаю без конца Евангелие, все время находя что-то новое, на чем-то останавливаясь и вникая, перечитывая.

Перечитал от нечего делать, чуть не вырывая у Алеши, «Дети капитана Гранта», порадовался, какая хорошая, интересная книжка, ничуть не постаревшая. У дедушки Левина взял модную книгу «Катастрофа» Вал. Лаврова, прямо-таки мерзкое сочинение якобы о судьбе Бунина, но весь пафос и ярость книги — против подлеца Ленина, Лейбы Троцкого и «прочих жидов, погубивших святую Русь». Все же злоба примитивна и бездарна. Еще в каких-то старых номерах «Юности» попался не менее ужасный Гладиллин (опять что-то про Сталина) и не менее противный Аксенов с «Московской сагой».

Пожалуй, впервые я оказался за границей без связей, без друзей, без театров и добрых застолий, даже без магазинов и покупок (в чем всегда было нема-

ло интереса), но главное — без путешествий, знакомства со страной и людьми, без обычного журналистского проникновения в страну и изучения ее. Дикость!.. Один или два раза взяли внизу напрокат инвалидную коляску, повезли меня вечером к морю и центру города, где самое гулянье. Я даже плавки надел, но море опять, как назло, холодное. Красивая набережная — копия, сказали, набережной Ниццы — с огромными пальмами и фонтаном забита все теми же обгорелыми курортниками, весьма безликими. Испанки попадались одна страшной другой, испанцы — не лучше. Просил у какой-то кафешки стаканчик настоящего бикавера или хоть рюмку портвейна — не дали. Испания!..

Спасибо, пришла вечером попозже Ирина, хоть можно было поговорить о чем-то: она уже мечтала, как вернется и с группой старых своих университетских друзей, с детьми, с палатками, на машинах отправится на Валдай — по грибы, по ягоды, на рыбалки. Мы опять покурили на моем балконе, под оглушительный рев нижней дискотеки.

Запомнится и останется от Испании за три недели написанная (июнь 95-го) для Нового театра, для Бориса Львова-Анохина пьеса «Каприз Фортуны» — дай Бог, ее примут, поставят, будут деньги, тогда возьму туристическую в Испанию, все погляжу. Будем надеяться, и пусть какая-нибудь собака скажет, что я не работаю, давно ничего не делаю, только по Испаниям разъезжаю.

И все. Обратная дорога на автобусе до Барселоны через сухую, выжженную землю, похожую на Крым под Феодосией: справа море, слева горы, сухой суглинок, выжженная трава, кое-где зеленые виноградники. Солнце и выжженное небо. Нет, как говорил герой одной моей пьесы, наше солнце лучше.

СОБРАННЫЕ КАМНИ

*Радищев, рабства враг,
цензуры избежал...*

А. Пушкин

Я ехал на одну встречу с читателями и зрителями и старался обдумать, о чем поговорить, не умножая слишком и без того всем настроившей болтологии и безудержного однообразия тем и слов. А незадолго до этого добрые люди одарили меня новым изданием писателя, которого давно знаю, и люблю, и ценю, Марка Алданова. Шеститомник Алданова — подумать только! — с грифами на каждом томе: «Впервые издается в России»!

Кто знает у нас об Алданове? Много ли читателей? Я понял, о чем надо сказать или по крайней мере с чего начать. Чтение Алданова — занятие простое, непривычное, и я не мог сразу охватить все шесть томов: что-то мне было знакомо, но хотелось читать и читать все подряд, — это издание можно назвать уникальным по его новизне и толковости отбора.

Это не просто собрание сочинений в шести томах и тем более не полное — полный Алданов потребовал бы (и требует!) томов сорока, если не больше. Издание названо четко и просто: сочинения в шести книгах. Собрал его, придумал, осуществил прекрасный филолог, давний поклонник, исследователь и патриот Алданова доктор филологических наук, профессор Андрей Чернышев — как хочется мне сквозь эти строки протянуть ему руку, выразить самую сердечную благодарность, даже изумление почти подвигом такой работы.

Мы впервые получили возможность черпать из колодца, который, как казалось, давно высох и позабыт, никому неведом, никому не нужен. Мы же богатые, нам ничего не жаль, не надо!.. А вот оказывается, что надо.

Вернусь к составлению своей как бы речи, к сожалению, так и не произнесенной, не донесенной до слушателей. Почему захотелось об Алданове? Отстранив вроде, отодвинув все иные, казалось бы, столь горячие, неотложные проблемы.

Судьба замечательного и очень значительного русского писателя феноменальна, хоть и подобна многим другим. А может быть, именно этим своим подобием феноменальна и значительна.

Эпоха подарила нам литературный ренессанс. Мы вдруг обрели потерянные в нашем бесконечном беженстве собственные пожитки. Ищем утраченные золотые запасы, янтарные комнаты, царские бриллианты, а находим — то Бунина, то Набокова, Шмелева, Зайцева, Замятина, Мережковского, Филонова, Гончарову, Рахманинова, Шаляпина. Просто голосят, сверкают, вопиют заброшенные на заброшенном кладбище нашей культуры. Слава Богу, все возвращается на круги своя.

Классика всегда современна. Современны Чехов, Толстой, Бунин, Островский, Достоевский. Пожалуй, нигде это не сказывается столь очевидно и ярко, как на театре. Театр обращает классику в современность таким образом, что она годится даже в злободневность и в публицистику, плюсует как хочет. Порою и слишком.

Марк Александрович Алданов (Ландау) родился в Киеве в 1889 году, умер в Ницце в 1957 году. Большущая жизнь. В основном прожитая вдали от Родины, в эмиграции (с 1919 года). Он начал с книги о Толстом и Роллане, он написал огромный цикл исторических романов о XVIII и XIX веках, и о XX веке — романы «Ключ», «Бегство», «Пещера», «Самоубийство». По образованию инженер-химик Алданов был одним из самых образованных, эрудированных, культурных авторов нашего XX века. Литература советских писателей-самоучек, пестуемых Горьким, была по большому, гамбургскому, счету, конечно, много беднее, жижее литературы Бунина, Куприна, Набокова — «врагов», «изменников» родины или «попутчиков», где числились Пришвин, Зощенко, Пастернак, многие другие, которых причисляли к «врагам внутренним» и соответственно терзали.

Искусно и изысканно собранный шеститомник открывает нам Алданова более полно и серьезно: не просто высококлассного беллетриста, но философа, эссеиста, мудреца, мастера научного подхода и анализа действительности и искусства. Скажем главное: у этого писателя была своя историческая концепция, свой взгляд на ход жизни и истории, на жизнь человеческую. В 6-й книге «Ульмская ночь» собраны сочинения, наиболее открыто и сконцентрированно говорящие о философии истории, о воле случая в истории. «По Алданову, — пишет в предисловии к тому профессор Чернышев, — события и люди далекого прошлого не могут не походить на то, что происходит в наши дни... Заговорщиками разных столетий движут во многом одинаковые страсти, мотивы благородные и возвышенные со своекорыстными и низменными, сходным образом вовлекаются в заговор новые члены и т. д. Успех или неуспех нового заговора — дело случая!» И далее: «В борьбе против оптимистически окрашенного исторического детерминизма он опирается на данные современной науки. Принимая принцип причинности, он вслед за французским математиком Курно вместо единой цепи причин и следствий предлагает видеть в истории бесконечное множество таких цепей. В каждой отдельно взятой последующее звено зависит от предыдущего, однако скрещение цепей случайно, поэтому история — царство слепого случая. Он убежден, что нет оснований говорить об историческом прогрессе — прогресс существует в науке и технике, но не в нравственности. В книге вводится понятие «выборные аксиомы», выбирают систему ценностей, определяют приоритеты по-разному в разных странах, в разные эпохи».

Алданов — строгий и чертовски умный писатель.

Отвлекусь на минуту. Не я первый замечаю, как трудно стало сегодня читать вообще. Читатель открывает новый роман, повесть и с первых страниц, первых абзацев, иногда с первых строк легко «просекает» книгу — ведь мы читаем не собственно книги, истории, там изложенные, события, героев, — мы читаем, как правило, автора, личность, выбираем собеседника, интересного или

пресного. Почти невозможно стало тянуться через длинный роман. Оттого в такой чести сегодня письмо короткое, емкое, замечточное, дневниковое. Слишком много событий, историй, живых романов и реальных героев вокруг, в ежедневном экране или газете, чего там еще сочинять, жизнь всегда фантастичнее и круче любой драматургии. Но слово настоящего писателя, эссеиста, мудреца никуда не делось. Мы читаем не что написано, не как написано, а кто написал — автор занимает нас (или не интересуется) в первую очередь. Потому что автор умный, интересный и пишет соответственно, и захватывает нас им самим созданным способом.

Марк Алданов — именно такой автор. Оттого он и ярко современен, точен, глубок, не болтлив попусту, строг к себе и уважителен к своему читателю. Он интересен, о чем бы ни писал, а пишет тоже, как правило, об интересном.

Еще и еще раз погорюешь, что десятками лет, читая Бог знает что, этого мы не знали, и еще, и еще порадуешься, что все же рукописи не горят (горели!), шила в мешке не утаишь, и нет шедевров, погибших в забвении.

В шеститомнике, читатель, чего только не найдется: в «Портретах» — Сталин и Пилсудский, Черчилль, Бунин, декабристы и советское кино, в «очерках» — Лев Толстой, Дантес, Мата Хари, в томе рассказов — все неизвестные прежде рассказы Алданова, написанные им уже в эмиграции, во Франции, Германии и Америке.

Проза Алданова представлена и романом «Начало конца» — он писался в 30-е годы, имел странную судьбу, терялся, печатался частями, вышел полным, наконец, только на английском уже в Америке. Но это был роман почти «советский», на современном материале, с героями — дипломатами, большевиками, чекистами, заграницей, Испанией, — нервный предвоенный роман, чем-то напоминающий книги Ясенского, Эренбурга, но как бы в пику и в полемике с Алексеем Толстым, прежним сотоварищем по литературе. Еще более резко противопоставит себя Толстому Алданов позже в «Самоубийстве» — сокрушительной книге о гибели интеллигенции в революцию, а не в благополучном ее сотрудничестве с большевиками, как это вышло у Толстого.

Второе большое сочинение шеститомника — роман «Живи, как хочешь», написанный Алдановым десять лет спустя, уже в 50-е годы. Между прочим, о названии романа Алданов советовался с лучшим, главным другом своей жизни — И. А. Буниным.

Но ни на Бунина, ни на бунинскую бриллиантовую прозу этот роман никак не похож. Он типично алдановский, многослойный, пестрый, написанный с явной установкой на успех у современного западного издателя и читателя; здесь и детектив, алмазы, банкиры, писатели, роковые женщины, мистика, колдовство, ООН, атомная бомба — чего только нет! Даже две целиком пьесы, написанные героем романа писателем Яценко. Этот роман — автопортрет самого Алданова, историка, эрудита, умника, европейца, космополита и, несомненно, очень русского писателя, это — зеркало Алданова или скорее система зеркал, где одно отражается в другом, пересекается, где почти назойливо повторяется та самая идея — случая в истории, в жизни, в потоке времени. Порою это так многословно и многослойно, что трудно читать: слишком много всего, запутано, удушает эрудицией, цитированием, ссылками на всю историю человечества. Алданов словно вопреки себе, вопреки тому, о чем я говорил выше, ищет путь к новой балетристике, новому роману, смешивает жанры — обе пьесы, входящие в ткань книги, не кажутся безусловно художественными и необходимыми здесь, публицистичность и идеология с обратным знаком, антибольшевистская пропаганда делают книгу чересчур злой, нервной — и вопреки ее же декларациям не очень-то доброй. Но Алданову важно высказать, выплеснуть, выложить главное — призвать читателя к свободе духа, к жизни нравственной: живи, как хочешь, означает «живи свободно, сам, по своей душе, по-доброму». Главная тема для русского писателя, сына русской литературы, остается все

той же, общей для нашей литературы, от Пушкина и Гоголя до того же Бунина — в современном, утратившем гуманность, Бога, добро, тоталитарном, разорванном, диком мире, где всюду правят деньги, — все равно живи по совести, по воле, по свободе.

Будучи глубоким, в сущности, пессимистом, всегда горя о судьбе России, Алданов, однако, как всякий истинный пессимист, не терял веры и надежды на лучшее. Потерянные, горько живущие герои Алданова ищут добра и свободы. Автор вместе с ними верит в другую, новую, послебольшевистскую Россию. «Свобода выше всего, — пишет он, — эту ценность нельзя принести в жертву ничему другому; никакое народное волеизъявление, никакой плебисцит, никакое голосование в парламенте ее отменить не вправе; есть вещи, которых «народ» у «человека» отнять не может».

О Тане Роциной

Говорят, у каких-то народов или племен возраст человека исчисляют с момента не рождения, а зачатия. А уже не мифологический, а научный факт, что в пору эмбрионального развития человеческое существо (а может, любое) восприимчиво ко всем внешним влияниям, не говоря уж о том, что получает непосредственно через нервную систему матери. Хочу рассказать о Татьяне, своей старшей дочери, приняв условно эти моменты во главу угла. Иной родословной нет — только своя. Матерью ее была Наташа Лаврентьева, светлая голова и светлая душа, красивая, совсем молодая женщина, романтическая и восторженная. Писала стихи, училась в московском Литинституте, была смелая, озорная, добрая. Мы поженились в 54-м году, решили уехать из Москвы — тогда всех влек ветер странствий, целина, Братск, стройки. Наташа как раз окончила институт, получила направление в Сталинград. Там, в обкоме, предложили несколько мест на выбор, в газетах нужные были люди. Мы выбрали, чисто случайно, Камышин. Приехали в старенький, засыпанный песком городишко, где куры и поросята бегали по улицам. Пристань, станция, старый лакокрасочный завод, гостиница — точно, как у Гоголя, редакция. Начиналась, правда, гигантская стройка нового текстильного комбината. Жилья не было, редактор привел нас в бывшее машбюро, заваленное старыми подшивками газет, сказал: хотите, пристройтесь здесь, пока не снимете комнатенку. Письменный стол, два стула, раскладушка, из подшивок сложили диван, на подоконник — электроплитку (здесь вышла кухня). Наташа острела и потешалась, повесила занавеску от солнца, пихнула в банку букет, собранный на обочине. Зато мы были в зените нашей любви, «подшивочный» диван расплзался в стороны.

Был момент, я не хотел, не думал на ней жениться, но в Камышине мы были — одно. О, великая Волга! Наши сидения по вечерам на обрыве, фантастические закаты, пароходы, наши поездки в Сталинград и обратно, в Астрахань, памятную мне с детских лет, наши палубы, каюты, а наши компании, друзья, те места, где нас, бездомных, радушно оставляли ночевать!.. В ту пору я был уже сильно влюблен в нее, она меня просто любила всей силой своего доброго, любвеобильного сердца, еще девичьего, дождавшегося наконец любви, какой хотелось. Она была послушна мне во всем, даже когда я правил ее первые рассказы. Она была преданный и верный человек, мне приходилось дотягиваться до ее высокой температуры. Еще в Москве она умела спасти меня, когда я болел, ей не раз приходилось выдерживать битвы с родителями из-за меня: то не пришла домой ночевать, то умчалась со мной в Питер, то нужен срочный аборт. Она мало знала жизнь, как она есть, все романтизировала, и меня в том числе, но вера ее была абсолютной. Цельная и чистая во всем, такой же была в своей всеокрушающей любви.

Внизу была типография, ночью кто-нибудь приходил: исправить какую-нибудь ошибку в печатающемся номере «Ленинского знамени» — так называлась

наша районная (она же городская) газета. Наташа легко сходилась с людьми, комсомольский восторг ее способен был отринуть все трудности и печали. Редакция как-то сразу приняла нас, двух дурачков, бросивших Москву, родные дома, родителей. Мы ничего еще не умели, учились на ходу, много работали, писали все подряд, от передовицы до рецензии на новый фильм. В городе был театр. Наташа, еще в институте игравшая Анну Каренину в студенческой самодеятельности и заядлая московская театралка, быстро сошлась с актерами. Писала обо всем: о речниках, о стройке, о железной дороге, о роддоме, о школе. Ночью можно было захватить кабинет редактора или зама, там работать. Приехало много работниц на стройку из Молдавии, быстро стали рожать и... оставлять младенцев в роддоме. Импульсивная и восторженная Лаврентьева не понимала: как это можно? Упрашивала меня: давай возьмем младенчика, жалко же. Спасибо, знакомая докторша сказала: не делайте глупостей, у вас скоро свой будет. Так впервые послала нам о себе заявку будущая Таня. Питались мы в нашей местной поганой чайной; какие были условия — я уже сказал. Выручали камышинские арбузы, фрукты, на берегу у рыбаков бывала контрабандная рыба или икра. В очередь на квартиру даже не втиснуться было. Наташа выросла в очень обеспеченной семье, она была старше меня на три года, но я уже был взрослее и опытнее, и мой мужской опыт был иным. «Мой муж,— говорила она часто,— больше всего любит кофе с лимоном и женщин». Насчет первого было хуже, чем насчет второго. Я еще продолжал учиться заочно, мотался часто в Москву, стал больше печататься, в том числе и в Сталинграде. Там даже вышла у меня в 56-м году первая книжка. А в 57-м со студентами своего курса я уехал в Сибирь и на Дальний Восток.

В редакции становилось все труднее: мы, несколько молодых сотрудников, все более стремились к правдивости и справедливости, но газета продолжала работать в стиле нашей оголтелой пропаганды — критические материалы редактор и зам швыряли в корзину. Замредактора учил писать так: «Если в этом году колхозники получили на трудодень 20 копеек, а в прошлом — пять, надо написать, что в этом получили вчетверо больше». Мирные отношения закончились скандалом: на стройке случилась авария, о которой газета могла написать заранее, но именно этот материал был отвергнут.

Впрочем, в эту пору Наташа уже вернулась в Москву, чтобы рожать Таню, и ее мама больше никуда не отпустила.

Она уехала, я остался. По два раза на дню звонил в Москву: ну, как? Уже все сроки прошли, все положенные месяцы — нет, ребенок все ждал чего-то, дозревал. Наступил канун Нового, 1957 года, я уж места себе не находил, Наташа тоже нервничала. Пришлось отпроситься в редакции, ехать в Москву. Как нарочно, разбушевалась зима, о заволжские вьюжные ветры! Их надо знать: беспощадный мороз и ветер, сбивающий с ног. Поезда не ходили — заносы, самолеты не летали тем более. На попутке-грузовике я добрался до Сталинграда, оттуда, думал, как-нибудь выскочу скорее. Помогли друзья-журналисты, один, обкомовский, рейс все равно отправлялся в Москву каждый день. Но и с ним у меня что-то не получилось. Господи, чего я только не делал, как метался там, — я уже позвонил, что прилечу, все преодолею. Выручили вояки, на военный транспортный взяли в последний момент. Летели жутко, в ночной метели, самолетная жестянка, набитая грузом, будто холодильник. Вышел пилот: Москва не принимает, там тоже метель, будем садиться в Серпухове. Ура! — все равно закричал я про себя, уж от Серпухова доберемся, три часа электричкой.

Прилетели в Серпухов, электричек нет, те же заносы на дороге. Какой-то аэродромный автобус все равно должен довезти летчиков до Москвы. Они, конечно, уж меня не бросили, забрали с собой: у парня жена рожает.

К ночи тридцатого еле живой я явился перед Натальей. Обследовал, как хирург, ее выпирающее пузо, приложил ухо. Когда-то, еще при первом аборте, мы все читали стихи Дмитрия Кедрина: «Послушай, а если он будет Моцарт, этот незримый мальчик, вытравленный тобой?..» И с тех пор повелось у нас на-

зывать будущее дитя Моцартом... Итак, я послушал, что там, в животе: Моцарт не пел, не играл, затаился. Конечно, мы бросились друг к другу, конечно, ей надо было все рассказать про себя, а мне — про себя и Камышин, про всех и вся. Все девять месяцев минули и даже чуть больше. «Эй! — сказал я животу. — Пора бы! Зачем я ехал, летел, мерз, трясся, опять ехал?..»

Часам к трем ночи Наталья стала покорчиваться и постанывать. Будущая бабушка, надо сказать, большая паникерка, отличалась во всем любовью к порядку и ко всем положенным правилам. Охи и ахи становились сильнее. «Скорую!» Неотложку! Бабушка взялась за телефон — все было напрасно. Часа в четыре я выскочил, поймал чудом какую-то заблудшую машину. Дело происходило на Бережковской набережной, ближайший роддом — на Арбате, имени Грауэрмана. Туда я Наталью и привез, и сдал, она при всей своей терпеливости уже едва двигалась и держала руками живот. «Скорей!» — закричали сами приемщицы. Мне вынесли узел: ее шубу и прочее. И я пошел обратно пешком, уже не глядя на мороз, на первые троллейбусы и машины. Сам все еще продолжал лететь, хвататься за ледяные стенки самолетной кабины, вспоминал газетный новогодний номер, который успел сдать в Камышине, — чего только не крутилось в голове! Но более всего — роды, которые однажды мне пришлось наблюдать в Камышинском роддоме: как тогда кричала роженица, сколько было кровищи и всего прочего!.. Но я не боялся за Наталью, знал, что она-то будет молчать да еще шутить с акушерами, анекдоты рассказывать. Так оно потом и оказалось в самом деле.

Я принес бабушке вещи, отчитался, бабушка опять села на телефон, звонить теперь в Грауэрмана. Я часов в девять, проспав минут сорок, пошел назад. Пришел, внизу уже сидел и толпился народ, висела большая доска с гвоздиками, на которые нанизывают белые бумажные кружочки. Довольно скоро наткнулся на свой: «Лаврентьева, девочка, вес такой-то, рост такой-то». Больше ничего.

Вот тебе и Моцарт!

Как мне хотелось ворваться и увидеть Наталью, все спросить, все увидеть самому. Но! — тогда еще одним из главных в нашей жизни оставалось великое выражение: не положено.

Душа моя, однако, утихла и отмякла, я резво и радостно прыгнул в первый же троллейбус и поехал с докладом к бабушке, ко всем друзьям. Страшно гордился собой: что приехал вовремя, что дочь, оказывается, меня дождалась, не хотела без меня рождаться. Солнце гуляло по троллейбусу, мороз утих, откуда-то попахивало по-новогоднему мандаринами. Не было ни сил, ни состояния вдуматься или осмыслить случившееся. Просто все было нормально. Белый кружок на доске: девочка. Вот и слава Богу! Я же люблю девочек.

Позже начались наши разнообразные внутренние трудности и разлады, которых не бывало прежде. Какое-то время мы даже жили порознь. Наташа была терпелива и терпима, но веселость ее понемногу угасала. Виною был я. Вспомним, что время тоже ломалось: дед Лаврентьев, старый большевик, изучал, глядя через лупу в «Правду», и по привычке верил каждой строчке, а я насмотрелся в Сибири и на Востоке, чего старому большевику и присниться не могло, и покупал югославскую «Борбу» и «Политику». В газете меня приняли в кандидаты партии, а на последнем курсе, куда я вернулся, перед самыми «госами», на выпуске, стали исключать из партии — тогда уже появилось слово «ревизионизм».

Наташа осталась в Москве, а я не мог бросить газету: стал уже ответсекретарем, делал каждый номер. Я вернулся в Камышин и долго жил один — в комнатеке, которую наконец нам дали в новом, сыром комбинатском доме.

Мы решили опять уехать из Москвы: одним нам жилось лучше и понятнее. Наташа поехала первой, вперед, на разведку, опять в Сталинград. И там внезапно, поехав по заданию редакции на стройку Волжской ГЭС (в новом городе Волжском), разбилась вечером на дороге на мотоцикле. В 28 лет, в день своего рождения. Так ей когда-то цыганка нагадала.

Не удивляйтесь, все это я рассказывал о Тане тоже. Она такая же талантливая, такая же легкомысленная, упрямая, веселая, целеустремленная, и со стилями у нее тоже так: бывает — хорошо, а бывает — не очень.

Ради минуты разговора

25 сентября. Так и стоит в глазах весь вчерашний бурный день, дворец этот — снаружи кирпич, внутри — сплошь мрамор, лестницы, холлы, зеркала, галереи, — памятник застою брежневскому: за все годы правления Леонида Ильича ничего ведь в Москве, кроме двух билдингов КГБ и двух Минобороны, не построили — ни театра, ни филармонии, никакого другого культобъекта, и вот только под конец эту цековскую гостиницу под чужие пять звездочек — для секретарей братских партий и госдеятелей, «Президент-отель» теперь называется. Домик-то шикарный вышел, что говорить, но, конечно, со всей совковой службой охраны, пропусками, ментами: куда? К кому? Зачем?.. Я весь вечер накануне потратил на телефон: как попасть, пробраться, протиснуться на конгресс, чтобы повидать хоть на минуту доктора Дебейки? Таня Никитина, верная моя Татьяна Георгиевна, лечащий врач, сказала, что она будет здесь около десяти и у нее есть лишний пригласительный. Я мылся, брился, одевался, уже в девять Олег приехал за мной в Переделкино, и мы пробирались по «Минке» в самый утренний час пик. Вторник, а машин было море, двигались слоны-фуры со всего ближнего Запада: польские, немецкие, румынские; сотни легковых, «Жигулей», «Волг» и иномарок, которых теперь у нас засилье, лавировали моськами между слонами, — ехали, словом, минут сорок вместо пятнадцати. Я ринулся в будку, сказал постовому попросту: «Меня здесь ждут», — он полез в списки искать фамилию, но я еще раз-другой глянул на часы — было уже минут двадцать одиннадцатого, выказал нетерпение, тогда он просто вручил мне стандартный пригласительный, я прошел без всякого (зачем вся охрана?). Даже заготовленный паспорт не понадобился. На втором этаже в зале уже шло заседание, на галерее рядом даже покуривали, хотя в этом доме, я вспомнил, курить повсюду нельзя, висят таблички с перечеркнутой красным сигаретой. Народ, однако, курил. Проход, конечно, был забит операторами с камерами, другим людом. Имел место быть Международный конгресс кардиохирургов, организованный Институтом Бакулева и посвященный памяти Владимира Ивановича Бураковского, прежнего многолетнего директора института, — его знакомый портрет с пухлыми руками, обнимающими снизу не менее крупное и круглое лицо, украшал сцену, сам украшенный большим букетом. Лео Бакерия, новый директор-руководитель института, зачитывал немалый список знаменитых хирургов, удостоенных медали Бураковского. Я приткнулся плечом к стене, огляделся, сразу попали в поле зрения сплошь знакомые лица — я, слава Богу, много лет общаюсь с этими людьми. Сам был замечен тоже: подошла какая-то женщина, показала — вон там вас ждут, есть место, Таня Никитина уже махала мне рукой. Называемые лауреаты не выходили на сцену, большинство их занимали первый ряд, и каждый лишь приподнимался, попадая под обстрел теле- и фотокамер. И с той минуты, как я опустился в кресло, я начал искать характерную голову и профиль Дебейки и скоро нашел. Но теперь вопрос: как к нему пробраться?.. Таня рассказала, что уже вчера в аэропорту организаторов конференции, в основном моих давних друзей-бакулевцев, Лео Бакерию, Покровского, Работникова и других, то есть тех, кто давно знает великого доктора и кого он хорошо знает (когда-то впервые в Союзе, при операции Келдышу, Бураковский и Работников были ассистентами у Дебейки, а потом многие бывали у него в Штатах), даже близко не подпустили к трапу самолета, не дали пожать доктору руку, вручить букет. Он уже плотно взят в клещи службой президента, Евгением Чазовым и другими, кто занят теперь вопросом операции президента. Так сошлось, что

вместе с конгрессом Дебейки стал гостем-консультантом по поводу операции президента, и, конечно, вся официальная команда врачей и охраны президента взяла его в свои руки (или клещи, или в лапы, не знаю, как лучше это назвать). В какой-то краткий, маленький перерывчик, когда столь знакомый мне, дорогой и близкий доктор вышел вдруг по этому проходу на галерею, человек сорок, а то и больше репортеров ринулись к нему с камерами и торчащими в руках магнитофонами, но... Вокруг доктора стоял заслон из шкафообразных парней в малиновых пиджаках с белеющими на груди бирками службы безопасности, и надо было видеть, как накат репортеров, мужчин и молодых женщин, был отброшен, отринут, кидали их прочь без стеснения, как кидает полиция демонстрантов, кое-кто и падал со своими камерами, еле держался на ногах.

Понятно их беспокойство; надо, чтобы на важного консультанта пылинки не села до завтрашнего консилиума, но зачем же, как всегда, хамство, унижение своих перед иностранцем, оголтелое собачье рвение? Я со своей палкой, хромая, даже не пытался втиснуться в раскидываемую толпу, не мог даже издали помахать доктору. Под прикрытием стены пиджаков его быстро увели в некую дверь (там оказалась комната отдыха), парни стали у двери плечом к плечу. Но уже около меня была моя верная Никитина, уже она втолковывала одному из красных сейфов, кто я да зачем мне нужен хоть на минуту доктор. Сейф не менее капитана, думаю, по званию вдруг услышал, что говорится, сказал: «Не положено.— Но потом сдался: — Пойду узнаю». Ушел, дверь сомкнулась за ним, а двое плечников опять перед дверью. И все. Больше мы этого сейфа не видели. Татьяна билась так и сяк, я тоже говорил какие-то жалкие слова, все напрасно. Как теперь говорится, против лома нет приема, но тут уж пошло на принцип: вы, ребята, упорные, однако мы тоже умеем добиваться своего и собраться в пружину. За меня стали болеть наши, и я повидался таким образом сразу и с Бакерией, и с Бухариным, и с Работниковым, Малашенковым, Спиридоновым, Цукерманом, другими замечательными кардиохирургами, с обаятельным Мих. Мих. Ашибая, который тоже делал мне когда-то небольшую операцию в 15-й больнице (тот самый, который в свое время спас Аллу Пугачеву, чем прославился по Москве). Из репортеров лишь одна Катя Высоковская с радио захватила меня для интервью, поскольку знала мою историю с Дебейки, потом подключились какие-то три девицы с французского телевидения, мы пошли вместе пить кофе в кафешке этажом ниже.

В зале между тем продолжались доклады, Никитиной надо было многое послушать. Там выступали корифеи: знаменитый Бигелоу из Канады, Гери Бансон из Питтсбурга, наш Евг. Мешалкин из Новосибирска. Доклады были важные, каждый сопровождался слайдами и короткими фильмами, даже мне было многое понятно и интересно. Дебейки был назначен на 12.30. Я знаю, как не любит он покидать свою клинику, даже на короткое время. Он прилетает не более чем на сутки, на день, делает свое сообщение и старается почти в тот же день улететь. В прошлый его приезд в Москву я провел с ним целый день, мы успели побывать в Бакулевском, в кардиоцентре у Чазова, у Валерия Ивановича Шумакова. Тогда, правда, у него не было такой заботы, как сегодня, насчет президента, но у меня дома, помню, мы побывали только ночью, хотя моя мама, теперь уже покойная, ждала доктора, который спас ее старшего сына, целый день с обедом-ужином, и съел несколько ложек ее борща уже часов в двенадцать. Я не хвастаю, но, ей-богу, у нас с ним давно установились отношения самые дружеские, поэтому как я мог не повидать его теперь?.. Словом, охрана делала свое дело, а мы — свое: шли на прорыв.

Доклад Дебейки был весьма интересен, он касался склероза артерий и значения их хирургического лечения. Я не спец, но доктор наук Никитина слушала с большим вниманием и интересом. Как и остальной, впрочем, зал.

После доклада мы снова ринулись в погоню за доктором, понимая, что другого момента уже не будет. Как ни странно, Татьяна Георгиевна снова об-

ратилась к ребятам в малиновых пиджаках, а к кому еще?.. И вдруг — это опять был перерыв — прибежала за мной и потянула прямо за руку в зал.

В зале весь первый ряд был зарезервирован для самых высоких гостей. Но сейчас он стоял пустым. Я уселся на свободное место, а еще через пять минут со стороны сцены появилась группа сейфов-секьюрити эдаким каре, а внутри их группы как бы болтался мой любимый доктор. Татьяна руководила шествием.

Собственно, мне-то и нужно было задать всего один вопрос. Еще зимой я получил приглашение от доктора побывать у него в Хьюстоне на очередной проверке (он делал мне операцию в 78-м году, и с тех пор я раз в два-три года обязательно там бывал. Этой зимой что-то сразу не получилось, пришлось поездку отложить). Ну вот, железные ребята подвели его наконец прямо ко мне, он опустился в соседнее кресло и, конечно, даже не сразу узнал меня. Но тут же мы обнялись, расцеловались, похлопали друг друга по плечу, обрадовались. Я спросил о здоровье жены, дочки и задал наконец свой вопрос: когда могу к нему приехать?..

Он ответил: «Когда угодно».

Все и дела.

Ребята-шкафы, оставаясь непроницаемы, покивали все же сочувственно на тепло наших объятий, оценили. Что хоть и не положено, но, оказывается, можно.

Я, конечно, устал, оголодал, нанервничался, потом еще час ждал на улице своего друга с машиной. Но все это уже были пустяки: главное произошло, мы повидались. Потом еще целый день я видел Дебейки уже только на экране телевизора: с врачами, президентом, на пресс-конференции. И снова, задним числом, понимал, как нелегко было прорваться к нему.

Целый день глядел на нас со сцены с портрета Бураковский, обняв пухлыми большими ладонями пухлое крупное лицо, и я вспоминал то и дело его вечное мальчишество, широту и доброту, абсолютный демократизм и — при всей строгости и даже крутости нрава — необычайную отзывчивость и внимание к любому человеку, вступившему к нему в кабинет. Его ближайшие соратники, его ученики остались, слава Богу, верны этим его традициям.

Чуть-чуть о Греции-96

В небольшой курортной Катарине — маленькая станция, а при ней крошечный старомодный вокзальчик: две платформы, касса, буфет, побеленный наружный сортир, деревянные диваны. Сидим здесь уже в конце дня, ждем поезда, который идет из Салоник в Афины, делая здесь остановку. В Катарине мы прожили дней десять, в отельчике «Посейдон», я работал в номере над переводом греческой пьесы (с подстрочника), особо гулять или путешествовать было некогда. Возвращаться в Афины поездом была моя идея; сюда ехали машиной, часов восемь, это оказалось тяжеловато. Хотя мы останавливались, например, у Фермопил, видели памятник Леониду: два массивных надгробия с павшими воинами и бронзовую стоящую статую Леонида с вознесенным мечом — это уже как раз, кажется, на въезде в Македонию. Я вспоминал и твердил стихи Георгия Иванова, мало известные:

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны,
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы — Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики,—
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна,
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами,
Она садится у окна».
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених...
...И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

Это — в эмиграции, разумеется, в 20—30-е годы.

Я не виноват: Греция пролетала за окном, а я думал и думал о своем, о своей новой работе, куда мечтаю собрать их всех — тех, кто создал, кто собой устроил то, что мы называем теперь Серебряный век. Поэты, гении, скитальцы и беженцы, изгой — они умели постичь и выразить все.

Мы тешились маленькой Катариной, валялись (мало) на ее пляжах, бродили ее замечательными улочками. Ефремов, голый до пояса, сидел на своем балкончике на первом этаже, и можно было вдруг услышать с улицы русское: «Гля! Чего это Ефремов тут сидит?..»

Подходили, знакомились, разговаривали, просили вместе сфотографироваться.

Русских — полным-полно. И надо сказать, это одно из самых приятных впечатлений: не только толстопузые немцы, обгорелые англичане, американцы, сами греки, но и до русских, слава Богу, очередь дошла — болтаться по Европам, Испаниям, Италиям, греческим островам. Из Уфы, Кузнецка, Москвы, Новосибирска, Нижнего. Вместо Крыма и Кавказа. А «голубые комсомолочки» пускай «купаются в Крыму».

Как ни печально, но полным-полно и других русских, точнее, греков-репатриантов, тоже из самых разных мест, но больше всего беженцев с разоренного войной Кавказа, из Грузии в основном. Напротив наших балкончиков, через улицу, — меховой магазин. Шубы, шубы. Весь день там мелькает хорошенькая, черноголовая, тоненькая продавщица, на которую никак нельзя не обратить внимания. После всякой мимики и жестикуляции, призывов зайти к нам — всего дорогу перейти — пришлось пойти самому познакомиться. Ирочка оказалась из разоренного войной Сухуми, отец был там в комитете греческой общины, когда стало практически негде жить, работать, детям учиться, решили уехать. Живут здесь уже полгода, житье на чужбине, конечно, трудное, проблемы те же — и с жильем, и с работой, и с языком. Она, например, работает с восьми до двенадцати ночи, отойти нельзя, хозяин сердится. Да, это мы видели сами: целый день она таскает из развешанных сотен шуб одну за другой, снимет, дает примерять, примеряет на себя, торгуется, сует шубы опять на плечики и прочее. Интересуются в основном наши. В другом подобном магазине, ближе к пляжу, я видел, как наши русские женщины заходят прямо в купальниках выбирать, примерять. Македония и, в частности, Катарина славятся своими шубами, их пошивом, моделями, а меха идут из Европы, с севера. Цены — на хорошее, конечно,—

высокие, но наши довольствуются теми, что можно взять за двести — триста долларов. Хватает и «челноков», которые везут потом в Россию на перепродажу. Туристки наши, я понял, без шубейки не возвращаются. В этом магазине маленький грек-хозяин и наша белокурая статная Валентина — тоже уже шесть лет как из Сухуми. Рассказывала: все бросила, дом, хозяйство, с мужем-греком бежали, вещи выносила из дому сумочками — сама на станции работала, так и уехали. И они там — она говорит — не замиряется, так все и будет. Беда.

Ира жаловалась, что жизнь, конечно, пустая, однообразная, греки да и наши, которые влились сюда, тупые, грубые, ничего их не интересует, кроме бизнеса и материальных забот. А домой не сунешься даже на побывку: в Сухуми просто убивают, особенно мужчин.

Мы тоже живем не очень развлекательно: утром гостиничный стандартный завтрак, у меня потом работа, у Ефремова тоже или изредка (он простужен с самой зимы) пляж, потом ресторанный же необильный обед, и только на ужин мы стараемся отправиться в какую-нибудь таверну или ресторанчик — по свежую рыбу или сулаки (шашлык). С нами режиссер-стажер Ефремова Космас (он и придумал, и нашел для своей постановки греческую пьесу) и симпатичная гречанка-переводчица Харула, существо тихое и скромное. Такой расклад — не разгуляешься. Да и нет охоты. Однако есть пункты, которые привлекают, заставляют нас подняться в путь. Во-первых, совсем рядом с Катариной — античный Дион, старая столица Македонии, древнейший город, родина царя Филиппа, отца Александра Великого.

В Дионе каждую весну проходит большой международный театральный фестиваль — мы немного на него опоздали. Застали только в конторе фестиваля его главного режиссера, седовласого, крепкого, загорелого, похожего на Юрия Любимова. Весь штаб был увешан красивыми афишами проходивших здесь спектаклей. Дион славился храмами Диониса, Дианы, Асклепия — кое-что осталось в виде величественных руин, побитых временем статуй. Здесь же сохранилось два настоящих античных театра.

Когда мы отправились их посмотреть, я вспомнил один эпизод из прошлого. Как-то мы с Олегом Ефремовым вот так же путешествовали по Армении. Наши армянские друзья в какой-то день сказали: сегодня едем на развалины античного театра, у нас тоже есть такой. Мы долго ехали по жаре среди созревающих виноградников. Наконец прибыли к нужному месту: кучи наваленных желтых камней горой валялись вблизи дороги. Нас бережно высадили, бережно повели к этой горе. Зной, казалось, усилился. Я, сердечник, пыхтел и отдувался, у Олега болела нога, но мы, конечно, ползли изо всех сил вверх, с камня на камень. Не меньше минут десяти взял у нас тяжелый подъем. Наконец кто-то из наших гидов, ступив на более гладкую, ровную площадку, сказал: «Здесь, отсюда смотрите». Внизу навалом лежал такой же желтый битый камень, как повсюду, будто высыпали из сахарницы желтый рафинад. Разглядеть что-либо или понять было невозможно. Мы тем не менее терпеливо смотрели. Но не больше двух минут. Потому что через две минуты обзора этих руин артист и режиссер Олег Ефремов, как-то особо выпрямив свою и без того прямую фигуру, спокойно изрек: «Это не театр».

Друзья-армяне со свойственной им горячностью и жестикуляцией загомонили: «Как! Это известный античный театр! Все знают! Все туристы едут сюда!». И прочее, прочее. Ефремов еще раз бросил взгляд вниз на все заваленное камнями пространство и повторил: «Это не театр».

Как ни печально было нашим друзьям слышать это, как они ни галдели в протест, но оказалось, что водитель ошибся, рано остановился — возле каких-то других, тоже древних руин, но не там, где надо. Оказалось, в самом деле, не театр, зря мы лезли вверх по жаре: театр оказался в другом месте.

В Дионе, слава Богу, такого не произошло. Там мы воочию увидели, стоя

на бортике чаши, почти среди чистого поля древний амфитеатр, круглую сцену посредине, каменные ряды для зрителей, кое-где заполненные современными стульями, здесь еще недавно играли фестивальные спектакли. Говорили о том, что Дион должен стать культурным центром всей Греции, что нужны люди, энтузиасты, потому есть договоренность с Европейским Союзом — там даже готовы дать денег на обустройство, но местные власти не чешутся, не загораются этой идеей. А жаль, в самом деле: место именно такое, для большого культурного центра.

Потом нам показали останки древних колонн, древних скульптур. Но главные сокровища оказались в местном маленьком музее, совсем небольшом, в два этажа, но с очень чистыми, аккуратными залами, заполненными хорошо сохранившимися античными скульптурами, древней утварью, оружием, монетами. Вместо каталога музей преподносит вам видеокассету с изображением всех своих экспонатов, очень хорошую, между прочим, — правда, посмотрел я ее подробно уже в Москве.

Дион раскинулся под самым Олимпом, и великая гора почти весь день была перед нами: гигантская, с вершиной, окутанной белыми облаками. Тут же было решено с нашими гостеприимными друзьями, что мы должны побывать там. Конечно, в Македонии оказаться и на Олимпе не побывать! Грешно.

Произошли — уже без нас — нужные переговоры, и, кажется, еще через день подкатил к нашему «Посейдону» беленький автобус, нас взяли под свою опеку местные лесники и егеря-охотники, и мы отправились в дальний путь — только сначала не на Олимп, а на противостоящую ему вершину. 1600 метров вершина, Сорокоцина. Ехали бесконечным богатейшим лесом: гигантские сосны, дубы, липы. Водятся олени, кабаны, волки, зайцы. Местами автобусик зависал колесами над черными лесными пропастями. То попался пастух с отарой штук в тридцать пыльных овец, то пастушечья овчарка небрежно валялась в пыли на дороге: мол, где хочу, там и лежу.

Я курил у окошка, потом, как мог, придавил окурочек, бросил прочь за стекло. Тут же кто-то из едущих с нами женщин сказал торопливо: «Вы что, вы что, разве можно? Вы загасили?..» — «Загасил, загасил». — «Ну, смотрите, а то у нас такие бывают пожары, сотни гектаров выгорают сразу. И не остановишь».

На Сорокоцине находилась туристическая и охотничья база — целая усадьба с центральным и несколькими малыми домиками. Это уже на самой вершине горы. Угощают весьма обильным и вкусным обедом. Зажгли камин. У нас уже большая компания, я щелкаю аппаратом, где-то записываю: на снимке будут: Петрас, Космас, Харула, Олег, Янис, Катарина, Ольга.

Отсюда, с этой вершины, Олимп еще величавее, но облака по-прежнему закрывают его.

Однако на другой день той же компанией в том же автобусике мы взбираемся по витиеватым дорогам уже к Олимпу. Примерно на высоте в тысячу метров делаем остановку у древнего храма Диониса. Он в развалинах, но идет реставрация. Живет там один монах с молодым помощником-послушником, следят за рабочими-строителями. Сохранились плотные стены из серого камня, внутри устроена молельня — иконы, свечи горят, я еще сделал фотографию: рядом с иконой висит туристская красная бейсболка с большим козырьком. Монах живет здесь с самой Пасхи, дата постройки монастыря — 1540 год. Когда-то все здесь кипело народом, теперь встретились нам наши русские ребята на велосипедах и группа немцев из Штутгарта, которые прошли семь километров пешком.

Олимп опять в тучах, в грозе, видно, как полощутся там дождевые потоки, опять нам не везет.

Возвращаемся в Катарину. Пользуясь автобусом, едем на местное кладбище, очень богатое, в мраморе, с множеством надгробий. Там же — красивый собор святой Екатерины. Древние ваяли из мрамора живых, сегодня — мрамор.

морные кресты и бюсты мертвых. Космас с грустью рассказывает, почему он предпочитает сейчас жить и работать в Германии: здесь народ глупый, тупой, крестьянский, никому ничего не надо. Поэтому и с созданием культурного центра так тянут резину.

Заканчиваем свой день внизу, в таверне Милос. Ефремов провозглашает пространные трогательные тосты за Грецию, за греков. Ему нравится Греция, он много раз бывал здесь. Не понимал, говорит, раньше, почему Соня в «Дяде Ване» говорит, что на юге люди добрее и человечнее, пока не пожил в Греции. Иногда мне кажется, говорит, я здесь родился, так мне нравится. (Так когда-то Гоголь сказал об Италии.) Я сочиняю тост про греческих богов: живых, понятных и домашних — они не людей создали по своему образу и подобию, а люди сами создавали их по своим меркам и характерам.

Пьем узо — греческую водку, ципоро — вроде чачи, греческий виноградный самогон, и знаменитую светлую рэцину, отменное сухое вино. На столе — в основном рыба. А в пьесе Яковоса Кабанелиса, которую я перевожу, один герой все время зовет отведать в каком-то ресторане морских ежей. Ефремову запало, и он постоянно просит, чтоб ему тоже дали отведать морского ежа. Не удалось. Хотя хозяин одной таверны Ахиллес, высокий и мощный, каждый день обещал: будет, будет, найдем ежей.

Теперь мы сидим на вокзальчике в ожидании поезда, перебираем наши впечатления, то и дело возвращаемся к Диону — как в самом деле обустроить его в центр. Справа от нас — снова Олимп, над самым морем, и снова задекорирован тучами и мглой, даже молнии там посверкивают, на самом верху. Все же особое чувство — находиться в такой близости от сей великой горы, обители богов. Волнуешься. Возвращаешься опять к главным своим мыслям, к прошлому, которое я все перебираю и повторяю за других. Всю память напрягаю, чтобы вспомнить, например, Мандельштама:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волны, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,

И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожный скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз...

Это — 1918 год.

Приходит наш быстрый малиново-красный поезд с обтекаемым, как у элетрички, носом. В вагонах мягкие, по типу самолетных, сиденья с высокими спинками. Занимаю скорее место у окна, чтобы по привычке глазеть. Стараясь отвлечь себя от стихов и поэтов, чтобы не мешали видеть Македонию. Но справа опять оказывается Олимп, клубящийся и, кажется, еще более мощный в новом ракурсе. Тучи теперь перевалили через него и тянутся книзу, к морю. Быстро побежала за окном сухая, ржавая, никак ее плодородной не назовешь, земля. Тем не менее всюду поля, виноградники, крутятся, извергая белые изогнутые струи, многочисленные поливалки. Много аккуратных частных домиков — они сливаются в мелкие поселки, деревеньки. Олимп продолжает господствовать, привлекает к себе глаз. А мысли все кружатся вокруг одного и того же, возвращаются, убегают вперед и назад. Думаю о новой, предстоящей встрече с автором пьесы Яковосом Кабанелисом — он известный драматург, его ставят и в Европе, и в Штатах. Одна встреча у нас уже была, мы сидели в Афинах, на Плаке, в каком-то синем красивом кафе, над головами в голубых небесах красиво торчал Парфенон. Кабанелис — человек суховатый, пожилой, мудрый («У меня 74 года, мировая война и плюс два года в лагере»), он почти

сразу понял и принял мои замечания и предложения по пьесе, кое-что еще посоветовал. Думал я и о делах московских, о своем Переделкине, где остались меня ждать моя комната и любимая скамейка, скучал обо всех своих уже, как всегда бывает за границей.

И еще: перед отъездом мы успели побывать на своем знакомом пляже: он раскинулся прямо у подножия самого большого отеля; мы обычно занимали места на открытой террасе ресторана, внизу, чтобы быть в тени, да и точка обзора — самая выгодная. Из всех долгих наблюдений у меня родилась идея: вот, пожалуйста, самая современная пьеса — «ПЛЯЖ», прямо-таки находка для сегодняшних хватов-режиссеров: все полуголые, обнажение, физическое и психологическое, полное, сюжет слепить ничего не стоит, возраст любой — от девочек и мальчиков до стариков, интернационализм полный; все отношения легко завязываются и разрешаются хотя бы возле торчащего из земли крана, где омывают ноги и головы, плещутся. Можно ввести в персонажи утопленника или утопленницу, наяду, диверсанта с аквалангом, — какие еще есть у нас сегодня штампы? — пожалуйста. Я думал, а Олимп все перемещался за окном, все кипел, отвлекал меня. Продолжал бежать за окном невеселый, небогатый, хотя столь славный и знаменитый край, — мы мало видели, к сожалению, — что ж еще увидишь за гигантом Олимпом!..

Но думал всерьез я больше, например, о Бунине, на книгу о котором заключен договор с одним хорошим издательством. Думал о его страсти к путешествиям, бродяжничеству, приключениям, новым людям и неизвестным местам, городам, дикой природе, стихиям, грозе, буре, метели, желании испытать все и себя, быть охотником и дичью, игроком, авантюристом, играя порою и свою жизнь. Покорять пространства, стихию, противников, женщин, целое общество, быть жадным, отважным, устремленным. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. / Как горько было сердцу молодому, / Когда я уходил с отцовского двора, / Сказать прости родному дому! / У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. / Как бьется сердце, горестно и громко, / Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом / С своей уж ветхою котомкой!» (22-й год.)

Понимаю его, чувствую, как себя. В пути, у окошка, хорошо сочиняется, проверяется надуманное; остаешься один на один с собой: горы, поля, леса, небеса, станции, деревни, облака, люди, собаки, закаты, — все мимо, мимо, но присутствует, существует рядом, будто музыка. Будто Олимп.

Мы спешили в Афины — успеть на «Короля Лира» нашего друга Костаса Постакиса, очень известного в Греции и любимого публикой актера и режиссера.

Вечер. Театр Иродион. Это тот единственный, по-настоящему уцелевший древний театр, который продолжает собирать публику и по сей день. Театр находится буквально под Парфеноном, на Акрополе. Надо видеть это огромное стечение публики к началу спектакля: на шикарных машинах, все разодеты, мужчины в бабочках; много интересных, а то и просто отлично красивых женщин. Заполняется весь амфитеатр, на старинные каменные скамьи положены беленькие плоские подушечки. Переговоры, переключки, все друг друга в большинстве знают — театральные Афины. Я увлекся, не спускаю глаз с каких-то двух сестер, явно, потому что очень похожи, одна особенно мила. Кто-то подходил познакомиться, поздороваться — Ефремова хорошо здесь знают. Спектакль двинулся и пошел огромный, как линкор, в огнях, прожекторах, со множеством народу на сцене. Костас работал во всю силу. Он отпустил не так давно белую седую кудрявую бороду, костюмы у всех (у него тем паче) богатые. Шекспир на греческом со своими страстями звучит вполне, как Эсхил. Публика слушает и принимает спектакль восторженно. Прекрасны, разумеется, и атмосфера, и весь антураж спектакля: этот древний театр, Акрополь, ночное небо, открытое над нами, со звездами, с пролетающими самолетами. Праздник. Все потом счастливы, возбуждены, публика набилась к Костасу и другим актерам за кулисы с поздравлениями, цветами, объятиями.

И еще одним праздником встречали нас Афины: греческие ребята-спортсмены победили на Олимпиаде. Знаменитый прыжок в высоту Микки Манолони повторяли по телевидению раз двадцать за день. Она — из Ламии, которую мы проезжали ночью на машине, когда ехали в Катарину. Замечательная девушка. Особенная. И прыжок свой совершала бесподобно: готовилась, собиралась, бежала, взлетала — богиня!.. А как молодой парень поднял свои 180 кг — тоже мировой рекорд! — мы видели вечером в таверне у Ахиллеса, того самого, который обещал морских ежей. Надо было видеть, как вся таверна дружно вскочила, орала и хлопала!..

Весь день без конца показывали, как город встречал свою героическую восьмерку чемпионов: все высыпали на улицы, на стадионе сто тысяч, в том числе все правительство, президент, мэр, митрополит с иконами, оркестры, фанфары, почетный эскорт на белых мотоциклах, флаги, фейерверки, вручение медалей почетных граждан города. И среди всех и всего — снова прелестная Микки, повтор ее прыжка. Замечательный праздник — вздыбило всю нацию!

Теперь мы живем под Афинами, на даче Костаса, большой и слегка запущенной после смерти его жены. Жара все время держится под сорок. Лет десять назад дача считалась бы сверхшиком, но теперь не то, тем более что рядом, вдоль берега, понастроено немало супервилл. У нас даже кондишена нет. Я работаю в нижнем этаже, почти в подвале, где прохладнее. Мой послеинсультный мозг и сердце плоховато держат напряжение и усталость. Но ничего, работаю, без работы вовсе остановишься. Как говорит Ефремов, которому тоже стала изменять его семижилность: что делать, в крайнем случае помер.

Что еще у нас было? Еще смотрели, как все, как весь мир, блистательный баскетбол американцев с югославами. Взяли кассету и видели фильм «Белые ночи» с Барышниковым. Глупый фильм, выдуманный, при всех реалиях. Опять на потребу. Вчерашний день.

Были в гостях у Марии, нашего художника, которая должна оформлять спектакль. Живет в центре, в новеньком доме, новой квартире, довольно просторной (400 тысяч драхм кв. метр — две тысячи долларов). Стены увешаны ее оригинальными полотнами: она пишет красным и черным демонов и ангелов, мужчин и женщин, иногда свивая тех и других в черно-красные сплетения. Красиво и страшновато. С ее балкона, где пили чай, смотрели шикарный, оперный закат над Афинами. Я захотел есть, Мария позвонила вниз, в ресторан, молодой человек принес отбивную. Проявили фотографии — Олимп опять явился нам со снимков, суровый, мощный, в ореоле своих снежных гроз.

Жарко. Греция — это жара и цикады.

Вечером я поперся под душ, дышать весь день невозможно — вода оказалась холодной, чего мне нельзя, и, видимо, все вместе: вода, усталость, возбуждение — дало мне под утро приступ. Харула прибежала, растерянная, ничего не умеет — ампулу разбить, шприц набрать, — разбудила Олега. Он скрепился, управился со шприцем, слегка матюгнулся, все же сумел сделать укол. Я через силу давал указания. Ничего, обошлось. (Потом наш вездесущий «Московский комсомолец» зачем-то дал об этом информацию.)

У Марии мы опять рассматривали фотографии Олимпа, вспоминали Катарину и Дион. Я рассказал о Серебряном веке.

Скорей, скорей сдать эту чужую пьесу и приниматься за свою, за поэтов, которые так неотвязно движутся со мной, проникают повсюду, перекрыли мне Грецию.

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостней — все потерять.
 Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
 И никогда ты к небу не был ближе,
 Чем здесь, устав скучать,
 Устав дышать,
 Без сил, без денег,
 Без любви,
 В Париже...

Это — Георгий Адамович.

Зачем-то была Греция, эта поездка, неожиданная мешающая работа, наши встречи, долгие разговоры о театре, о предстоящем 100-летию МХАТа, — все эти сияющие небеса, необыкновенное море, первый спелый инжир, сорванный в корявом садике дачи, мои нервы, мои бессонницы, Москва вдали (словно из изгнания). Во что-то все выльется — «свободен путь под Фермопилами...».

Стихи о Черноморском флоте и Севастополе

Сколько можно вытерпеть и какие дозы информационного облучения? Прежде шутили: оптимист тот, у кого мало информации. Может быть, сегодня наше плохое (во множестве) настроение из-за ее обилия? Сколько же можно выдержать той же Чечни на квадратный сантиметр экрана и на каждую клетку мозга? Почему сегодня столько претензий к СМИ, начиная с парламентариев и членов правительства, кончая работягами и пенсионерами?.. Накопление, насыщение информационного раствора в конце концов должно катализироваться, взрываться. Я перенасытился крымской, севастопольской темой: в какой-то момент невозможно стало больше слышать и видеть совершаемую все-светную глупость насчет раздела флота, аренды Севастополя и прочее. Тем более для меня это тема еще просто личная: я вырос в Севастополе, бывал там, ставши взрослым, каждый год, пуповина моя с Севастополем не разрезалась никогда. К тому же там много лет оставалась жить с мужем моя родная сестра, полно друзей и знакомых.

А севастопольская, детская память о морях, море, флоте, кораблях! Всего-то было пять-шесть лет, а помню названия крейсеров: «Красный Крым», «Красный Кавказ», «Червона Украина», линкор «Петропавловск» (потом «Севастополь»), имена эсминцев, тральщиков, подводок. Кто был командующий? Адмирал Октябрьский. Кто командовал эскадрой? Адмирал Басистый. Уж не говорю об истории: Нахимов, Корнилов, матрос Кошка, Малахов курган, памятник Тотлебену на Историческом бульваре, 4-й бастион. «Очаков», лейтенант Шмидт. У нас ведь не осталось тогда церкви, Бога, Святой Руси. А что было свято? Где-то далеко — Москва, вожди, а здесь самое святое — море, флот, эскадра. А праздники, эти военные парады по большим праздникам и в День флота!.. Ах, праздники!.. Мама, отец, молодые, возбужденные, озорные, мама в натянутой белой юбке, белом берете, отец в полувоенном, сапоги сверкают, у меня на шее тоже белый бант, на голове — детская бескозырка с надписью «малыш» или «шалун». Мы где-то на трибуне Водного стадиона или просто на улице, в толпе — весь город высыпал, толпа нарядная, веселая, шутки, смех, почти все друг друга знают в маленьком городе. Мороженое, конфеты, цветы; оркестры гремят. Все возбуждены, все ждут. Вот фанфары запели — начало! Пошли колоннами моряки. Каждая тетка, каждый житель, тем более каждый мальчишка — все знают: линкор идет... крейсера...

Матросы идут особым стилем: руки по швам, кулаки прижаты к бедрам, нога выбрасывается вперед прямо, плечи сомкнуты, надо лбами на бескозырках — золотые названия, и по толпе проносится: «Красный Крым» идет! (Это крейсер.) «Красный Кавказ»!.. «Москва»!.. (Так шли, мы видели в «Чапаеве», только черные каппелевские офицеры в свою психическую атаку на чапаевские окопы.) Здесь, у нас, командиры впереди: белые фуражки, надраенные зо-

лотые пуговицы на кителях, еще ни погон, ни орденов, ни позументов. И никакого оружия, даже кортики, не помню, были ли? Скромная демократия Красной Армии. Только флаги развеваются белые, с синей полосой, со звездой красной и серпом и молотом. Потом уже жажнет залп салюта со всех кораблей. Поразительно красивы эти сомкнутые шеренги матросов. Выстиранные накануне и отглаженные воротники («гюйсы») треплет ветерок за плечами, вьются ленточки бескозырок, от сине-белых «гюйсов» все колонны слиты в голубой яркий цвет. С трибуны, где столпилось все флотское начальство, гремит через рупоры «урра-а!», и колонны тысячами глоток отзываются, прорывая оружейные залпы и музыку: урра-а!.. Какой неописуемый восторг распирает, какая гордость — флот идет!.. Подводники шли в синих беретах или своих вязаных шапочках, народ узнавал командиров, называл даже номера подлодок. Ур-ра-а!..

Каждый знал, как отбивали зенитки эскадры первый ночной налет 22 июня; потом каждый узнал, как погиб в первые дни войны лидер «Москва», самый тогда новый, современный корабль флота: они пошли к берегам Румынии, уже союзницы Гитлера, разнесли своими пушками нефтяной порт Констанцу, но попали или под огонь береговых батарей, или на мину. Корабль стал тонуть, никто не бросился спасаться: вся команда выстроилась на верхней палубе, до одного, и когда погрузились, то на воду всплыли и заколыхались на ней тысячи белых бескозырок. Как было не гордиться, не умирать от восторга от такого флота!

Но вернусь к началу. Так «достала» история с Севастополем и флотом, что однажды утром что-то лопнуло: еще в постели, схватив бумагу и первый попавшийся карандаш (детский, красный), я записал вот такие стихи — при том, что не сочинил ни одной стихотворной строчки за много лет, не считая случайных каламбуров.

Раздев Черноморского флота*

Гр. Поженяну

*Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем...*

М. Лермонтов. Воздушный корабль.

Раздел Черноморского флота.

Ну, как это можно, скажи?

Какие-то три идиота,

С глазами, косыми от лжи,

Сидят и решают там что-то.

А мы — ничего не скажи.

Отдать Севастополь в аренду.

Ну, как это можно, ответь?

Решают правители, сбрендив,

А мы — даже думать не сметь?

Не делится надвое крейсер.

И лодка не делится — ша!..

Эскадры не будет на рейде?

А кто же там будет? Паша?

Кричите, вопите, строчите.

Под жопу им всем динамит.

* «Раздев» — не опечатка, это имя существительное.

На мачте однажды взметните:
«Командую флотом. Шмидт».

Хохлы, дураки, обнаглели,
Сдурели совсем москали.
Да что ж вы, на самом-то деле?
Вам мало воды и земли?

Петра на вас нету. И Павла.
Нахимова нету — увы.
Не делятся совесть и слава.
Не делят Руси и Москвы.

Не делится Графская пристань.
Не сроешь Малахов курган.
Да я не пустил бы на выстрел,
Кто сам приравнялся к врагам.

Он выдержал три обороны.
Не мало вам траурных урн?
Чего вы молчите, вороны?
А может, взять Киев на штурм?

Поделим Подол и Крещатик.
И Лавру, и Мавру, и крест.
Да как это так — не пущать их?
Да Русь начиналась-то здесь?!

Раздел Черноморского флота.
Да как это можно, сынки?
Быть может, вы просто пехота?
Где гвардия? Где моряки?

Кажется, выплеснулось, ну и ладно, довольно. Я даже не позвонил, не прочитал стихов Григорию Поженяну, моему старому другу. Хотя вся севастиопольская тема существовала во мне постоянно с мыслью о Поженяне, моряке, ветеране, герое войны, я каждый день думал: надо простую вещь сделать — сагитировать Гришу, Тимура Гайдара, еще двух-трех людей, связанных так или иначе с ЧФ и Севастополем, позвать их: пойдём, сядём, мужики, на ступеньках Графской пристани, объявим голодовку, выбросим вымпел подходящий — не замай! — и хоть таким образом попробуем повлиять на президентов, не держащих слова, на глухо молчащий флот и уныло покорную судьбе общественность.

Я не позвонил Поженяну: он, профессиональный и хороший поэт, всегда иронически относился к моим виршам, которые писались при необходимости для какой-либо пьесы, не более.

Тема и злость продолжали, однако, меня мучить, и я решил, что надо мне эти стихи напечатать, — зачем же писал? Чуть одумавшись, я понял весь их перхлест, запал, даже в некоем роде пощечину флоту (они-то что могут сделать в конце концов? — стали колоть оправдательные, трусливые мыслишки). А зачем же писал? Ведь именно — на вызов, на то, чтоб устыдить и крикнуть: что ж вы?! (См. стихи.)

Я позвонил другому старинному другу, редактору большой газеты, рассказал ему сей случившийся со мной эпизод, спросил: не возьмет ли он стихи в свою газету? Редактор слегка поругал меня за то, что я не могу уже год или два дать ему обещанный рассказ, а занимаюсь вон чем! Однако даже машину прислал забрать стихи. Но на этом любезности закончились. Получив стихи и прочитав, редактор сказал: «Ну как вот ты, сам старый журналист, представляешь

напечатанными у меня хотя бы первые свои строки?» «Насчет «с косыми от лжи»?» — сказал я. «Вот именно». «Но стихи же, старик! Пусть знают!» «Стихи-то стихи, — сказал редактор, — но идиотами ругаться тоже как-то, знаешь...» «Не так еще надо ругаться!» — упирался я, но понял, что добра не будет. Позвонил еще в одну газету — прочел стихи по телефону заведомо литературы. «О! — сказал тот. — Это по нашему отделу не пойдет, это политика. Позвоника вот этому...» Он назвал, кому «этому», сказал, что хотел бы «прочитать стихи глазами» — есть такое выражение: никто не скажет, кому послушать ушами, но посмотреть глазами — термин обиходный и понятный. Я сам предпочитаю глазами воспринимать читаемое, а не на слух.

Договорились, что редакционная стенографистка позвонит мне и запишет, поскольку сам я поехать в редакцию не мог, а у редакции не было в тот момент ни машины, ни курьера. Позвонила стенографистка, я продиктовал ей стихи, спросил: ну, как? Добрая женщина сказала то ли «здорово!», то ли «правильно!». Редактор отдела, однако, мне больше не позвонил — это уже был ответ. Далее. Еще попытка. Следующий редактор сказал: «О Черноморском флоте? Давай. Мы напечатаем». Но на этом все закончилось.

Следующая редакция стала объяснять мне, что надо подождать, — сейчас неудобно, президент ложится на операцию, не хочется мотать ему нервы такими вещами, тем более там как раз идут последние переговоры насчет флота и вот-вот что-то решится. Я сказал: «Вот и надо бы сейчас, а то потом поздно будет руками-то махать!» Нет, мне ответили, не стоит, лучше подождать.

Ах, наша гласность, наша гласность! Вздыхал я сам с собою.

Как мне хотелось, чтобы они донеслись, добежали, дошли до Севастополя, до моряков. Я позвонил по двум-трем севастопольским телефонам, никто, к сожалению, не отозвался. И тогда я вспомнил далекое-далекое лето 50-го года, пляж на водной станции «Динамо», компанию молодых людей — школьников, моряков, журналистов — участников литературного кружка при газете «Слава Севастополя». Шла война в Корее, какой-то американский сенатор призвал применить наконец в Корее напалм или атомную бомбу. Я в одну ночь (в ту пору я писал стихи и во множестве) написал яростную отповедь нехорошему сенатору и вот здесь, на пляже, читал свои вирши ребятам.

— В газету надо, в газету! — одобрили меня слушатели.

И я отнес яростные свои стихи в газету, и их напечатали.

Вспомнил я этот давний случай и вспомнил «Славу Севастополя», в которую я в последующие времена сдавал какие-то очерки и корреспонденции — особенно когда бывал на флоте.

Пошлю, думаю, в «Славу». Они тоже не напечатают, но пусть хоть знают, что такие стихи есть.

Камешки

(Отрывок)

Дети всегда бежали в Америку. Стоило родителю или матери отлупить парня, как, нарыдаввшись, в воображении своем (а то и на деле) он уже покидал родной дом и бежал... куда? Конечно, в Америку. Два века обездоленные и угнетенные бежали из Европы за океан, как и бродяги и разбойники, вольные люди, и это было на слуху у мира, у взрослых и детей. Факел свободы мерцал издалека и звал: сюда!..

Кукины жили в своем домике на Карантинном спуске — дядя Валя, тетя Маруся, бабка и четверо детей, три девочки и Юрка. Дядя Валя, двухметрового роста, сутулый, длиннорукий, работал на морзаводе клепальщиком и оттого был глуховат. Тетя Маруся ростом как нарочно чуть не вдвое ниже мужа, худая и смуглая, под цыганку, с точеным мелким личиком, но такая мастерица орать, скандалить и драться, что только ее и слышно весь день на всю улицу. Кукинская бабка, мать дяди Вали, ему под стать: тоже высокая, длинная старуха, с ру-

чищами и ножищами, вечно платок на голове, но не завязан, а висит концами, а с ними и носище висит, и щеки, и губа отвисла. Девчонки весь день прыгали, бегали, играли, купались в бухте, где полно мазута от кораблей, и известны были среди детей на Карантине тем, что если попросишь: «Галка, покажи!» или «Шурка, покажи!» — то Галка или Шурка, сроду не носившие трусов, без всякого задирали подолы и показывали, что просят.

Домик был богатый, аккуратный, со старой мебелью, доставшийся Кукиным в двадцатые годы после революции (от офицера какого-нибудь), с садиком и виноградником, но Кукины, как могли, его разорили, загадили, дети почему-то спали на полу, весь день дымила летняя кухня во дворе, двери и окна не закрывались, крашенные полы облезли и зияли щелями, куры ходили по комнатам, и две кошки наперегонки рожали котят, которые тоже копошились и играли повсюду. Бедность и какая-то бессмыслица существования отличали кукинское семейство. В то время как пионеры с красными галстуками маршировали по улицам под барабаны и горны, на площади Ленина проходили военные и физкультурные парады, бодро играло радио, тетя Маруся материла и колотила своих детей, бабка вечно мешала у плиты какое-нибудь варево, а сам Кукин сидел в саду, опустив между колен руки, и мухи бегали по нему, как по нежилому.

Юрка не любил свой дом, приходил только ночевать да поесть, жил на улице. Да не просто на Карантине, а теперь, когда ему уже стало лет двенадцать, мотался по всему городу, цеплялся на трамвай, уезжал в центр, на главный рынок, в кино или на бульвар.

Мальчику было всего семь, и он обожал Юрку, своего старшего друга. Юрка Кукин! Смуглый, худой, смелый, руки и ноги в царапинах, ничего никогда не боится и никого никогда не слушается. Бьют — убежит, схватят — кусается, не дают — вырвет, плохо лежит — украдет. Нырять умеет до дна, рыбу ест сырую, окурочек найдет и курит, мать зовет «Мура». Одно слово: Юрка Кукин!

В их жарком приморском городе дождь — большая редкость. Но если уж хлынет, так хлынет. И когда хлынет, то вся пацанва, конечно, — на улицу. Вопят, все с себя сдирают, пляшут голые под струями. Самая малышня и взрослые глядят и кричат за стеклами, а тут — ого-го-го! ой-й-ой! Так льет, что гудят густые акации, карнизы не держат воды, и она валит прямо с крыш, по крутой улице, по Карантинному спуску, несется бурный поток, тащит ветки и камни, и один Юрка осмеливается лечь прямо в пену и колотить руками и ногами, вопить дикарем. Из трубы, из косога ее колена, поток бьет прямо в ямку, которая выбита водой годами. В ямке под напором воды крутятся камушки, которые обычно лежат на дне ее. Когда сухие, они скучные, белые, серые, красные кирпичные окатыши и прочая крошка. А теперь, в чистой воде ливня, они самые яркие, вода выгребает их и пускает обратно, и они крутятся, играют, разноцветные стекляшки, должно быть, от битых бутылок, осколки от чашек и блюдец. «Юрка, смотри, смотри!» — Мокрый мальчик в одних трусах и Юрка в одних трусах склонили головы у водостока, в две жмени таскают играющие стекляшки и камни. Пока Юрка не говорит: «Постой-ка!» Вот дождик кончился, солнце тут же вышло, все сверкает и каплет, поток еще струится по улице вниз, но слабо, все чисто, и распрямляются лапы акаций. Камни сохнут в ладошках, но... какие интересные камни! Сохнут, а все равно сверкает, и все стекляшки, белые, красные, зеленые, черные, имеют всяк свою форму. А один камешек — вот он, у Юрки в пальцах, — в поблескивающей чистым рыхим металлом кругленькой оправе. «А ну-ка!» — говорит Юрка и начинает выгребать. Три тонконогих сестры и еще мальчишки с Карантина стоят и заглядывают. А Юрка выгребает. А мальчик из мусора и песка выбирает уже отличающиеся им теперь от кирпичных и блюдечных осколков стекляшки. Их много набирается, целый холмик, который еле двумя руками прикроешь. «А ну, отзынь на два лаптя!» — командует Юрка низко склонившейся малышне, а сам гробет уже землю, мок-

рый песок и ракушку. И вылезает, вызвякивает еще какая-то коробочка с отгнувшейся крышечкой и белый платочек, завязанный узелком, но пустой и мокрый. И коробочка пуста, но даже детям ясно, что это ливень, бой воды достал и смял коробочку и растерзал платочек и что интересные эти стекляшки находились именно здесь.

И вот уже тетя Маруся выходит на порог, и вот уже бабка в платке оставливается по пути к летней кухне со сковородой в руке и смотрит, и три девочки прыгают вокруг матери и ябедничают... И вот уже вечер, закрыты, насколько можно, окна и двери, горит почему-то не электричество, а керосиновая лампа на столе, сидят взрослые, дядя Валя, тетя Маруся, бабка и соседи, мать и отец мальчика. И, конечно, Юрка и мальчик тоже. А на пустом столе, на чистой скатерти или салфетке, лежат теперь уже не горкой, а вразброс стекляшки и камешки и чуть в сторонке коробочка и платок. Взрослые по очереди берут стекляшки в руки, разглядывают, охают, шепчут, и разносятся слова: бриллиант, рубин, изумруд, жемчуг. И еще: клад, драгоценности, клад, клад, драгоценности. Но еще разносятся слова: отнести, сдать, в милицию. Мужчины говорят, что надо сдать в милицию, а женщинам не хочется. И бабка прямо говорит: «Были адиётами, адиётами и остались! Яшке несите, яврею!» Юрка кричит: «Это мое, не дам! Мы в них играть будем!» И хочет сграбастать стекляшки, но отец бьет его по затылку. Юрка все равно прямо прыгает грудью на стол, тянет скатерть к себе, камешки подпрыгивают, и тоже того и гляди раскатятся. Но отец скручивает Юрку, а тетя Маруся ладошкой собирает камни со стола, словно крошки сметает. Юрка орет, мальчик плачет, бабка ругается, мать мальчика тоже дает ему шлепка — словом, где драгоценности и золото, там начинаются страсти, и тень графа Монте-Кристо прыгает на стене, когда уносят из комнаты лампу.

Юрку запирают в чулане, где он колотится о дощатую дверь, мальчика волюкут силой домой, и встречаются они лишь на другое утро. Камни все-таки отнесли в милицию, и на обратном пути тетя Маруся плакала и обзывала всячески мужа. Мальчик с Юркой сидели на берегу, над зеленой бухтой, где пыхтели буксиры, а в громадных доках стояли сухие коробки кораблей с ржавыми днищами. И вот тут Юрка сказал: «Бежим в Америку!» Кричали чайки, гудел буксир, ходил над бухтой медленный ветер, и мальчик словно бы не расслышал, переспросил, замирая сердчишком. И Юрка повторил: «В Америку надо бежать, ну их к черту!» И показал на ладони большую, с горошину, стекляшку, вроде круглую, но только изрезанную гранями и оттого сверкнувшую в глаза разноцветно, точно линза. «Проживем!» И мальчика охватил восторг восхищения: до чего ж ловок этот Юрка, до чего молодец! Спрятал все-таки хоть одну штучку. Что ж он, мальчик-то, не догадался?..

И они стали мечтать и собираться. Нужен мешок сухарей и консервов. Нужен иностранный корабль. Ялик, чтобы добраться до него ночью. Или надо проследить, что грузят, и лучше спрятаться ночью в ящике или в бочке. Юрка занимался технической стороной, а мальчик отыскал атлас и изучал маршрут. Господи, где Америка и где мы! Слово «Америка» все разрасталось, становилось все привычнее, неизвестно, как и откуда, но они узнавали про Америку все больше и больше, и они, разумеется, мчались в прериях на горячих конях, и по широкому авеню на самых быстрых «фордах» и в шикарном «дугласе» парили над Миссисипи. Мальчик писал прощальное письмо матери и отцу, цветными карандашами, и воображал, как через много лет он, взрослый и стройный, в шляпе и галстукe постучит в родной дом, а мать и отец, уже старенькие и седые, сначала не узнают его, а потом бросятся ему на грудь с рыданиями и попросят прощения. Это письмо мальчик прятал за шкафом, чтобы в последнюю ночь, когда он тихо закроет за собой дверь, оставить его на столе. Но, как нарочно, мать вдруг затеяла в какой-то день уборку (а уж полмешка сухарей было собрано) и вымела из-за шкафа письмо. И побежала к тете Марусе. И еще накрича-

ла на Марусю, что ваш, мол, хулиган нашего маленького с пути сбивает. А Маруся, конечно, за словом в карман не полезла, матери поругались, и уж было вечером «американцам», как только они явились домой из очередного сидения в порту, где уже привычно выбирали себе получше корабль для далекого и прекрасного путешествия. «Понаписал! — с презрением сказал потом мальчику Юрка.— Писать ему, видишь, надо! Писатель!..»

Тем и закончилось бегство в Америку. А в драгоценную стекляшку, мальчик видел, играли девчонки, Галка держала ее во рту зубами, ощерясь, стекляшка мокро сияла, а младшие прыгали вокруг сестры и клячили: «Мне дай, мне!» А Галка сглатывала стекляшку, как-то прятала, за щеку или под язык, разевала пустой рот, разводила пустые руки. Может, в конце концов так и проглотила, с них станется.

Митина свадьба

14 октября — Покров. Какой замечательный, счастливый день! Митина свадьба и венчание.

С утра отпросился я у врачей: понял, что не смогу туда не поехать — пусть из больницы, пусть без костюма, в чем есть, но как же это так, если я не приеду к сыну на свадьбу, — это буду не я. Договорился с Инессой насчет машины, больше не нашел никого.

День был серенький, холодный, осень уже ржавая, но с голубым все же небом. Мы приехали на Софийскую набережную, в храм Софии, старенький, в Кадашах, когда еще шло, заканчивалось другое, первое венчание — Владимира Васильевича Каданникова, так совпало. Во дворике церкви столпились «мерседесы», охрана — она просветила нас глазами насквозь. Бегали женщины, уже наши: поповны молодые, Люба Стриженова, вдруг появилась Галя Васильева, бывшая молодая красавица, да и теперь еще ничего, — не на той сестре я женился, говорил я когда-то, она напомнила (и вспомнились Дубулты, Малеевка, где я катал ее на машине), Митя пришел, Антон Васильев — с ним была потом в храме целая группа его друзей-операторов с камерами, все снимали.

Вышли Каданниковы, мы давно знакомы, я поздоровался с ними, поздравил и побрел потихоньку сам на длинную железную лестницу, чтобы ребята не таскали меня туда на руках, как они собирались.

Батюшка был в лазорево-зеленом облачении, дьяки — в желто-золотых стихарях. Дотащили доверху бабушку, Олимпиаду, которую я давно не видел, она год вообще никуда не выходила, но теперь Антон ее привез. Хорош бы я был, если б не приехал, — даже бабушка здесь оказалась, которая вовсе почти не ходит. Началась служба, маленький хор запел. Митя несколько раз прошел, уверенный и ладный, в черном смокинге с бабочкой, красавец. Люба-невеста тоже, в платье подвенечном атласном со старинными кружевами, в белом легком платочке вместо фаты, с прижатыми к груди белыми лилиями: Боже, не зря метались по городу, занимая у кого можно денег. Перед батюшкой, на попитре со свечой, раскрылся молитвенник, по которому он читал. Сколь много замечательных, умных, проникающих в душу слов! Нас с Олимпиадой провели и посадили впереди, почти перед алтарем, а молодые, оказалось, стоят чуть позади, и дьяк золотой спиной заслонял их от нас. Но все же видно было достаточно. Они, склонив головы, с горящими свечами в руках, слушали тоже, как и я, внимательно (внимал, понимал, как музыку понимаешь или чужой язык, когда слушаешь, хочешь слышать). Да, на лестнице еще познакомился с молодой и миловидной мамой невесты и статным высоким отцом — скульптором известным Клыковым. Там же, на лестнице, артист Приемыхов все хотел поддержать меня и напоить чаем из термоса. Были все знакомые лица: Миша Ефремов, например, еще кто-то из актеров. Я глядел на стоящих напротив у стенки молодых поповен: на лицах девочек тоже отражались значительные слова и все движения батюшки и брачующихся. Старшая моя дочь Татьяна мелькнула среди столпившихся, мой друг Егоров. Вот уже надевали кольца, вот уже держали

красивые венцы-короны над их головами. Какой, я думал, красивый обряд потеряли на столько десятилетий! Почему, зачем?..

Спустились потом в трапезную, где батюшка позволил накрыть простые деревянные столы со скамьями, уставленные закусками, бутербродами, бутылками шампанского. Водки не было. Пошли тосты... Любовные, полные добра и радости от созерцания этих красивых и счастливых юных людей, соединивших сегодня себя и нас всех вокруг себя. Я было побоялся выпить, из больницы все-таки сбежал, а Катя вообще не пила двенадцать лет. Но оба мы подставили пластмассовые стаканы под разлив шампанского. Я помнил, что прямо напротив нас, через реку, Кремль, и тост говорил примерно такой: время, мол, наше путаное и пестрое, но все же хоть по законам и мало от людей зависит, а от себя, по своей воле все-таки кое-что можно. Скажем, на том берегу, в Кремле, люди занимаются своим делом, а мы нынче тоже своим: так, как захотели.

Потом гулянье переместилось еще домой к невесте, я не поехал, а Катя там добавила малость и поехала еще провожать молодых на Ленинградский — они уезжали на два дня в Питер — и, как прежде, чуть не целовала вагоны и узнававших ее проводников — слегка, словом, загуляла. Мне пожаловалась на другой день по телефону на позабытое похмелье. Это мелочи, все равно все мы были рады и счастливы. Молодые тем более, потому что после нескольких дней в Питере они вернулись и сразу отправились еще на Кипр. Плохо ли?..

Я ночью читал Катину интервью в «Собеседнике»: почему она оставила театр, кино, отдалась религии, церкви? Показалось, там много правды и много игры. Катя есть Катя.

Еще ночью, включив радио, услышал, поймал среди новостей, как Ельцин сказал: что это мы тут, понимаете, как лебедь, рак и щука?.. Я стал смеяться: давно ожидал, когда он это скажет, проговорится: как у русского человека, слово «лебедь» никаких других ассоциаций у него вызвать не может. Вот он и ляпнул наконец: а мы шо тут, понимаешь, как какие-то лебедь, рак и щука...

А страшный, белесый от старости дед возле 848-й палаты, вынеся табуретку в коридор, сидит весь день, просит милостыню — это в больнице!..

Больница. Коридоры. Уколы, кровь, моча, энцефалограммы, томограммы. Врачи, сестры, моя палата, мои сменяющиеся соседи. Сестра Алевтина. Старшая — Надежда Петровна.

Ральф Мартин. «Женщина, которую он любил». Какая великая, удивительная история! Принца Уэльского и Уоллес Уилфрид. И мир, повторяя всякие литературные Ромео — Джульетты и прочее, ничего не знает об этом!

18 октября. Вчера, когда как раз мы здесь, у меня в палате, сидели, смеялись, умер Виктор. Дома, один, упал со стула, пытаясь прикурить и так и не прикурив последнюю папиросу. Мы дружили всю жизнь со школьных лет; они со Львом были классом старше: я в девятом, они в десятом. Целый год или больше его мучил рак горла, он почернел, посерел, есть не мог. А убил его тромб. Внезапно.

Еще одна потеря этого года. «Все уже круг моих друзей».

Как мы ехали в одном автобусе, сидя вокруг его гроба, на кремацию, в Донской. Смеялись. Егоров вдруг вспомнил, как лет сорок назад хоронили его отца. Тоже смеялись, и кто-то сказал: не такой это был человек, чтобы его хоронить без смеха. Да-да, я вспомнил, только день был ослепительно-желтый, солнечный, а мы совсем мальчишки, школьники.

Башка работает, как компьютер, думаю сразу о многом, и на разных дисках оседает: Дарвин, Бунин, Застава, вот этот самый «Блок», еще рассказы, Соломон, давномечтательное собрание сочинений (это маленький Алеша сказал, когда мать сварила первый летний, с вишнями и ягодами компот — вместо сухофруктов: «Какой давномечтательный компот!»).

29 декабря. Позвонил дня два назад Зураб Церетели, пригласил приехать 28-го, хочу, говорит, собрать несколько старых друзей, давно не виделись, ну, возможно, будет еще телевидение — это я как-то пропустил мимо, не придавал значения. Вечером у меня не было даже машины; за последние два-три дня, что ударил резкий мороз, у всех что-нибудь да послучалось с машинами — аккумуляторы, колеса и прочее. С полчаса ловил машину на Садовом, замерз, приехал — морда красная, а уже накрыт огромный стол, сидит народ. Первое лицо, которое увидел, — очень красивая девушка, неизвестная, но чем-то знакомая. Рядом с ней оказалась Наташа Селезнева, актриса, она-то и сказала: посмотри, это Маша Максакова! Вот так! Совсем маленькой знал я и помню Машу — за уроками музыки, когда мама твердила ей: лучше, Маша, играй, с душой, с душой!.. Усевшись, я обнаружил много знакомых и известных лиц: академика Велихова, и художника Бориса Ефимова, и молодую и прекрасную дочь Зураба Лику, которую тоже помню с детских ее лет. Прямо напротив очень любимый мной человек Гия Данелия с женой Галей — тоже давно не виделись.

Оказалось, все не так просто: хитрый Зураб не сказал (зная мою нелюбовь ко всяким публичным выступлениям), что все мы сегодня — участники телемарафона в честь 850-летия Москвы. Где-то на других площадках, в других аудиториях были собраны другие группы: шел разговор о музеях, памятниках, будущем города и прочее. Мы переместились в другую залу огромного особняка, который занимает теперь Зураб на Большой Грузинской, там уже хозяйничали телеоператоры, горели лампы, под которыми морды не только у меня, но и у всех стали такими красными, как у героя Миши Евдокимова, что шел из бани. В частности, шел разговор на тему церетелизации Москвы, как иные обзывают работы Зураба Константиновича: насчет Поклонной, насчет Тишинки, насчет последней работы — Петра Первого. Люди, оказывается, пилят и копают против скульптора, а заодно против мэра, а еще, наверное, и так далее.

Зря Зураб не предупредил меня, я бы подготовился. Во-первых, лет тридцать назад я написал целую книгу о Москве, я изучил тогда все, что можно было: каждая книга рождала две или три других — за год я будто кончил истфак университета и готовил диссертацию о Москве. Я бы сказал поэтому, что Москва — эклектичный, гелиоцентрический, собирательный город; разрушив за столетие почти все, что строилось и береглось веками, Москва старается что-то наверстать, естественно. Что-то выходит лучше, что-то хуже, чего-то не получается вовсе. Но Москва всегда была модницей, старалась не отстать от Европы и Питера. Вопрос слишком важный и пространный, чтобы мне говорить сейчас обо всем этом вскользь. Конечно, один Ю. Лужков не может и не должен бы, наверное, решать, что построить, где и кому. Кто знает и кто теперь рассудит точно: а может быть, поскольку храм Христа уже не существовал, надо было все-таки взгромоздить Дворец Советов — а вдруг он бы получился и стал уникальным сооружением, как задумывался?.. Москва приняла ампир, потом модерн, Москва, наверное, одной из первых в мире дала осуществить свои опыты Корбюзье. Москва дала миру своих художников, архитекторов и скульпторов, которые могли бы осуществиться в ней и с ней. Возможно, пика Церетели на Поклонной — плохо (мне лично, например, не нравится) и фаллос с буквами на Тишинке — тоже не очень. Но они уже есть, существуют, они уже вписались в Москву. Спор идет сегодня о Петре Первом. На художника «наезжают» и пресса, и ТВ, и многие москвичи лично или коллективно выражают свое неудовлетворение.

На этой встрече, о которой рассказываю, я наконец понял, в чем дело, включившись, выпалил совсем не то, что хотел. Не так. Во-первых, в мелькнувшем прежде на мониторе сюжете я увидел, как демонстрируют детские рисунки будущей Москвы — как дети ее видят. Я отложил для себя — сказать об этом. Затем шел разговор о финансах, куда, во что, сколько надо вложить: му-

зеи, библиотеки и прочее. Я сразу вспомнил о Переделкине, которое того гляди уйдет с молотка неизвестно куда, о несчастном Остафьеве, усадьбе Вяземских, о собраниях сочинений Бунина (которого у нас так и нет), Пушкина, 200-летие которого трудно сказать, как будет отмечено, о 100-летию МХАТа и памятник Чехову, которого тоже так и нет у нас по сей день.

Марафон бежал своим ходом, время текло, кто-то что-то говорил, в основном в защиту хозяина дома, его таланта, его права на свое решение принятого заказа. В последнюю минуту ведущая наша, видя, что мне очень хочется что-то сказать, передала мне микрофон, и я сгоряча стал говорить, как те ораторы, которые выступали на открытии старгородского трамвая у Ильфа о международном положении, стал говорить, что вот, мол, дети рисуют Москву будущего, а настоящую — не могут, потому что практически детей нельзя выпустить на улицу, даже в школу моего 11-летнего Алешу приходится провожать и встречать (я в этом возрасте всю Москву знал вдоль и поперек, садились на любой трамвай, в метро, ехали из конца в конец), желаю, одним словом, чтобы в новом году наши власти добились большей безопасности в городе. Словом, выпалил вдруг Бог весть что и зачем. А что касается Петра, говорю, по-моему, он не на месте стоит, где-то не там бы ему быть. «Он еще не закончен! — крикнул Зураб. — Там все не так будет!..»

— Тогда нечего и говорить, — бормотал я уже, кажется, без микрофона, — дуракам полработы не показывают.

Когда телевидение погасло и свернулось, мы посидели еще с Зурабом, поговорили уже нормально о том, другом: у нас с ним в прошлом его Грузия, наша молодость, море, Гульрипша и Сухуми, потом Америка, наша американская замечательная приятельница Мики Леви, дитя Нью-Йорка, как я ее называю, женщина, восторженно влюбленная в искусство, в художников, в сверххудожественный город Нью-Йорк. Как-то мы сидели в Гринвич-Виллидж, за уличным кафешным столиком, с нашим очень знаменитым когда-то художником Львом Збарским (кто не знал Леву Збарского!), он рассказывал о своих эмигрантских скитаниях, о всех европейских столицах, где искал пристанища, о Париже и Лондоне.

— Миша, — сказал он под конец, — есть только два города на свете, в которых можно жить (точнее, художнику) — это Москва и Нью-Йорк.

Зураб Церетели сделал Петра Великого для Москвы и огромного, монументального Колумба для Америки. Есть люди, которые осуждают его за это. Почему? За что? Он работает. Дай ему Бог здоровья. Большие деньги заколачивает? Ну и что? За такую работу и должен заколачивать. Серая зависть, сверкающие интриги всегда плетутся за такими людьми. Я много раз наблюдал: Церетели сидит с гостями, с друзьями, с большими начальниками, среди веселых друзей и прекрасных (как правило) женщин. Сидит и вдруг может встать и исчезнуть. Где Зураб? Куда делся? Пойдешь искать его и увидишь: где-то в дальней комнате, на террасе, в саду, на крыльце, во дворе стоит Зураб за мольбертом и, торопясь, пишет портрет: или зашедшего вдруг почтальона, или соседского мальчишки, или прекрасной грузинской старухи. Или просто веник рисует, желтый, сияющий от солнца веник.

Он работает, он безумец. Не будем ему мешать.

Вместо интервью

Последние два года я мало где бывал, редко встречался, как прежде, со зрителями и читателями. Теперь в моду вошло интервью: писатель сам ленится писать о тех или иных проблемах, а тут — набегают журналист, газетчик с вопросиками — можно наболтать на магнитофон, что язык сам мелет, без разбора, журналист обрабатывает, принесет готовый, на машинке текст, вроде твоя статья, только прочесть и сдать. Несколько таких интервью было у меня в разных газетах. Хочу доказать: я не самый последний лентяй.

Почему-то после моей пьесы «Валентин и Валентина», некоторых повестей и рассказов, где темой была любовь, меня стали числить писателем, именно о любви пишушим, вроде Мопассана, и чаще всего именно этот вопрос задают: как и что, что я думаю, что считаю хорошим или плохим.

Отвечаю. Я люблю женщин. Они прекрасны, они интересны, они в большинстве талантливы, каждая есть поэма, как говорил Пушкин о сказках, надо только эту поэму прочесть, разгадать, увидеть ее ценность. Помню, работал в одной редакции, мой стол стоял у самого окна, а окно выходило на тротуар вдоль Тверского бульвара. Однажды, к концу работы, открывается окно, ступает на подоконник маленькая ножка в очень хорошенькой туфле, перешагивает прямо на мой стол. Что? Кто вы? В чем дело?.. Она приложила пальчик к губам: «Тихо! Я пришла сказать вам, что я вас люблю!..» Вот женщина! Разве не талантливо?..

Любить одну женщину — опьянение, любить всех — пьянство. Похоже, за свою долгую жизнь я сделался таким пьяницей. Я любил многих женщин, еще больше их мне нравились, и я, что называется, старался не пропускать самых заметных. Первые женщины пришли, конечно, из книг, мальчиком я много читал: например, лет в десять прочел «Тихий Дон» — чего уж только не говорилось о нем, не говорили только, кажется, о том, как он сексуально насыщен и заряжен. Я плакал над Мадо Эренбурга из «Падения Парижа», много читал Горького, одного из самых перенасыщенных любовью к женщине писателей на свете. Я обожал Серову и Окуневскую, наших секс-звезд. Рано прочитал и много лет потом не мог расстаться с Жаном-Кристофом Ромена Роллана — вспомните-ка, кто читал, какие там любви, какие женщины!..

Я влюбился в первый раз в пять лет (в детском саду), честное слово, всерьез! (Об этом написано у меня в повести «Южная ветка».) Потом — в тринадцать, в пионерском лагере, и всю жизнь помню, люблю эту девочку — Таню Боборыкину. Здесь уже слилась с реальностью пушкинская Татьяна. Хотя никогда больше не встречал ее. Дальше, в восемнадцать, уже первая «взрослая» любовь, со страстью, постелью, муками — она-то и легла потом в основу «Валентина и Валентины», в повесть «Бабушка и внучка».

Я написал как-то жесткие, довольно ядовитые слова о том, какие женщины лгуны, артистки, жадины, эгоцентристки и т. п. (повесть «Море волнуется»), но порожден сей монолог был моей все равно преОГРОМНОЙ любовью к Екатерине Васильевой, с которой мы были несколько лет женаты, она родила мне сына и «воще». Почитайте М. Рощина — там много чего есть. О всех прототипах не скажешь коротко. Да и не ваше это, читатель, дело — писательские или актерские интимности разбирать. Когда-то Мопассана спросили: что самое трудное в любви? Он ответил: «Расстаться». «А вы сами как?» «А я не расстаюсь», — ответил писатель. Мне кажется, я тоже никогда не расстаюсь с теми, кого любил. Они остаются со мной. О некоторых я так и не написал до сих пор. (Написать — значит отдать. А мне жаль, они — мои.)

«В этой теме, и личной, и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил поэтической белкой и готов кружиться опять» (Маяковский). Возможно, я вечно старался понять, постичь, найти и что-то умел понимать. Но возможно это — только любя.

Говорят, большинство моих рассказов о любви печальны. Что ж, я вообще не очень веселый писатель. А вспомните Бунина: все его волшебные шедевры о любви — трагедии: «Солнечный удар», «Митина любовь», «Пароход «Саратов», «Темные аллеи», «Сильна, как смерть, любовь».

Женщина — это охотник и дичь в одном лице, женщина — это Игра, картонная колода, которая, не знаешь, какую вдруг тебе масть или картинку выкинет. Женщина дает нам страсть, вдохновение, силу, охоту жить, любить, женщина — высшее наше наслаждение (кому-то — выше — власть или баксы считать, дело хозяйское). «И женщина, которую, измучась, дано нам насладиться», — сказал Гумилев.

Конечно, женщины бывают злы, мелочны, глупы, жестоки (знал бы за что, убил бы!). Но все равно: главная женская добродетель — добро, доброта, несомненно. Какое счастье — женщина умная, тонкая, свободная (по духу), озаренная любовью, — умереть!..

По Платону, человек был разделен когда-то на две половины, мужскую и женскую, и потому каждый из нас обречен всю жизнь искать свою половину. Возможно, на этот поиск и уходит жизнь (пока не найдешь или опять не потеряешь).

«Как быть с этим множеством? — вы скажете. — Надо все-таки любить одну или одного. Так заведено».

А кем заведено? Когда? Почему? Жизнь долга и изменчива, думаю, быть всегда верным, быть однолюбом — редкий дар. Кому как выпадет. Не надо злости и неправедных судей. Сам Христос сказал свое сверхгениальное Слово: кто без греха? Бросьте в нее камень!..

Кто без греха? И что есть грех? Страсть — грех? Вожделение? Неправда. Помните, какая-то американская школьница ответила в своем сочинении: «Морально все, на чем тебя не застучали» (просто как наш В. Ленин).

Сегодня писать о любви так, как я, конечно, немного смешно и наивно. Старомодно. Как бы я ни ссылался на великую русскую литературу, которая не позволяла себе эротоманства и порно. У Толстого, например, даже в сцене грехопадения Анны Карениной нет обнажения, — может, и была потребность писать подобное свободнее и разудалее — нет, он почему-то этого не делал. Мне тоже хочется быть свободнее, подробнее, откровеннее. Многие мои товарищи, писатели моего поколения, тоже выученики русской литературной школы, давным-давно, начиная с Аксенова, который у нас первым начал писать эротику как эротику, уж теперь пишут о постели, об акте, о соитии, как и что угодно, до порно. Я против или за? Есть вещи, на которые трудно повлиять (погода, например, или правительство), существует порноспрос, поэтому существует порноискусство, порноиндустрия. Читатели сами морщатся, плюются, но читают. Я в том числе. Но! Я дергаюсь в зале, когда слышу со сцены мат, а написать акт соития в его г о л о м, пардон, виде мне почти невозможно. Зачем? Мне так не надо. Это женщины-подружки любят обсуждать между собой детали, но в нашем, еще мальчишеском, рыцарском кодексе не полагалось раздевать ни ее, ни себя. Когда-то писатель Жюль Ренар, у которого я учился писать, говорил: крестьянскую речь можно передать и без грамматических ошибок. Юз Алешковский часто смеется надо мной, называя мои рассказы то «ретро», то «рондо». А я, скажем, очень люблю его и всегда завидую его хулиганской свободе. И рад бы ему подражать — не могу, не умею. Для меня слова непечатные остаются словами непечатными. У каждого таланта своя мера, свой тон и стиль. Когда при мне ругают того же Юза (или Лимонова, или Набокова), я встаю на защиту. Потому что я з н а ю: «Лолита» — одна из самых лучших и мучительных книг о любви, и «Я — Эдичка», конечно, о любви, и «Николай Николаевич», и «Кенгуру». О любви! О любви! Просто форма такая, до порно, но по сути-то — о любви! И серьезно, и бешено-талантливо!.. Мы часто путаем, при сегодняшнем завале книжного рынка дешевой, эту дешевку с вещами подлинной литературы. Не стоит. Надо различать. Где порно — порно, а где — только форма. Упаси Бог выскакивать с запретом на все этакое, с погромом такой литературы. Цензура — слишком миллионнолапая гидра, она в один миг заграбастает в с е, ей только дай палец — руку оттяпает. Кому не нравится — не читайте или обходитесь старомодным. А запреты или ограничения пусть останутся лишь на элементарном уровне: прячьте спички от детей. Надо, надо писать свободнее, лучше, больше, открывать в себе то, что еще лежит под спудом.

Если первая ипостась женская — доброта, то первая мужская — смелость. Самый великий грех, сказал мудрец, — страх.

Достаточно прошло, минуло у нас писателей, помраченных страхом. Больше не надо.

Бальзак сказал: ремесло писателя в том, чтобы научиться писать. Это так. Всю жизнь стараюсь следовать этой заповеди, учусь.

Плотская любовь есть только частица той Любви, которая разлита во всем мире и человечестве. Надо любить и быть любимым. Это счастье. Боюсь, знакомый батюшка, отец Владимир, осудит меня, скажет, я все путаю, Божий дар с яичницей. Возможно.

Но я знаю: любовь пришла ко мне с рождением, от бабушки, которую я видел только на старой фотографии, но взгляд ее, но глаза каким-то образом перешли ко мне и во мне остались. И от матери, которая всегда была полна любви к людям, не разрывала их, по Платону, надвое, плотское не мешало духовному. Грешница была?.. Наверное.

Но кто бросит в нее камень?

Я?.. Упаси, Господи!..

ЗЕЛЕНАЯ РОЖЬ

Старинный рассказ

Они вошли и прилепились спинами на свободное место у дверей, между дверью и передним окном, на виду всего вагона. Мальчик лет семнадцати, не больше, а она лет на десять старше, полноватая, с накрашенным полным ртом, с рыже-соломенной головой. Темные лодочки, еще зимние, на низком каблуке (чтобы быть пониже), зеленая юбка с бегущими спереди и сверху донизу такими же зелеными пуговками, белая кофточка с просвечивающим лифчиком. Они походили на тетушку и племянника, преподавательницу и студента. В этой юбке, прическе, помаде было что-то старомодное, и самая ее женственность, мягкость, слабость, застенчивость — она того гляди покраснеет под всеми взглядами — отдавали тоже робким и несовременным. Хотя вот в таких слабых, застенчивых, домашних курицах, подумала Соня, и таятся самая тяжелая страсть и тайный порок.

Соня сидела на четвертой скамье, чуть свесясь в проход, видела их почти в упор. Потом еще не постеснялась достать очки, хотя не любила очки на людях. И через очки увидела еще, что руки и шея у нее в веснушках, как у Моники Витти, а у мальчика уже по-детски обгорели уши и нос. У них не было ни поклажи, как у всей электрички, ни походной одежды, у мальчика на плече висела ее торба на витом шнуре с молдавским или украинским орнаментом. Ежу было ясно, зачем они едут на природу в это воскресное утро. Почти не разговаривали, только глядели друг на друга, касались — рукой, плечом, бедром, его рука пряталась за ее талию. Соня сравнивала себя с нею, зная себя очень хорошо. Свою мальчишескую стрижку со свисающим спереди чубчиком, обтянутые скулы, длинноватый точеный нос с хорошо вырезанными ноздрями, суховатый, красивый рот, свой модный легкий, палевый макияж. Она сидела в замшевых шортах, — первый раз надела, всю зиму мечтала, в размахайке-тельняшке с широкой шоколадной полосой, в белых босоножках с перепонкой на сухой щиколотке, нога на ногу. Сквозь очки же она поймала взгляд молодого человека, пронизательный, тоже не беспорочный: вполне по-мужски он обошел ее сливочные продолговатые колени, и босоножки, и педикюр — от педикюра до чубчика, до цепочки на шее с маленьким акваарином. Да, мальчик, это тебе не полный красный рот, изрядные бедра и прочее. Соня так и видела острые свои груди, такие же еще, как в пятнадцать—шестнадцать были, без всяких лифчиков. Но ехал-то он не с ней, а с этой тетей, и возбуждение, явно исходившее от них, уже ясно волновало Соню. Она глядела в окна, считая станции, почитала газету, покопалась, как бывает от нечего

делать, в сумке, но потом опять возвращалась к ним. Даже уводила глаза от его взгляда, когда он тоже возвращался к ее коленкам или чубчику.

Через полчаса они подались выходить. Та взяла его за руку, повела, как малыша.

Соня — ничего не могла поделать с собой — решила выйти за ними. Выпрыгнула.

Они двигались явно без цели: в горку от станции, по шоссе, потом по проселку, вдоль поля, в направлении зеленеющего вдалеке леса. Было жарко, часов двенадцать, птицы звенели, роскошные облака горами стояли на ослепительных небесах. Соня продолжала по-женски критически изучать ее фигуру, походку, по-зимнему беловатые из-под юбки ноги, тоже в веснушках. До леса было еще довольно ходу. Но вот справа поднялся среди поля кустарник, орешник или ольха. Они вошли в него и прошли насквозь. Соня тоже. Но затаилась. Сразу за кустами опять было пусто, только ярко зеленело поле ржи. Соня узнала рожь по уже отросшим бойким седым колосьям. Куда ж они?

Кустарник торчал прямо у дороги, не спрячешься, дальше тоже нет ничего. Рожь стояла тесная, трубчатая, еле двигала свои серо-зеленые колосья.

Мальчик обнял ее за плечи, лицо в лицо, что-то спросил, прижал, та кивнула. Соня притаилась, все видела, держала куст руками, чтобы не колыхался.

Мальчик наклонился, раздвинул стройную рожь, не жалея, у самого края, вмял ее назад, помогал сброшенной с плеча торбой, и образовалась вмятина, вроде ложа, можно сесть. И они опустились, сели, держась друг за друга, за руки. И бросились целоваться с жадностью. Она обтерла ладонью помаду, но было уже поздно и помада ему не мешала. Соня совсем затаилась, боясь переступить с ноги на ногу.

Он склонял ее ниже, спиной на подложенную торбу. Пришла очередь кофточка, пуговики были расстегнуты. Соня сквозь очки опять увидела крупные веснушки на шее и груди. Она завернула руки назад и сделала движение, каким расстегивают лифчик, — Соня машинально повторила ее жест, хоть ей он был не привычен. Он целовал теперь ее грудь. Сильнее, сильнее. Ой, больно! — отразилось у нее на лице. Нет, нет, ничего, дальше. Снова и снова. Нет, она была податливая, она позволяла, как ему хотелось. Эту, теперь эту, опять эту. Нет, еще. Целовала быстро, еле успевала, его лицо, глаза, опять возвращалась назад: эту, еще эту. Нет, теперь так. Бедро ее волновались, коленки поднялись. Соня чувствовала, как ее-то ноги подрагивают, еле стоят. Солнце их поливало, простор изливал свой синий свет, как в стихах Бараташвили, рожь шуршала, даже Соне было слышно. Они же плыли одни в своей зеленой лодочке, упивались. Внезапно поднялись в рост, кажется, она подняла его, стали вплоть. Обними меня, будто слышала Соня, и он обнял обеими руками за талию. Сильнее, слышала (якобы) Соня, еще, еще. Сильнее. И он обнимал изо всех сил, как мог, как ей хотелось. Рты их остались соединенными, грудь ее открыта. Ну же, ну! Он пытался опять сжимать и целовать грудь, нет, она не пускала. Ну! И сама теперь обвила его, прижималась сильнее и сильнее низом тела. Сильнее и сильнее. Его руки опустились ниже талии, охватили, сжали зад. Он изнемогал уже, бедный. Просил ее, шептал, говорил. Нет, нет, отвечала она, я сказала тебе, нельзя, ты еще маленький, мальчик мой, нет. И тут же — прижатие, ход бедер, грудью о грудь. Он мычит: ну, — она мычит: нет. Еще, еще. Соня понимала, что с ним сейчас делается, не понимала, почему она не хочет помочь ему. Нет, нет, она трением добывала свой огонь, как туземец.

Сорока пролетела и испугала их. Стоп. Соня тоже опомнилась, сказав себе старую шутку: сколько стоит поглядеть на акт и сколько (вдвое) на глядящего. Осмотрелась из своих кустов: нет ли кого вдруг близко? Нет, дорога, и поле, и облака — все на месте, и зеленая рожь по самую даль. Гремела оркестром и

напором одна ближняя громоносная страсть. Минута унеслась, они продолжали свое. Бедному мальчику приходилось все труднее, лицо стало красно, обгорелые и без того уши пылали. Соня подумала прозорливо про все их подобные встречи среди миновавшей зимы, в чужих небось подъездах и на лестницах. Она снова и снова, не отпуская, держала его, прижав, вибрируя, изнемогая сама. Он не вытерпел более, сломил ее в талии, молодец, стал склоняться вниз, в свой зеленый как бы шалашик из жесткой ржи. Сели, упали, рожь упорная заходила вокруг ходуном, какие-то стебли еще подломились и отогнулись на сторону, приняли на зеленое ложе. Упали, как стояли, только он на нее. И ничего она опять не свершила, дурища, не разомкнула даже ног. Он чуть сполз, чтобы целовать снова ее шею, ключицы, плечи, веснушки, оборонявшиеся руки, белокожую грудь. Рука ушла, наконец, к пуговкам на юбке. Нет, она все не пускала, не позволяла ничего, жгла своим желанием: еще, еще, обхвата своего не оставляя. Я знаю, догадалась Соня, вспомнив себя зеленой дурочкой еще в девятом классе, как они с ее Игорем на 1 Мая остались одни в чужой комнате, на чужой тахте, и она тоже разрешала целовать, обнимать, трогать, пробираться, куда хочет, но только — нет, нет, нет, этого не надо,— сжимала зубы и ноги изо всех сил, каменела, хотела и не пускала, пускала всюду, всего хотела — и не могла, не позволяла, не расслабилась ни на миг,— еще, еще, еще и — нет, нет, нет. Выхода не было, Игоря было жалко с его отвердевшей и упиравшей в нее плотью, но — нет, нет, больше ничего, не надо, пусти, нет, еще, еще. Сильнее. Еще.

Теперь она чувствовала, как сама возбуждена ими, зрелищем их игры, увлажнена, и впору опуститься на землю в эти кусты, посидеть. Стыдно смотреть, подсматривать, думать и говорить за них их словами, но как оторваться? Сама чуть не близка к разрешению. Даже стала бояться: протелепатируют ее, вычислят, испугаются, замрут. Нет, они продолжали. Все ты, добропорядочная тетушка, все ты, глупая в своих веснушках и стареньких лодочках. Ну, ну, сказала себе Соня, не пьяней совсем, стой. Затаилась, в какой-то момент старалась не смотреть — нет, продолжала, не могла. Тем более близко, кажется, было завершение. Та извивалась уже змеей, кожа пылала, без дыма дымилась. Не мешать, не мешать, не спугнуть. Пусть стонет, охает.

Провыл низко, пронес свою тень над полями самолет,— они внимания не обратили. Уж Соня тем более не могла им помешать. Разве мыслью? Но мысли были с ними, сама была с ними. И все же надо было не мешать. По седовато-зеленым колоскам, по всему полю сразу шла одна волна: туда, потом сюда, опять туда. Молчу, молчу, не мешаю.

Вдруг отвернулась. Совсем.

Ладно, ладно, не буду. И охи твои, и стоны — не реагирую.

Последний раз взгляну. Да, вот так.

Свои руки от себя уберу. Ветки ими держала и держу. Ничего более.

Совсем. Точно. Честно.

А сама себе сказала: ничего, я вас найду...



Нечаянные страницы

Крах литературной гордыни — так можно определить кризис литературы. Ведь как бы ни доказывали новые писатели, критики и культурологи, что они именно спасли русскую литературу от гордыни учительства, — все это пустой звук! Русская проза в ее лучших образцах, от «Станционного смотрителя» Пушкина до «Характеров» Шукшина, в первую очередь обращалась к живой человеческой судьбе и лишь **потом** позволяла себе учительствовать. Новые же литераторы учительствовали и теоретизировали **вместо того**, чтобы изображать живого человека. Недаром в теории они оказались гораздо интереснее, чем в собственно литературной практике.

Итак, происходит поворот от эстетической гордыни («я так вижу», «читатель должен меня понять») к живой человеческой судьбе или нескольким судьбам, среди которых и своя собственная рассматривается как одна из многих.

Западные критики называют это «актуализмом» (от англ. «actual» — подлинный, действительный, фактически существующий). Отечественные критики предлагают различные варианты: одни — «русский реализм», другие — «новый автобиографизм» и «новая искренность», третьи — «традиционализм», «сентиментализм» и т. д. и т. п. Но хорошо видна общая тенденция: возвращение к живой судьбе личности, то есть к той единственной «доподлинной» реальности, которой читатель может действительно **доверять**. Недаром в современной русской прозе побеждают **автобиографические** и **мемуаристические** элементы. И наоборот — слабеет элемент сочинительский. Сочинительский элемент все больше уходит в область массовой литературной продукции, где **доверия** изначально не требуется и читатель «сам обманываться рад».

Понятно, о каких именах и произведениях идет речь. Это «малая проза» Астафьева и Солженицына, «Альбом для марок» Андрея Сергеева и «Трепанация черепа» Сергея Гандлевского, «Роман воспитания» Нины Горлановой и Вячеслава Букура и «Грибники ходят с ножами» Валерия Попова, книга воспоминаний Наума Коржавина и «Славный конец бесславных поколений» Анатолия Наймана, главы которой, по мере написания, публикуются в нашем журнале, автобиографическая повесть Павла Санаева в прошлогоднем «Октябре» и многое, многое другое, что неизменно вызывает повышенный интерес читателей «толстых» журналов.

Можно говорить, что эта литература слишком «частная», камерная, но нельзя отрицать того, что: а) это литература читаемая; б) это литература «человеческая» и в) это литература подлинная, а значит, противостоящая всей неподлинности нынешней российской жизни. Следовательно, это Литература.

Начиная с этого номера, мы предполагаем вести постоянный (необязательно ежемесячный) раздел «малой» писательской прозы, которая возникает как бы на границах нескольких жанров: автобиографии, мемуаристики, «записок на манжетах», путевых впечатлений, психологических зарисовок и проч. Единственное условие — несочиненность ее содержания. Тем более — не станем лукавить! — настоящий писатель и в «несочиненное» неизменно привносит самого себя; и от этой шишки многим знакомой реальности и прихотливого (порой — капризного) писательского «я» рождается основной шарм (иногда — шок), который и отличает этот странный жанр от обыкновенных записок и воспоминаний.

«Кому это интересно, кроме самих же писателей?» — возможно, спросят нас. Тому же, кому интересны «Петербургские зимы» и «Китайские тени» Георгия Иванова, «Воспоминания» Ивана Бунина, «Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа, «Трава забвения» Валентина Катаева, «Бодался теленок с дубом» Александра Солженицына — нарочно называем наиболее известные, но и наиболее спорные произведения в этом жанре, чтобы показать не только его привлекательность, но и его сложность, его рискованность.

МОСКОВСКИЙ ПЛЕННИК

ИСПОВЕДЬ ПРОВИНЦИАЛА

Сергею Гусеву, Ване Банькину, Андрею Ветрову, Игорю Гапонову, Юре Князеву, Саише Ибатуллину, Паше Токареву и всем моим старым товарищам посвящается повесть, в которой нет ни строчки вымысла и которая мне теперь кажется странной, фантастической и безнадежно далекой от того, что было на самом деле...

«Ужо тебе!»

Мое первое серьезное объяснение с Москвой состоялось в августе 1980 года. Я поступал в Литературный институт на отделение критики. Была Олимпиада, и помер Высоцкий. Москва была чистой-чистой, словно вымытой с порошком. Не было ни соринки, ни окурочка, ни командировочных в то лето. Вообще мало советских людей, потому что Олимпиада, и приезжих не пускали в столицу, а москвичи будто растворились в толпе иностранцев. Я был приезжий, но не простого сорта. Я был элитой, аристократом, счастливчиком. Я победил в творческом конкурсе, о котором ходили фантастические легенды, но даже в самых скромных из них планка не опускалась ниже двадцати человек на место.

Через шесть лет, работая секретарем приемной комиссии Литинститута, я наконец-то выяснил, что такое этот конкурс. Из тысячи, например, поэтических рукописей половина — за гранью здравого смысла. Помню, два года подряд к нам приходила дебильная девочка, за пазухой которой сидела обыкновенная черная крыса. Пока девочка с сияющим лицом идиотки рассуждала при мне, что в этот-то раз она обязательно поступит («Вы ведь не против, правда?»), крыса лазала по ее груди и противно пищала.

Вторая половина — вполне нормальные графоманы. Впрочем, иногда по почте приходили почти гениальные графоманские стихи, до которых был особенно лаком один из руководителей поэтических семинаров — Николай Старшинов. Но им позавидовал бы и сам Хармс:

Наша Родина прекрасна
И цветет, как маков цвет!
Окромя явлений счастья,
Никаких явлений нет!

И только в редкой десятке рукописей сверкало что-то приличное. В работе приемной комиссии был какой-то кинологический азарт. «Таланта» ждали, точно щенка от породистой суки, и сильно обижались, если щенок вылезал с дефектом. Все равно его «вели» на экзаменах, чтобы, не дай Бог, не выпустить обратно. Исправляли ошибки в его сочинении, шепотом подсказывали, что Иван Грозный-де был не последний русский царь, хотя где-то как-то, может, и последний... Потопить «талант» на экзамене считалось невозможной подлостью. Сделавший это экзаменатор вмиг становился клятвopеступником, нарушителем тайного мasonicкого сговора.

На отделении критики творческого конкурса фактически не было. Сегодня мне это очень понятно: какой же идиот с творческим самолюбием пойдет в критики? В 80-м идиотов было трое: я из С., Лариса Шульман из Архангельска

и Саша Люсый из Симферополя. Всех нас допустили к экзаменам с расчетом принять. Но в последний момент некто мудрый решил, что довольно пары беллинских в год. И вот, выбив 24 очка из 25 возможных, я стал крайним, потому что Саша и Лариса выбили все 25.

Для справки: проходной балл поэтов был 19, прозаиков — 21. Ясно, что они сдавали слабее критиков, потому что вообще не готовились, пили водку в общаге, декламировали друг дружке стихи, пока я корпел над историей СССР и бубнил про себя целые монологи на английском, намереваясь распушить перья перед молодой симпатичной англичанкой, как потом рассказали, бившейся в истерику от сообщения, что я не поступил и мы расстаемся навеки.

В своем поступлении я не сомневался, потому что не сверялся с Люсым и Ларисой, бродя среди поэтов и прозаиков одиноким виссарионом, лениво выслушивая их вступительные стишата и обещая всерьез разобраться с ними в дальнейшем. Когда меня звали выпить и пойти по девочкам, я смотрел строго, но снисходительно — как пожилой бригадир на суетливый рабочий молодняк:

— Выпьем, парни... Непременно выпьем! Когда дело наше сделаем...

Объявление списков приема повергло меня в шок. Я вышел из института походкой Молотова, которому сообщили, что Политбюро в его работе больше не нуждается. Я брел по Тверскому, потом по Тверской, тогда еще называвшейся именем великого провинциала Максима Горького. Как и в первый день приезда, Москва дразнила ни с чем не сравнимым запахом. Это был запах хорошего табака (по всей Москве стояли киоски «Табак» с роскошной «Явой»-явской), чистой автомобильной резины и горячего шоколада из кафе «Лакомка», что находилось справа от «России». Весь август я твердо верил, что этот запах останется со мной на целую жизнь, на пять лет по крайней мере. Я верил, что и сам пропитаюсь этим *амбре*, как верила гоголевская городничиха, над которой жестоко смеялись московские зрители и которая была мне до слез родной и понятной; и как я ненавидел того столичного проходимца, мерзавца в панталонах с грязными штрипками, что позволил себе надругаться над самым тайным, стыдливым и могущественным движением души бедной провинциалки!

Москва не желала меня! Я вонял гадко: вяленой рыбой, районной многотиражкой, дешевым вином с названием «Шафран», что пилося студентами С-го университета на спор (пойло было настолько специфическим, что принять стакан глоточками и не отрываясь почиталось подвигом, на это зрелище приходили из соседних общежитий). «Сука... Ах ты, сука!» — бормотал я. На Тверской меня прорвало. Я сел на корточки возле Елисеевского и заплакал. Я рыдал в три ручья, выл, словно крашенная приезжая дура, совращенная и брошенная столичным хахалем. Подходили люди, спрашивали, в чем дело, просили взять себя в руки, протягивали носовые платки... Я смотрел волком и один раз неловко смазал кулаком по чьей-то слишком доброжелательной роже.

— Он большой! Вызовите санитаров!

Спокойствие пришло внезапно. «Я еще вернусь...» — прошептал я, отправляясь на Павелецкий за билетом в свой милый провинциальный С., где все трамвайные остановки назывались Дачными, а все девочки общежития геофака, где я прожил два года, пусть некрасивые, но были моими, а мужики-геологи пили со мной и пальцем не трогали (между собой дрались отчаянно!), ибо уважали мои врожденные близорукость и несомненный литературный дар, как все простые и симпатичные люди моей замечательной страны почитают всякие способности, которыми не обладают сами. Где меня не слишком ждали красивые студенточки родного иняза, «отделения невест», канареечки из местных аристократических фамилий от секретаря горкома до директора Крытого рынка, что вечно чистили перышки на переменах и отчего-то побаивались меня, считая не то гением, не то придурком — я так и не понял. Где в ожидании второго штурма ненавистного и оттого особенно желанного московского вуза я оставил сей бранный мир, сняв подвальное помещение в частном секторе с душевным своим приятелем Сережей Гусевым, идеалистом и путешественником, с которым мы ночами читали Платонова и Достоевского, а днем валялись дура-

ка и играли в шахматы на внеочередной вынос поганого ведра под бдительным взором нашей сумасшедшей хозяйки, бравшей 25 рублей в месяц за «помещение с удобствами», то есть не только за темный подвал три на три метра, но и водопровод без слива, а также раблезианских размеров пуховую перину с клопами, на которой, рыдала тетка, так и помер, не приходя в сознание, ее последний любимый супруг.

«Я еще вернусь...— шептал я в поезде.— Вернусь, вернусь, вернусь!»

«В Москву! В Москву!»

Странно, но меня ждали! Добрейший Всеволод Алексеевич Сурганов, мастер критического семинара, как потом сказали, обрадовался, вновь получив мой работы. Проректор Литинститута Евгений Юрьевич Сидоров будто бы заявил на собеседовании, когда за мной закрылась дверь: «Надо этого паренька брать! Хватит гонять его туда-сюда!»

Вряд ли Евгений Юрьевич помнит сегодня о той фразе, но в меня она врезалась на всю жизнь. Она стала тем обертоном, на котором построилась вся мелодия дальнейших отношений с Москвой. Но если кто-то, читающий эти строки, решил, что это музыка мести и печали, значит, он еще ничего не понял в моей истории.

Меня ждали! Бледного, замороченного, выползшего из своего вовсе не метафизического подполья, порвавшего последние связи с провинцией... Обо мне помнили этот кошмарный год, когда я безбожно врал по телефону своим волгоградским родителям, что продолжаю учиться на филфаке в городе С. и жить в общежитии, что на летней сессии я получил 5 по истории, а по литературе — 4 («Что ж ты, сынок, по литературе...»). На самом деле ничего не сдавал и никуда не ходил, ожидая, будто заключенный, не окончания срока — амнистии! — которая могла еще и не выйти, потому что никто не гарантировал мне повторной победы на конкурсе в Литинститут.

В подвале было время вспомнить о деталях первого года поступления. Как летом, случайно приехав в общагу из стройотряда, получил письмо из Литинститута, куда прежде послал свои статьи-подделки, как говорится, «просто так», без всякой надежды на что-то серьезное. Как долго и тупо рассматривал строчки: «Прислать документы не позднее...» (далее были указаны сроки, в которые я, разумеется, не укладывался). Как бродил по пустым общежитским коридорам, сочиняя план дальнейших действий. Как с помощью подруги из отдела кадров ночью выкрал из сейфа свой школьный аттестат, как здесь же печатал справку об отчислении и постыдно-нескромную характеристику. Как просил Ниночку подделать подпись нашей деканши своей женской рукой. Как потом надрались коньяком... Как она ревела и говорила, что ее, быть может, и не посадят, но с работы выпрут наверняка, а ехать в свой районный Балашов ей совсем не хочется и остается пойти на панель... Как я, скотина, перебирал в пьяной голове: из какого романа Достоевского эта цитата?

Для чего я это сделал? Как бы это объяснить? Мне было *невозможно* просто пойти и сказать: забираю документы, отправляюсь в Москву. Меня и так считали типом подозрительным, много о себе мнящим, говорящим какие-то странные вещи. Я натурально боялся ледяного взора нашей деканши и не мог представить себе, как положу перед ней московское письмо и какое пламя оскорбленного достоинства вспыхнет в ее глазах! Редкие мальчики на иностранном отделении были на особом счету. Их не посылали учительствовать в районы, их берегли для аспирантуры. Деканша слишком часто напоминала мне об этом, вызывая на проработки за бесконечные прогулы и сомнительные связи с геологической шпаной, с которой я среди семестра рвал когти то на Кавказ, то на Кольский, то на Северный Урал...

— Не понимаю я вас, Павел! Чего вам не хватает? Вы все время норовите сбежать! Разве вы не понимаете, что заняли чье-то место? Посмотрите на этих девочек из райцентров, которым родители на последние деньги нанимают ре-

петиторов... а мы их не берем, потому что бережем места для мальчиков, чтобы не превращать факультет в сплошное бабье царство. А вы сбегаете, мчитесь в горы, приезжаете с потрескавшимися губами, и на занятиях по артикуляции из них идет кровь... Фу, гадость!

«Артикуляция» — искусство произношения. Нас заставляли перед зеркальцем растягивать губы и работать челюстями, чтобы добиться чистоты звучания английского. С Кавказа я непременно привозил «альпийские розочки»: это когда губы от ветра и солнца лопаются в одном месте несколько раз. С «розошкой» не то что артикулировать, но и говорить нормально не получалось...

Она не знала, да и я не знал, что дело было не в Кавказе. Все эти побеги имели какой-то тайный смысл. Я был заранее — быть может, генетически — отравлен проклятой Москвой! Наверное, еще мой прадед, Григорий Басинский, торговец солью в Липецке, однажды по делам посетил Москву, был очарован ею и про себя наказал потомкам поселиться в ней, в одном из ее барских особняков. Она не знала. И я не знал. Но мне было нравственно проще выкрасть аттестат, чем взять законным способом.

Коренной москвич никогда не поймет провинциальной среды. Как она любит и как калечит! Я, например, не смог жить в общежитии филологов по причине, которая покажется невероятной: именно они (а не геологи) смотрели на меня с подозрением, оттого что в комнате для занятий я строчил не только домашние задания, но и первые литературные опыты. Я старательно делал вид, что набиваю конспекты по марксизму, но, очевидно, на моем лице нет-нет и вспыхивало глупейшее выражение поэтического восторга, которое так некстати запечатлел Кипренский в неважном портрете Пушкина. Кто-то заглядывал через мое плечо... Кто-то садился рядом и косил глазами... Это была настоящая пытка! Когда я вышел покурить, они стащили мои бумаги, и потом я дико страдал не от той мысли, что рукопись пропала, а от нагло прописавшегося в голове образа подонка, что в тепленькой компании театрально-трагическим голосом читает эти странные (сегодня и для меня странные) размышления о литературе — и гадко ржет и хлещет тетрадь по ляжкам!

Когда мои нынешние друзья поэты и прозаики спрашивают, отчего я сам не пишу стихов и прозы, я отвожу глаза в сторону. Я не понимаю обратного: каким образом они когда-то дерзнули вынести свое творчество из мира интимного в публичный? Как и когда смогли переступить этот порог отчаянного стыда, отдав свой первый рассказ, свои первые и, конечно, беспомощные стишки в потные руки какого-то редактора? Ведь все они *не москвичи* (понятие не географическое, но скорее метафизическое), что и первого редактора своего, наверное, получают через родителей, как акушера и домашнего врача. Как же они решились пойти к неизвестному дяде с признанием в своих творческих поллюциях?

Второй мотив моего преступления более логичен. Я не хотел, чтоб страдала мама. А она непременно страдала бы, если б знала, что сын бросил университет ради сомнительного поступления в Литинститут. И была бы в своем роде права: ведь в первый-то раз я не прошел. Ей, родившейся в деревне, пересидевшей оккупацию в погребе (бездетный румынский солдат хотел забрать трехлетнюю красотку в виде трофея, и бабка прятала ее целый месяц), наблюдать фортели единственного чада было бы непросто! Она и в голодный С. отпустила меня лишь потому, что для нее слово «университет» (которого в Волгограде еще не было) звучало несколько иначе, чем «пединститут», который она закончила. Это возвышало ее и меня в глазах деревенской родни...

Сегодня, вспоминая события того времени, я торжественно заявляю, что второй раз в Литературный институт меня принимал сам Господь Бог, меня не простивший, но мать мою пожалевший. Это Он, а не Евгений Юрьевич Сидоров, сказал нечто очень справедливое:

— Надо этого паренька брать.

И *они* меня взяли!

«Мы с тобой одной крови...»

Сначала напугал слишком знакомый расклад. На экзамены допущены снова троє: «паренек», то бишь я, Игорь Н.— армянский еврей из Еревана и М. З. из Грозного — первый чеченский критик за всю трагическую историю этого непростого народа. По всем статьям выходило, что я опять пролетал. Не взять М. З. означало развязать военные действия в Чечне раньше срока. Отказать ереванскому еврею — обидеть армян плюс расписаться в юдофобии, в которой и так подозревали часть Союза писателей.

А вот меня... «Мужиков на Руси много!»

Пронесло! Моя белесая провинциальная Муза по-девичоночи взвизгнула «ага!», вдарила красными сапожками и запилила на саратовской гармонике с бубенцами. Но я был строг и спокоен. Мой счет Москве еще не предъявлялся. Хотя счетчик тарыхтел всюю.

С критиками из своего семинара я не сошелся. Самый забавный был Игорь Н.— юное, розовенькое и пузатенькое создание, в котором армянская спесь вела нелегкое сражение с еврейской хитростью. Сейчас Н. в Израиле, но едва ли он там доблестно бьет врагов-палестинцев. Это был добрый и безвредный малый, но без лица, без всякого лица. Помню его толстые пальчики, державшие серебряный стаканчик с коньяком, но не могу вспомнить выражение его глаз.

М. З., напротив, был колоритный: высокий, могучий и потрясающе спокойный; из таких потом выходили отчаянные чеченские головы. Правда, на втором курсе он помешался на лекциях Ивана Карабутенко и парижском декадентстве и в своих статьях старался протянуть нити с гортанного Кавказа к гращирующей Франции.

Надо ли говорить, что молодой битлообразный «Ваня» Карабутенко, чей отец заведовал украинским сектором Союза писателей, благодаря чему сын мог шалить в Литинституте, изводя на лекциях бедных казашек и туркменок рассказы про кокаин и женские трусики, от чеченца-декадента пришел в неопиcуемый восторг! На экзамене он тряс бородой, сверкал очами и хрипел:

— Горец! Настоящий горец, спустившийся прямо с гор... Знает Бодлера в оригинале!

Бедный М. З. краснел от смущения и продолжал гортанно декламировать «Цветы зла».

В общежитии на Добролюбова я поселился в комнате с Игорем Меламедом из поэтического семинара Евгения Винокурова. Более странного и оригинального лица мне еще не доводилось встречать! Меламед сочетал в себе вещи несовместимые: непробиваемые мелочность и скандалезность спорили в нем с безграничной широтой поэтической природы. Он мог зажать несчастные двадцать копеек, когда речь шла о коллективной пьянке и на кровать летели мятые стипендиальные рубли. И мог проигратся в шахматы (карты в нашей среде не водились) до носков и печально сидеть почти голым, напоминая Папанова из фильма «Джентльмены удачи». Он старчески ворчал и собачился из-за неприкрытой форточки: «Ты измываешься над моим бедным организмом!» И в тот же день ввязывался в немислимый мордобой со страшным осетином Иссой, отступавшим на свою территорию побитым и озадаченным: каким способом дерется этот очкастый лысоватый еврей, не имеющий никакого понятия о настоящей драке?

Игорь был тонким психологом и отлично знал слабости людей. В московские театры, на престижные премьеры он проникал без стука и грюка и, разумеется, без билета. Если моими культурными пастбищами стали Бронная и Моссовет, где оглоедов из творческих вузов привечали по студенческой корочке, то Игорь нагуливал свое духовное мясо в заповедных полях Таганки и Ленкома. Покуда столичные театральные фанаты бились в кровь возле билетной кассы, выпрашивая контрамарки, Игорь неторопливо покуривал в театральном сортире и чистил свой костюмчик. Его метод посещения театров был прост, как правда. Он открывал поочередно все двери, кроме парадной, спра-

ведливо полагая, что незачем такой большой толпой тесниться в одном дверном проеме. Если же двери бывали случайно заперты, Игорь не брезговал и парадной, но здесь он начинал лицедействовать...

Кем он только не был! Племянником главного режиссера, которого дядя просил подождать в фойе. Пока контролерша сомневалась в непреложной истине, на скромного племяша напирала и возмущалась разная сволочь с билетами. Племяш начинал нервничать. «Дядя просил быть точно...» — и как бы невзначай подзадоривал билетников локоточком. Контролерши не любят скандалистов. На «ентих, которые прут и людям на головы садятся», обращался их праведный гнев, а племяша нежно сажали на стульчик и не могли надивиться, как быстро он исчезал в толпе, вероятно, отыскав, наконец, своего дядю... Но иногда перед контролером возникал одинокий иностранец, отставший от группы. Он был такой потерянный в этой варварской толпе, так страдательно выговаривал русские слова, словно они причиняли зубную боль...

Игорь не знал ни одного иностранного языка, но басурманский акцент подделывал замечательно. Как-то во время коллективной гульбы на одной московской квартире он вооружился справочником Союза писателей и перебаламутил половину поэтической Москвы, называясь по телефону венгерским переводчиком Золтаном Дьегошем и предлагая известным поэтам написать стихотворение для венгеро-русской антологии, посвященной 1000-летию крещения Руси. Предложение было настолько бессмысленным, что почти все поверили. Я не сомневаюсь, что сокровищница нашей духовной поэзии обогатилась за те дни, когда мы пили, сквернословили и мотались в таксопарк за водкой (ночных палаток еще не было).

Но этот же Игорь Меламед влюблялся во всех женщин одновременно — влюблялся с такой испепеляющей страстью, что они не выдерживали натиска и... исчезали. Редкая студентка Литинститута избежала этого испепеляющего огня, испепеляющего любое «нечистое» представление о женщине. С какими-то из Игоревых любовей мне затем доводилось иметь довольно тесные отношения, и каждый раз я испытывал идиотское чувство, что нанят дровосеком на пепелище — такими скучными были эти кроличьи дела после огня,

Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет, уходя...

Как-то он до беспамятства влюбился в Тамару Г., из той добрейшей породы студенческих гетер, с которыми на Добролюбова разве только Добролюбов и не спал. Конечно, Тамаре польстила идея стать музой такого авторитетного в институте поэта. Но и она не выдержала: когда Игорь в десятый раз трагическим голосом произнес слово «вечность»... сбежала из нашей комнаты, как и все прежние музы. За всякой беглянкой Игорь бросался в боевой поход. В его поэтической голове не было места для простой мысли, что дама не хочет или не может. Там не купидоны чирикали, а ревели Эрос с Танатосом. Они требовали объяснения: отчего великая страсть не найдет выхода, зачем она обречена томиться в клетке «бедного организма»? Но Тамара не знала ответа... Она не имела опыта общения с Эросом и Танатосом и элементарно по-бабьи испугалась. Игорь молотил по двери ее комнаты до тех пор, пока Танатос безвольно не повис на цепях, а Эрос, стеная, не отлетел прочь. Затем он поплелся в наш 602-й номер и повалился на кровать. Я читал «Дар» Набокова в слепой ксерокопии и по-садистски даже не взглянул в его сторону.

Странно: первые настоящие стихи он написал на втором курсе, но и до того никто в институте не сомневался, что Игорь — поэт от Бога. Над ним посмеивались, его театральные жесты бесили и меня, но самая темная узбечка в нашем многонациональном институте, едва привыкшая ходить без чадры среди белого дня, прекрасно знала: Игорь — Поэт! Было в нем нечто, не позволявшее считать иначе. И когда на своем столе я нашел «случайно» оброненный лист со стихами о маме и музыке, что «словно пыльца мотылька, упорхнувшего в недостижимые страны», и о маминой ноше, что «для Моцарта слишком легка, а для прочих она непосильна и странна», я, ничего не говоря, обнял сво-

его товарища, и мы, ничего не говоря, пошли в ближайший магазин, без лишних слов понимая, что не обмыть это случившееся на наших глазах чудо — «Рождение Поэта» (так называлась наша с ним любимая книга Георгия Блока о молодости Фета) — было бы последним свинством.

Что сблизило нас? Каким-то шестым чувством я понял: этот человек брат мой, брат по крови! Он провинциал до мозга костей, как и я, и, как и я, *московский пленник*, Жилин, которого не вызволит из плена ничто, кроме дворняжьей натуры и дарования. А сомневаться в своих дарованиях мы не могли, как не может Робинзон на острове сомневаться в наличии пресной воды. Если воды нет и придется подыхать от жажды, то и сомневаться — лишнее...

Игорь родился в рабочей еврейской семье во Львове. Его отец был типографским наборщиком. Однажды Игорь рассказал, что появился на свет шестимесечным и врачи сказали его немолодой маме, что ребенок не жилец. Она не поверила и долгое время держала его под теплом настольной лампы, этим нехитрым народным способом перехитрив смерть. Потом я прочел в стихах Игоря строчки:

Что всех нас ждет Его ответ,
Быть может, и невыразимый,
Что нас зальет какой-то свет,
Быть может, и невыносимый...

— и они странно связались во мне с образом младенца, мирно сопящего посреди книг и газет на желтом кружке электрического света. Затем я прочитал в биографии Константина Леонтьева, что этот эстет, «барин», оказывается, тоже родился недоношенным, и небогатые дворянские родители подвесили его в заячьей шкуре под потолком в деревенской бане. Может смеяться, но и эта баня в занесенной снегом калужской Кудиновке, и этот обшарпанный стол в советской львовской коммуналке — гораздо больше говорят мне о существовании русской литературы, чем самые глубокие концептуальные соображения. Они показывают: что это такое, провинциальная порода, какая невероятная энергия в ней томится, как непостижимы пути ее прорастания на тесном пятачке возможностей, так обидно не совпадающих с широтой Великой России.

Как и я, Игорь закончил два курса провинциального университета. И тоже слинял в Москву столбить свои золотые прииски. Мы понимали друг друга без слов. Он был еще большим провинциалом, чем я. Если мой липецкий прадед посматривал на московскую жизнь с завистью, но все-таки по-хозяйски, то предки Игоря — судя по фамилии, из еврейских священников — просто и горько знали о своей «черте оседлости». Когда мне говорят, что евреи сделали революцию, чтоб отомстить нам, русским, я вспоминаю этимологию слова «русский» по Ключевскому (князь-варяг, начальник, владевший пестрой славянской территорией) и говорю про себя: «Так вам, *русским*, и надо!» Потому что нет русских — есть Россия! Волжане и беломорцы, туляки и калужане, мордва и татары. Но пуще всего — *столичные и провинциалы!* И нам, русским провинциалам, всегда будет о чем потолковать с провинциальными евреями и на что посверкать очами — мы не переругаемся из-за бредней картавящих столичных славянофилов!

Гораздо больше нас привлекала пара рабочих столов в общежитской комнате. В моей прежней филологической общаге о такой роскоши не могло быть и речи. Я жил на меньшей площади с четырьмя азербайджанцами и армянином, который единственный в комнате говорил по-русски (азербайджанцы предпочитали родной язык). Но и это место я получил только за то, что между ног что-то болталось. Я был элитой, мальчиком — девочкам из районов до третьего курса предлагалось снимать за свои деньги комнаты в частном секторе, где по ночам на проселке не было света и выли собаки и облысевшие домовладельцы ругались матом и воровали нижнее белье постоялок на пропой. По утрам девочка пудрила носик и брела из своей избы по грязи и снегу на Десятую Дачную, чтоб добраться до факультета и там клацать зубами от холода (здание филфака, бывший купеческий лабаз, часто не отапливалось), доводя свое про-

изношение до лондонского блеска, которым она потом и блистала учителькой в своей тмутаракани. К одной из этих девочек я иногда зааживал по известной надобности. Хозяйка, старая гадина, тайком брала с меня деньги «за нарушение режима» (гостей не приводить!). И всякий раз, выходя от своей подружки, я не мог отделаться от мысли, что покидаю дешевый бордель.

Но Игорь не любил эти речи. Он называл это комплексами, смердяковщиной.

— Твой Достоевский,— орал я среди ночи так громко, что молдаване за стеной начинали волноваться,— оболгал Смердякова, потому что сам был провинциалом, выросшим между Москвой и Тулой, но затем отравленным Петербургом! Но даже он не смог до конца соврать. Перечитай-ка место, где Смердяков дает Ивану деньги...

Я не любил Достоевского, которого Игорь боготворил. Я любил Лескова и считал, что именно Лесков — это «правильный» Достоевский.

— Оттого и затирали его все время, что не боялся этой столичной сволочи, не придавал ей серьезного значения, не искал в ней метафизической бездны... а смеялся над ней в «Некуда» и «На ножах»! И Тургенев смеялся в «Дыме»... И вот этой насмешки не могли простить, с радостью принимая провинцию бесполовой, а Петербург страшным и загадочным, как в «Бесах» и «Преступлении...». Как они вопили, когда Тургенев упокоил Базарова там, где только и может обрести покой русская натура!

Молдаване стучали в стену и клялись «упокоить» нас, если не замолчим.

Одним словом, мы расходились в некоторых теоретических воззрениях на столично-провинциальный вопрос. Но в части практики не спорили почти никогда. Скоро мы поняли, что все студенты Литературного института со временем делятся на три категории...

Первая — *командировочные*. Зачем они поступали в Литинститут, я так и не понял. Творческого самолюбия в них не было никакого. Они приезжали попить водочки, походить по театрам, написать десяток стихов и рассказов для семинаров и дипломной защиты, а потом отчаливали в свои череповцы и сыктывкары с чеводами столичного барахлишка, словно с затянувшихся курсов повышения квалификации. Иногда эти люди женились между собой, и тогда вставал вопрос: в Череповец или Сыктывкар отвозить рожденное в столице дитя? И дитя ехало в провинцию, еще не подозревая, что в скором времени его паспорт украсится гордым именем Москвы и придется молча объяснять глазами всяческим кадровикам, зачем это его мать занесло так далеко от родины заниматься таким простейшим делом. Почти все они исчезали с горизонта, немногие затем прорезывались в Москве и всегда — по командировочным делам в роли ответственных работников отдела пропаганды череповецкого или сыктывкарского Союза писателей...

Вторая категория — *шатуны*. Эти держались за Москву зубами и когтями, оставаясь в ней правдами и неправдами, но, как правило, через фиктивные браки или липовое место в аспирантуре. Вдруг на пятом курсе в шатуне просыпалась тяга к филологии. Он рвался досконально осветить в своей будущей диссертации сложнейший и интереснейший вопрос, скажем, «Нравственные аспекты поздней советской ленинианы». Иногда номер проходил, и шатун залегал в отдельной комнате на Добролюбова еще на два года. Если же нет — всегда находились дурочки с московскими прописками, которых шатуны обычно «кидали», оставляя не только без обещанных денег, но и без половины квартиры.

Эта каста провинциальных братьев была мне особенно ненавистна! Они роняли мое провинциальное достоинство, напоминали о смердяковщине. *Они никогда не возвращали долгов*, обставляя это дело таким образом, что дающий в долг сам же первый чувствовал себя подлецом: как можно требовать назад деньги с такого несчастенького, неблагополучного человечка, постоянно ноющего по чужим кухням, помятого, недовыбритого, в сером кургузом пиджачке и протершихся на изгибах джинсиках. И вот вместо того, чтобы спросить, глядя в глаза: кто тебя, чучело, держит в этой Москве, которой ты *нелю-*

жен, которой ты в *тягость*, как плохой, но настырный любовник в *тягость* не умеющей отказать ему красивой женщине? — вместо того, чтобы спросить это, вы, отводя глаза в сторону, вновь и вновь даете бедолаге в долг. В конце концов эти бедолаги устраивались в Москве гораздо ловчее большинства москвичей и начинали жизнь с чистого листа, напроочь забывая и о своих долгах, и о своих стыдливых кредиторах.

Третья категория — *наполеоны*. Возможности своего возвращения домой они не допускали. Но не потому, что мечтали отовариваться колбасой без очереди (кто забыл: в свое время такой привилегией обладали только столичные жители и население некоторых союзных республик). И не потому, что заходились в восторге от какой-то Таганки (реальная цена которой быстро постигалась). Но потому, что возвращение домой было равносильно гибели. Провинциал со столичным микробом в крови на родине становился белой вороной. В сравнении со своими провинциальными братьями он был скорее более циничен. Но не мог прогибаться перед иванами кузьмичами из местных союзов — и не от гордости, а элементарной эстетической брезгливости: он слишком хорошо понимал вассальный характер этой наместнической власти.

Как-то мне пришла в голову кощунственная мысль: ведь, помимо прочего, ненависть к Иисусу из Назарета подстегивалась его нежеланием признать свое назаретянское место в еврейском социальном космосе. Пилата это не касалось: гордый римлянин «умывал руки», глядя на местные религиозные разборки. Но среди иерусалимских первосвященников нашлось немало в прошлом провинциалов, которые с искренней обидой говорили себе: как это так — просто взять и въехать в Центр на белой ослице? «А мы-то, бедолаги, сколько мыкались, на карачках ползали!» Но если предположить, что Христос все-таки решил бы вернуться в Назарет и ограничиться ролью местного пророка, его доля была бы еще страшнее. Белой ослицы в провинции не простили бы ни за что!

Надо быть последним идеалистом и барином, чтобы вместе с Петром Лавровым считать столичное образование командировкой из народа в интеллигенцию с последующим возвращением нравственного долга («Исторические письма»). Нет, мои милые! Это серьезное искушение, это экзистенциальный путь, это следствие величайшей беды России — ее безмерности! И вопрос состоит лишь в том, кто и когда оплачивает счета: столица или провинция? И это вовсе не мифические счета; часто они бывают ценою в жизнь. Только Москва не хочет об этом знать. Она готова лелеять красивые сказочки об Андрее Платонове, якобы работавшем дворником в Литинституте (на самом деле был майором на пенсии и имел в писательской гостинице две комнаты: по послевоенным критериям, не самый бедный вариант). Но Москва не знает о том, что рядом с бывшей писательской гостиницей (сейчас там заочное отделение и Высшие литературные курсы) до сих пор стоит каменный сарай, где обитали и *новесились* двое молодых поэтов из провинции, в свое время не поступившие в Литинститут и работавшие в нем дворниками ради одной железной койки с матрасом в том сарае, который все мы так и называли «дворницкой». Перед тем, как надеть петлю, они оставляли на стене свои послания карандашом. И я помню, как мы сбежали с лекции и пили в сарае с последним самоубийцей, читая письмо его предшественника и не подозревая, что через неделю мы прочтем здесь предсмертные каракули нашего гостеприимного хозяина.

Но мало ли «непризнанных гениев» кончают с собой? Они просто больны, эти люди — вот что мне говорят. И я сам теперь так считаю. Но почему-то раньше меня это страшно волновало; как и та долго терзавшая меня история, что случилась накануне моего поступления. Молодой литинститутский критик по имени Паша (фамилию не помню) был найден в московском подъезде удавившимся своим шарфом.

Надо ли говорить, что мы с Игорем считали себя наполеонами и соответственно строили стратегию нашего поведения? Впрочем, стратегии были единичными, ведь сражения шли на разных территориях. По вечерам были долгие беседы, обмена опытом и прикладывания целебных бальзамов к ранам сво-

им и товарища. Стратегия Игоря отличалась большей напористостью. В первый семестр он обошел со своими стихами всех знаменитых московских поэтов. Я называл это "Операция «Бедный родственник»". Смысл состоял в том, что ни один знаменитый поэт не мог просто послать подальше брата из провинции. Это было бы нехорошо! Но каждая знаменитость обладала своей стратегией, как ей отвязаться от бедного родственника. И это тоже было настоящим искусством...

Скажем, Меламед дозвонился до Евтушенко, что само по себе большая радость! Евтушенко зовет его в Переделкино — весьма благородно с его стороны! Но на пороге дачи Игоря встречают два страшных бульдога, очевидно, вывезенные из Сибири, а за ними жена-англичанка, которая «ошен плёхо говорит по-руськи». Покуда собачары тщательно обследуют Игоревы штанины на тест кошачьего запаха, дочь Альбиона театрально зябнет на крыльчке, кутаясь в махровый халат. Наконец выходит Центральный Поэт и берет рукопись. Вместе с женой он скрывается в святилище... а бульдоги остаются и провожают дорогого гостя до ворот. После такого приема, само собой, надо понимать, что высокий отзыв предпочтительней выслушать по телефону. Но Меламед не из таковских. Когда он вновь попирает ногой переделкинское крыльцо, псы балдеют от его нахальства и щурятся ласково и снисходительно, что твой Мюллер на Штирлица. Англичанка шпарит чистейшим московским говором, а Центральный Поэт (натура все-таки широкая!) теплеет сердцем, вспоминает о своей шальной молодости и зовет пить чай с баранками. Какой, скажи, настырный паренек! Но и мы, едрена корень, не из робкого десятка!

Как-то Игоря пригласил модный в те годы поэт Юрий Кузнецов. То ли не расслышал фамилию (Меламед — почти Мамедов), то ли не придал ей значения. Сам Игорь и не подозревал, что в поэзии есть «левые» и «правые», «евреи» и «почвенники», что с его фамилией и внешностью посещение Кузнецова было делом, мягко говоря, авантюристичным, а точнее говоря, провокаторским. Он так и не оценил, какой странной сцены был невольным режиссером. Войдя за порог, радостно сообщил, что Юрий Поликарпович не первый, кто столь любезно принимает его в своем доме... До него он познакомился с замечательной Юнной Мориц и прекрасным Давидом Самойловым... И чуть ли не соврал от полноты чувств, что оба просили передать Ю. П. поклоны и самые горячие...

— Это ваши любимые поэты? — мрачно поинтересовался Кузнецов.

— Вообще-то нет... — зарделся Игорь. — Они замечательные, но я предпочитаю классиков. Мои кумиры Пастернак и Мандельштам.

— Это графоманы!

—

Это я знаю в его пересказе и, возможно, что-то присочинил. Но вот Белле Ахмадулиной стихи передавались на моих глазах. Она пригласила Игоря на какое-то полутайное собрание и просила не разглашать место встречи. Тем не менее он взял меня с собой. Тайное собрание оказалось невинной выставкой Бориса Мессерера, мужа Ахмадулиной и одного из участников крамольного тогда альманаха «Метрополь». Мессерер рисовал исключительно граммофоны. Они висели по стенам небольшого зала, похожие как две капли воды и отличавшиеся только размерами. Было забавно... Народ ходил и смотрел на эти граммофоны с таким серьезным видом, точно в каждом пытался найти «второе дно». И вроде бы некоторые находили «второе дно» и замирали потрясенные.

Это было закрытие выставки. В конце стали приходиться люди, от одного вида которых я, первокурсник, потерял дар речи. Жванецкий, Вознесенский, еще кто-то, но я боялся спутать того еще с кем-то и не называл про себя, а только знал, что это не простой человек, но Кто-То-Из-Тех-Кого-Я-Сегодня-Ви-дел-Собственными-Глазами.

Жванецкий прочитал антисоветский рассказ, и все долго старательно смеялись. Вознесенский встал на стул, как школьник, и прочитал вполне советское стихотворение. Потом толпе дали понять, что пора расходиться. Но сами-то кумиры не расходились, а что-то дальнейшее явно замыслили. Так как сборище

было тайным (Ахмадулина и Мессерер находились в опале) и все пришедшие были вроде бы «своими», повязанными общим риском, то вообразить себе бабушек, выгоняющих посетителей после закрытия выставки, было невозможно! Никто и не выгонял. Никто и не расходился. Тогда работники зала принесли стулья и расставили кружком, как в игре «Последний лишний», где дети бегают вокруг и по команде воспитательницы разом садятся, но одного стула всегда не хватает... Вышло так, что кумиры оказались внутри этого круга, а все остальные — снаружи. И тогда внутрь принесли бутерброды с икрой и шампанское. Там стали выпивать и закусывать, а толпа все не расходилась, смотрела, ждала чего-то.

Понятно — чего! Глядишь, Жванецкий чего еще отчебучит, а ты уйдешь раньше времени и не будешь знать! Толпа перемещалась вокруг магического круга, делая вид, что не замечает жующие рты. И неожиданно я подумал, что это напоминает океанариум, в котором зрителями вдруг оказались бы не люди, но акулы и осьминоги...

Зачем Игорь все это делал? Не думаю, чтобы искал протекции. Его первая книга «Бессонница» вышла через двенадцать лет и была издана за свой счет. *За свой счет*. И это очень важно для понимания провинциальной натуры. В то время он был хотя и скромно, но все-таки известным в московской среде поэтом. Его стихи знали, ценили те, кто мог оценить. Но опять же неверно считать причиной этой известности институтские «хождения». Они были только частью целого, что называется провинциальной стратегией и означает созидание своего места там, где его нет или его просто забыли внести в план Москвы. Столичный провинциал — вечный бунтарь против мира. Он оставляет место, на котором сотворен Богом, и создает собственное — на нерасчищенной территории. Если не получается — он гибнет или крадет чужое пространство. И порой мне делается страшно от этих невидимых слез, этого зубовного скрежета... Сходное мировидение я нашел в некоторых вещах Владимира Маканина и романе Фридриха Горенштейна «Место». И я понял, что не один ловлю по ночам эти волны.

Игорь Меламед был поэтом и книгопродавцем, Дон Кихотом и Санчо Пансой, Остапом Бендером и Неточкой Незвановой. Он в одно время писал чудесные лирические стихи и приторговывал антиквариатом для иностранцев. Он оставил свои влюбленности, женился, воспитывает сына и работает в музее Пастернака в Переделкине. На имени Пастернака в свое время взошло не одно важное имя. И нынче можно видеть Вознесенского, выгуливающего по дачной аллее иностранные делегации. Но сегодня на Пастернаке не сделаешь себе имени... Не пытайтесь оценивать поведение провинциала по привычной моральной или прагматической схеме — непременно просчитаетесь! Результат здесь не равен сумме слагаемых, и часто слагаемые лишь обманки и ловушки на пути решения задачи. Их можно исключить из уравнения, все эти бесконечные + на -, без потери для правильности решения. Но когда вы сделаете это, то всего лишь докажете, что $2=2$ — и не больше того. Тайна провинциализма так и останется в этих лишних плюсах и минусах, ключаревых и алимушкиных, иксах и игреках странной задачи без решения.

Гоголь осмыслил это гениально. Когда Хлестаков, смеющийся и довольный, летел на чужой тройке в свой реальный Петербург, покидая городничего с женой и дочерью в Петербурге фантастическом, он и не подозревал о мести, на которую способна оскорбленная провинция! Его куцые мозги не могли вместить этой грандиозной фантазии, этой миллионной армии капитанов копейкиных, что ринется по следам ревизора-мистификатора и настигнет на пороге его дома. Это они посадят на трон симбирского чуваша Ленина, заставив Петербург голодать и нищенствовать по деревням, а потом десятилетиями владычить провинциальное существование. Это они затем возьмутся за Москву, насылая армады саранчи из Рязанщины и Тамбовщины с авоськами и фиктивными прописками, чтобы она, подлая, наконец-то поняла, какая это великая сила, про-

винциальная обида, — смертельная пружина, спрессованная еще во времена разорения Твери и наказания Новгорода!

В каждом провинциале сидит Копейкин. И когда однажды вы услышите бравые речи розовощекого, благополучного «москвича», загляните внимательно в его глаза и задайте два простых вопроса: откуда он и где остались его родители? Посмотрите, какой походкой он покинет вас. Хорошенько прислушайтесь к его шагам.

И вы услышите стук костыля.

«Я памятник себе воздвиг...»

Лев Толстой сперва принял молодого Горького за мужичка («настоящий человек из народа») и разговаривал с ним матом, чтобы понравиться. Но затем, прочитав «На дне», он понял, как жестоко провел его этот долговязый нижегородский газетчик с утиным носом. Толстой страшно обиделся! «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу... — жаловался он Чехову. — Горький — злой человек. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу...»

Толстой был великий душевед, но все-таки неисправимый барин. Даже он не мог понять логики провинциального поведения. Но я догадываюсь, в чем было дело. Однажды Горький, еще неизвестный, но одержимый наполеоновскими мечтами, въезжал на телеге вроде бы в Казань.

При дороге стояла баба:

— Што, мужик, пялишься?

— Почему это я — мужик?

— Да больно рожа глупа!

И вот я представляю себе наслаждение, с которым он специально для графа строил глупейшие мужицкие рожи. Какой это был роскошный спектакль и какая душевная боль! — не позабытая и двадцать с лишним лет спустя, когда он писал свои воспоминания о Толстом.

Мой приятель-москвич, писатель Алексей Варламов, с лопатистой бородой навряд ли толстовской, серьезно говорит в интервью «Литературной газете»:

— Я не считаю себя писателем. Я пишущий человек. Я преподаю в университете, а сочиняю для себя, потому что мне это доставляет удовольствие.

Я киваю головой и делаю понимающий вид. Какой, скажите, скромный человек! Все думают, что он — Писатель, а он — совсем нет... Он простой преподаватель. А сочиняет ради человековедческого интереса.

— Алексей! Ваши творческие планы...

Но про себя я говорю: «Ах ты, тюлень московский, князь ты мой прекрасный! Барин из Пролетарского района! Писателем он себя, вишь ты, не считает! Послал, вишь ты, рассказы в «Октябрь», а его — бац! — и напечатали. Напечатали, и ладно — еще насочиняем... А я из своего С. посылал статьи в московские издания, и мне шли ответы: не для нас, дескать, пошлите еще куда-нибудь... И я как последний чудак посылал еще куда-нибудь и еще куда-нибудь, а меня и там посылали куда-нибудь; и каждый раз, получив московский конверт, я запирался в общежитском сортире (единственное место для одиночества) и долго не мог письмо распечатать, воображая, что через пять минут выйду из сортира эдаким львом аннинским, игорем золотусским и скоро буду читать журнал со своей статьей и капризно надувать губы:

— Тут же опечатки!

Но я выходил не аннинским и золотусским, а простофилей пашей басинским, которого снова послали куда-нибудь подальше. И лишь потом, работая в «Литературной газете», я понял, что меня вовсе не куда-то посылали, а просто намекали в интеллигентной манере: «Сиди-ка ты, родной, в своем С. и не рыпайся! Без тебя тесно!»

Как-то в столовой Ленинской библиотеки молодой, но уже маститый столичный филолог рассказывал, что его родители, потомственные литераторы, советовали заняться творчеством Горького, но он не согласился, потому что «общаться с этой горьковедческой шатией-братией запахло». Я-то как раз тогда занимался Горьким и очень любил и жалел этого большого писателя и солнечного человека — моего великого провинциального брата, одного из самых значительных мастеров нашей «масонской ложи». Но меня поразили даже не тот снобизм, с которым он говорил о дорогом мне человеке, а та степень свободы, с которой он в молодости сделал свой выбор. Я живо вообразил: детально, не торопясь, он проговаривал с родителями свое будущее. Потом они, возможно, поссорились на несколько дней. Потом отец вызвал сына в кабинет и извинился за несдержанность. А сын, краснея, сказал: «Да брось ты, папа!» Потом они обнялись и роняли в своей четырехкомнатной квартире на метро «Аэропорт» скупые мужские слезы. Потом папа сел писать свой роман о юности В. И. Ленина, а сын пошел заниматься Набоковым и Ходасевичем.

На пятом курсе я пришел к Евгению Юрьевичу проситься в аспиранты. «Кого выбрали?» — спросил Сидоров. «Фета», — отвечал я, полагая, что вот сейчас Евгений Юрьевич прослезится, достанет из-под стола свою легендарную гитару, и мы запоем с ним на два голоса «На заре ты ее не буди!». Но Сидоров гитары не достал, а сказал: «Зачем вам Фет? Вы критик. Занимайтесь современностью».

Современностью... О-о, я много занимался этой самой современностью, печатая в «Литературной газете» забойные фельетоны о разных текстах, пока однажды не понял, что оказался винтиком в механизме пошлейшей московской литературной игры. Но по порядку.

Мой земляк Аристарх Григорьевич Андрианов работал заведующим отделом в «Литературной газете». Если б не он, меня, вне сомнений, ни за что бы не напечатали. За площадь влиятельной «Литгазеты» бились в кровь не какие-то провинциальные щенки, а матерые волки столичного литпроцесса. Но в газете существовали две провинциальные «мафии»: волгоградская (Андрианов и куратор всея литературной «тетрадки» Е. А. Кривицкий) и ростовская (редактор литературного отдела Федор Григорьевич Чапчахов). Волгоградская мафия и пригрела меня и наставила на путь*.

Мне объяснили, что критические статьи не пишутся «просто так» — они «заказываются». Но я не желал писать заказные статьи! Я не был каким-то шатуном — я был наполеоном! Это выглядело примерно так, что молодой выскочка из провинции не соглашается быть солдатом мафии, но сразу же требует своей зоны влияния. Но Аристарх Григорьевич ради нашей любви к Волге не стал щелкать меня по носу. Свободная ниша все-таки была. Никто не хотел писать реплики и фельетоны. Это означало наживать врагов, чего большинство критиков побаивалось. Это стал делать я.

— Видишь ли, Паша... — говорил мне А. Г., прочитав мое очередное «Нельзя молчать». — Этого дядю не надо трогать, потому что он еврей. А этого

* «Ага! — закричат москвичи. — Вот ты и проговорился! Что, мафия, то сплошная провинция! А где пресловутый московский блат?» Спокойно! Во-первых, я и собирался не лукавить, но писать так, как есть. Разумеется, коренной москвич лучше московского провинциала в такой же степени, в какой добрый и богатый граф лучше хитрого и бедного журналиста. И лучше, и талантливей, и великодушней, и все, что хотите. Во-вторых, зачем, скажите, москвичам «мафия», если в том же учреждении (газете, журнале, НИИ, МГУ, МГИМО и т. п.) и так работает родной дядя жены брата отца, который опекал своего тройчато-внучатого племянника сизмальства, водил его на карусели в Сокольники и рассказывал о своей сложной, ответственной, но крайне увлекательной профессии, например, писательстве или литературной критике? И если в пятнадцать лет в племяннике проснулись недюжинные литературные способности, а в восемнадцать он отнес дяде на суд свой первый рассказ или статью, а дядя с чистым сердцем пристроил это в своем органе, что же в том плохого! Больше того, здесь возможен и гармонический конфликт между поколениями, например, дядя — консерватор, а племянник — авангардист. Все это не мешает им мирно существовать вместе, только на разных территориях, которые вместе и называются — Москва, родной дом. И только столичным провинциалам приходится не выбирать ниши, а заполнять еще не занятые. Или создавать свои.

не надо трогать, потому что он нееврей. За евреев очень обидятся евреи, а за неевреев — неевреи. Понял, сынок?

На моем месте какой-нибудь тюлень-москвич растерялся бы и запаниковал. Но я-то знал, что формула: весь мир=евреи+неевреи — для простаков. На самом деле он гораздо сложнее и занимательнее. И я стал писать не о людях, а о темах. Например, где найти в современной прозе яркий сюжет? Нет яркого сюжета! Идейное содержание на месте, а читать неинтересно! Или чрезмерное наличие в современной прозе ярких сюжетов. Сколько же их развелось! Читать интересно, но не страдает ли идейное содержание? Катастрофически не хватает лирической прозы о любви. Смелой, дерзкой! И в то же время не слишком ли много этой любовной прозы? Писать, что ли, больше не о чем...

Этими ножницами я выстригал, как мне представлялось, сорняки в современной литературе. Ведь я цитировал действительно слабые тексты... большей частью провинциальные, потому что ссориться со столичными авторами газета не хотела. Я безжалостно вырывал плевелы, чтобы росла высокая рожь. Виссарион в своей могиле мог лежать спокойно. Я стоял на литературном посту!

Но как-то на Тверском бульваре встретил Светлану Василенко. Я засиял лицом, так как любил ее виртуозную прозу о весенней степи и сайгаках — о том, что напоминало мое волгоградское детство.

— Привет!

— Тварь! Скотина! Что ты делаешь? Пишешь свои вонючие статьи, а нас выкидывают из журналов!

— ???????

И Света объяснила мне подлый механизм столичного литпроцесса. Печатаю я, скажем, фельетончик, где задеваю имярек (фамилии «ЛГ» предпочитала не называть). Но из статьи понятно, что имярек — женщина. В это время в «Москве» готовится подборка рассказов Василенко и еще кого-то. Она идет со скрипом, ее динамилы несколько лет, но в конце концов редактор не вправе отказать талантливым авторшам и соглашается на специальный «женский» состав, чтобы на вопрос: «Зачем он это напечатал?» ответить: женщина в Стране Советов имеет все права наравне с мужчиной! Мы не дикие капиталисты! Но выходит моя статейка, и редактор теряется. Критика в Стране Советов — это не личное мнение, на нее положено реагировать. А как реагировать? А снять рассказы Василенко, чтоб неповадно было про разные бабские дела писать! Правильно говорит «ЛГ»: разве мало серьезных тем...

Саша Иванченко и по сей день — прошло пятнадцать лет! — не простит моего зубоскальства по поводу какой-то эротической сцены в его повести. Набор его книги рассыпали в свердловском издательстве и поставили в очередь еще на десять лет. Он тогда бедствовал. И об этом тоже рассказала Василенко. Это был второй «московский ужас» после непоступления в институт...

И вновь я шел по Тверскому, потом по Тверской, тогда все еще называвшейся именем великого провинциала Максима Горького. «Сука... Ах ты, сука!» Она давила моих провинциальных сестер и братьев моей же ногой! Она сделала меня предателем, доносчиком на своих товарищей! Она купила меня за тридцать сребреников моего тщеславия, моей провинциальной жажды видеть свое имя в ее газете. Я думал, что забрался в логово врага, овладел тачанкой и — тра-та-та! — косил налево и направо темные силуэты всяческих бездарностей. Но на самом деле я расстреливал родную провинцию и даже не слышал ее воплей и стонов. Такие обиды не прощаются!

Представьте мое положение в кабинете Сидорова! «Занимайтесь современностью!» Мне предлагали разбирать, смазывать и демонстрировать мой еще не остывший пулемет... Но перед проректорской дверью топтались четверо шатунов — места в аспирантуре, как обычно, были ограничены. И я ответил предельно искренне, как и подобает нам, провинциалам:

— Конечно, вы правы, Евгений Юрьевич! Какой Фет! Столько непочатых тем в живой литературе.

Из кабинета Сидорова я отправился в кабинет Сурганова, моего семинарского руководителя и, по счастливой случайности, завкафедрой советской литературы.

— Всеволод Алексеевич! Мечтаю заниматься современностью... Проректор это всецело одобряет.

Сурганов курил и молча размышлял.

— Видите ли, Паша... Это правильный выбор! Но нет более современного писателя, чем Алексей Максимович Горький. Вы с этим не можете не согласиться, закончив институт, который носит его высокое имя. Между прочим, я тут сидел и думал: кому бы передать свой спецкурс о Горьком? На нашей кафедре как раз возникло вакантное место.

Сурганов меня любил. Выделял из всего семинара. И, конечно, желал добра. Это был самый добрый человек из тех, кого я встретил в Москве. Но даже для моего луженого душевного организма показались резковатыми эти перепады давления: из Фета в современность и из современности в пролетарского писателя. Я попросил недельный тайм-аут. То есть В. А. правильно понял, что шатунов не стоит пускать на заливные луга, пока его фаворит неделю поиграет в серьезные сомнения перед крайне ответственным научным выбором...

На самом-то деле выбирать было нечего. Были либо аспирантура, либо «Литгазета», где Аристарх Григорьевич меня, конечно же, пристроил бы. Но я прекрасно запомнил его слова: «Критика, Паша, это грязная работа...»

Но и заниматься Горьким в середине 80-х, честно говоря, было не наполеоновским делом. И потом академическая среда меня никогда не привлекала. Редкие, почти святые люди в этой среде недостижимы для моего понимания. Например, Наташа Корниенко, всю жизнь отдающая Андрею Платонову. Общая же масса — несчастные люди, не испытывающие ни малейшего азарта при работе с источниками... Или неприятные снобы, столичные парни, что произносят словечко «пагинация» с эдакой важностью, будто это «генерал-аншеф», а при этом пьют, матерятся и безобразничают с девками, как биндюжники.

О горьковедах я знал очень мало и был поражен, когда на одной конференции два маститых профессора едва не подрались, заспорив: «великий» писатель Максим Горький или «величайший»? Один говорил, это Вольтер и Толстой в сравнении с Горьким эти дети малые, а второй соглашался по части Вольтера, но отчего-то не хотел отдавать в детсад Толстого. И оба кричали: «Великий художник!», «Величайший художник!» — а потом, набычившись, сосали валидол.

Впоследствии я никогда не жалел, что стал заниматься Горьким, и, встречая Сурганова в ЦДЛ, всегда первым долгом произносил тост за его мудрое решение. Прежде всего Горький — безмерная личность. Каждый находит в нем то, что ищет. Для источниковедов это настоящий Сезам. Для матерых соцреалистов — столп и утверждение истины. Для поклонников Серебряного века — ключевая фигура, вокруг которой завязывались все связи и отношения. Для любителей потоптаться по истории советской литературы — кладезь нелепых афоризмов и анекдотов. Для простого русского читателя Горький — человек с душой и сердцем. Для интеллектуалов — самобытнейший мыслитель, корни мировоззрения которого лежат в иудаизме и античности, а крона прикасается ко всем вершинам нашего столетия.

От его щедрой личности перепало и мне. Я отрастил усы á la Горький, а мои калмыцкие скулы (наследство от деревенской прабабки, настоящей подружки степей) замечательно дополнили образ. Мешали только очки, но с ними ничего не поделаешь. Читать лекции о Горьком было забавно! Ты появляешься на курсе, где почти все студенты считают Горького фигурой мрачной, мастодонтообразной и до судорог неинтересной. Иное дело — Набоков и Ходасевич! Ты не споришь, а начинаешь рассказывать разные странности из биографии Горького, вроде той, что он одновременно внешностью напоминал Ленина (известное фото 1905 года), Ницше, Сталина, русского мастерового и сицилийского бандитто. Что на совместном портрете Горького и Леонида Анд-

реева в 72-м томе «Литературного наследства» первый сильно смахивает на kota, а второй — на мышь. Что если внимательно читать «Летопись жизни и творчества Горького», то выясняется, что ни один человек, кроме автора «Матери», физически не смог бы сегодня быть в Нижнем, завтра в Москве, послезавтра в Петербурге, затем в Риге, Берлине, Нью-Йорке, написать при этом сто писем, десять рассказов, две драмы и роман, переписывая все по два-три раза. Что Горький видел людей «наедине с собой» (не кого-нибудь, а Блока, Чехова) и описал это. Что, словом, не все с ним чисто, а главное, не все так скучно. Вскоре я настолько заморочил бедным студентам головы, доказывая, что Горький — личность странная, мистическая и inferнальная, как Гоголь и Готорн, что они воздали мне должное — и под безобразным медным бюстом пролетарского писателя, торчавшим над институтской лестницей, некто заботливый гвоздиком нацарапал мои имя, фамилию и отчество, не забыв про год и день рождения и — слава Богу! — не досочинив срок кончины.

Когда я это заметил, мое сердце затрепетало от радости! Это была стопроцентная популярность! Литинститутская публика, как все творческие люди, страшно эгоистична. Она слишком озабочена собой, чтобы пойти на изобретательность ради неинтересной персоны. Но главное: моя первая столичная битва, битва с московским институтом, была не просто выиграна, а выиграна поимператорски!

Это была фантастическая победа: в центре Москвы, на Тверском бульваре, появился мой памятник! Ни один преподаватель Литинститута за его 50-летнюю историю не знал подобной чести!

Я вышел в институтский сквер и возле памятника Герцену, что в этом доме когда-то родился, не спеша закурил. Герцен выглядел подавленным. Тошно, наверное, стоять и стоять! Вот на территории твоего бывшего имения — весна, солнце, и, как сказал неизвестный поэт, «прорастают женские ноги у толпы». Герцен был настоящий барин, москвич. Ни одной дворовой девки не пропустил. Я вспомнил о прадеде Григории. Вряд ли он мог сидеть здесь. Но глаз на это место он положил, я это кожей чувствовал... Неожиданно я вскочил с лавочки, задал бычок каким-то несвойственным мне «матросским» движением ноги и, воровато осмотревшись, спросил:

— Что, барин! Съел?

Месть Копейкина

80-е годы были не лучшим временем для молодой критики. Ты мог быть семи пядей и писать как Белинский — это ничего не решало. В «Литературной газете» понравилась моя статья о Владимире Макашине. Но печатать ее не стали, объяснив это так: статья о Макашине не понравится Там-то и Там-то. Я писал про «Антилидера», а эта вещь Там не приветствовалась. Но если бы и можно было о ней писать, то не мне, а критикам рангом повыше — Ивановой или Аннинскому. Мое дело — бегать за водкой с огурцами. Тогда я имел бы шанс стать своим в критическом цехе. Как, скажем, Андрей Мальгин, что обслуживал одновременно Евтушенко с Рождественским и своих друзей Еременко с Парщиковым — и там, и там получая дивиденды.

Но что-то говорило мне: делать этого не стоит. Не ради идеалов, ради элементарного выживания в той среде, что казалась мне враждебной, только и ждала моего промаха, моей проваленной явочной квартиры, дабы заговорить со мной на свойском языке допроса и доказать, что я круглое ничтожество — и — освободи они меня — меня повесят, как подлеца и изменщика, мои же собственные товарищи...

Сейчас-то я понимаю, что эти ощущения были не только чрезмерны, но наивны и ошибочны: литературной Москве не было до меня никакого дела. В редакции забывали о «пареньке», едва он покидал порог. И это самое неприятное в столичной жизни. Ты — ничто, пока твое существование не начинает кого-то стеснять. Пока ты сам не помешал чьей-то жизни. Простой человек

Москве не интересен. Но достаточно пометить в ней какое-то свое место — даже если это место того расчетливого эксгибициониста, который ради скандала публично нагадил в Третьяковской галерее, — и Москва тотчас обратит на тебя внимание.

Вероятно, это — следствие общей тесноты московской жизни и слишком болезненного внимания к проблеме места. Но если это правда, то ведь эта проблема и создается нами, московскими провинциалами. И значит — мы просто кусаем самих себя за хвост.

Но тогда мне не казалось, что я бьюсь с призраками, с собственной тенью. Если б я это понял, моя душа поникла бы и Бог знает, кем бы я стал: шатуном, «непризнанным гением» или просто спился бы? Чтобы не сломаться, провинциал обязан хранить в себе образ врага, сражаться хотя бы с ветряными мельницами. (Это верно показано в фильме «Москва слезам не верит», где жизнь главной героини, московской провинциалки, превращается в яростное соперничество с предавшим ее любовником-москвичом; в конце концов она сама признается, что ее карьера состоялась не вопреки, а благодаря его подлости.) Пока ты не нашел своего места в Москве, самое страшное — смириться с экзистенциальной пустотой и начать задавать себе вопросы, которые следовало задавать раньше: зачем ты оставил дом, родителей? Что здесь делаешь?

Как если бы ребенок родился на свет Божий со взрослым разумом: с каким мистическим страхом он понял бы, что его зачем-то явили в сей мир, которого мгновение назад для него не было. Вот это чувство испытывает московский провинциал (именно простой и незаметный), направляясь утром в свой — свой? — «почтовый ящик» и возвращаясь вечером в свое — свое? — Бибирево и Чертаново.

Зачем?

Зачем, например, одна моя знакомая из маминой комнаты в Рязани сделала сперва однокомнатную квартиру на окраине Москвы, а затем невероятной цепочкой обменов поимела пятикомнатную на Бронной? Она все равно в ней не живет, сдает каким-то арабам, а ее я встречаю раз в год и не понимаю: чем она занимается? А в этой квартире мог бы жить старенький московский профессор и заниматься, например, историей декабристов. И каждый вечер немолодая, но опрятная горничная с чистым и простоватым лицом приносила бы в его кабинет чай с лимоном, а он заигрывал бы с ней на глазах жены, называя Фенечкой...

В конце 80-х — начале 90-х годов в критическом цехе нечто изменилось. Появились новые имена: Андрей Немзер, Вячеслав Курицын, Владимир Потапов, Александр Архангельский, Борис Кузьминский, Михаил Золотонос, Марк Липовецкий, Андрей Василевский... Чем они отличались от предшественников? Георгий Владимов как-то назвал это поколение «непуганым», но это не совсем правильно. Есть разные измерения страха, и не самый страшный страх идет от политической несвободы. Но это было поколение людей без общего языка и стиля, без общей веры и нравственного самочувствия. Если на знамени предшественников красовались два герценовских орла, смотрящие в разные стороны, но связанные одним телом, то на гербе нового поколения виднелись крыловские лебедь, рак и щука. Задачей новобранца было не трогать воз с места, а найти такую точку приложения сил, чтобы воз, не дай Бог, не поехал, но притом рождалось впечатление борьбы за «направление».

Девизом новой критики стала борьба за стиль — *за свой стиль*. Это прочитывалось не только в постмодернистских выходках Курицына или паралитературоведческих дерзопакостях Золотоносова, но и в христианском либерализме Архангельского, и в просвещенном консерватизме Василевского, и даже в педантичной работе Немзера по созданию газетной критической мозаики якобы единого литературного процесса...

Главное — на всякий чих находился античих и на всякий Букер — Антибукер. Если Архангельский писал о православном, то Курицын пел кишки и кашки. Если Василевский радел за великий и могучий, то Потапов, работавший

с ним бок о бок в «Новом мире», превозносил Игоря Клеха, в прозе которого не один черт ногу сломит и не одна Герма Зимания не разберется. Если кто-то бормотал про Абсурд и Ничто — на соседнем кедре немедленно заводился второй теревей, который определял мироздание через Смысл и Замысел.

Каждый — если того хотел — отвечал только за свои слова, высокомерно не считаясь с общественным результатом. Это называли «плюрализмом», но в действительности это была агония московской литературы, в один миг исчерпанной неслыханный кредит доверия русской провинции, выразившийся в миллионных тиражах столичных журналов, которые наперебой печатали «возвращенные» произведения и критические комментарии тех, кто «был в курсе». Но даже из этих комментариев областные, районные, а тем более сельские жители не могли понять: зачем надо восхищаться «Лолитой» и «Доктором Живаго», в которых они ни черта не понимали и которые были так далеки от их собственной жизни? Зачем не надо восхищаться Сартаковым и Бондаревым, которых Москва навязывала им раньше через свои «Знамя» и «Роман-газеты»?

Вспоминаю очаровательный сюжет в Литинституте в конце 80-х годов. Влетает счастливый запыхавшийся Лев Ошанин. В руках журнал.

— Гумилев! — кричит он. — Гумилев в *моей* подаче!

Но вспоминаю и бесчувственность нашей интеллигенции, доказывавшей советским людям, что они жили в своей стране, своей же страны не зная. Эти взбесившиеся миклухо-маклаи доходили до той подлости, что перепечатывали в российских газетах свои речи на международных конференциях, где льстиво обещали Европе и Америке довести процесс демократического брожения России до твердости отменного голландского сыра... если не помешают, ах, ах, неизбежные в этой молодой варварской стране фашисты, антисемиты и прочие коммунистические недобитки. Они демонстративно «страдали» за Россию, которая не знает «настоящей цивилизованной жизни»; и тем хлеще доставалось разным «недобиткам», которые толкали ее назад, в советское варварство.

...С одним из «недобитков», волгоградским дядей Колей, я каждое лето отправлялся рыбачить в район волго-ахтубинской поймы. Он был и оставался членом компартии, ходил на митинги, которые, правда, не любил, говоря, что там правят бал провокаторы и контуженные. Провокаторов он ненавидел, контуженных жалел, но, в общем, приходил с митингов недовольный. На ночевках, под стакан водки и треск костра, он объяснил мне, чего в нем не добились.

— Понимаешь, ты, столичный житель! — начинал горячиться дядя Коля, но, размягченный ухой и стаканчиком, я прощал это. — Вы думаете, мы мечтаем о реванше (тьфу, гадское слово!)? Да мне ничего не надо! Я хочу ездить трамваем на три копейки и троллейбусом на пятак. Я хочу играть с соседом в домино, и чтоб по телевизору была скучная программа — какой-нибудь «Сельский час». Чтoб в моем родном ерикe, — он показывал на идеально-стеклянную гладь ночного водоема, — не плавали банки от пепси и тампоны с презервативами. Я хочу иметь достоинство с моей пенсией в шестьдесят рэ, потому что я ее честно заработал... А твой демократ со свинячьей фамилией говорит, что с этой моей «социальной психологией» страна из помойной ямы не выберется...

Он, гад, Россию от меня спасает!

Понимаешь, если б они честно сказали: «Дядя Коля! Мы хотим сладко жрать и спать, мотаться в свои Америки. А ты, родной дядя Коля, подыхай пораньше и не мешай нам так жить...» — я бы этих ребят очень даже понял... Я же сам фартовый парень был и немok в Берлине за полбуханки имел, сколько хотел. Но зачем они еще и благодарности от меня хотят! Чтoб я не просто сдох — от жизни своей отказался! Да для меня партия — это монастырь, понимаешь? Я из нее не вышел, потому что от грехов своих отказываться не могу... Понимаешь — эх, ты!

Дядя Коля шел проверять «телевизоры», а я млеl от костра и размышлял дремотно: «Врешь ты, дядя Коля! Никакой ты не смиренный, а гордец и страшный эстет! Недобиток, словом... И не даст тебе эта мировая сволочь натураль-

но жить и замаливать свои гулькины грехи. И не позволит она тебе эдак рыбалить и завязывать леску на крючке тем восхитительным артистическим жестом, который я столько лет без всякой надежды стараюсь перенять. И не станет тебя, дядя Коля, на твоей земле и в воде. Есть некто, мерзкий и козлоподобный, кто ненавидит тебя как эстетический факт, кто содержится в своем астральном тумане, смотря, с каким достоинством ты расплачиваешься своим пятячком, с какой опрятностью собран твой старенький рюкзачок, с какой комфортностью расположились поплавки в коробке из-под монпансье. Эта харя передергивается в судороге, когда перед рыбалкой ты в который раз латаешь свой «Нырок», а потом накачиваешь горячим степным воздухом, и он отвечает тебе благодарными вздохами. Потому что знает: ни один хозяин еще не даровал такой долгой жизни простой резиновой лодке. На ней ты и отчалишь в свой Эдем, который будет точь-в-точь как это наше с тобой место. Но пока ты здесь, этот некто будет извиваться в корчах, которые повторяет за ним вся Россия, и не будет тебе покоя... и... и...

Я клевал носом, а дядя Коля будил сердито:

— За костром не следишь, раззява! Я в темноте «Нырком» на корягу напоролся!..

На краешек этого непонятного, но вовсе не бессмысленного, как сейчас понимаю, московского литературного процесса довелось прицепиться и мне. Но было бы чистым лукавством говорить, что я ждал чего-то высокого, что мной двигали какие-то благородные соображения. Оставьте благородство провинциала в покое! Оно кончается в том отделении милиции, где в его паспорт вклеили штамп о временной прописке. И цена его измеряется тем сроком, что стоит в этом штампе. Сокрытый движитель провинциала — боязнь отстать от поезда. Отставший провинциал похож на пассажира, забжежавшего в станционный буфет и прозевавшего свисток паровоза... Вот он стоит в пижаме и шлепанцах на босых ногах, со свертком бутербродов и бутылкой теплого пива под мышкой. Выражение его лица, смотрящего на исчезающий хвост еще недавно такого родного поезда, где лежат его вещи, бумажник и документы, меняется с каждой секундой, но произносится с этими выражениями единственная фраза — и это: «... твою мать!»

Сейчас он опять пойдет на станцию, которая вдруг покажется страшно грязной и срочно требующей ремонта. Он станет тоскливо пересчитывать мелочь в потной от волнения ладони. Потом вздохнет и отправится на поклон к сиястой тупорылой начальнице телеграфа, этой скифской бабе провинциальной жизни, и будет просить об одолжении: сообщить маме или жене, чтобы телеграфировали денегат. Потом сядет и вспомнит, что паспорт тью-тью — в поезде.

Но счастлив пассажир, поспевший под матюгами пожилой проводницы, этой второй скифской бабы, влететь в последний вагон и на всякий случай прижаться к противоположной двери, чтобы назад чего доброго не вытолкали. Надо видеть, как с его лица постепенно исчезает идиотическое выражение, и «... твою мать» меняется на «... твою мать» совсем иного онтологического смысла...

Вероятно, вся эта гамма переживаний и была на моем лице, когда в январе 91-го я летел по бульварам из Литинститута в Костянский пер., 13, где находилась редакция «Литературной газеты» и где отдел критики уже возглавлял Игорь Петрович Золотусский, правильно оценивший мой книжный обзор в газете и — особо! — коротенькую рецензию на русский перевод Книги рекордов Гиннесса.

О Золотусском я слышал разное. Как-то видел его в ЦДЛ на «критическом дневнике»: стоял, курил, говорил с Львом Аннинским. Я еще подумал, что это слишком: Аннинский и Золотусский вместе! Двойная водка. В представлении читающей провинции 70—80-х эти двое как бы представляли собирательный образ литературной критики того времени. Орел и решка. Даже моя мама, не очень-то интересовавшаяся современной литературой, знала о них. Что до

меня, то когда-то я собирал все книги этой двоицы; но затем, после серьезной переоценки ценностей в домашней библиотеке, оставил по одной каждого: «Ядро ореха» Золотусского и «Михаила Луконина» Аннинского.

Золотусский сам пожелал встретиться со мной, а Андрианов намекнул, что речь идет о приглашении работать в отдел. До меня там поработал Борис Кузьминский, но что-то не сработался и перешел в «Независимую». Лицо Кузьминского было слегка знакомо. Как-то с Курицыным пришли в редакцию, где в кабинете Андрианова теперь сидел молодой человек с ранними залысынами и больными глазами, словно страдающий недугом эстетства. Он говорил о Борхесе и смотрел сквозь людей, к которым обращался. На его лице застыло выражение: «Я человек талантливый, но, поверьте, это не делает меня счастливым...» И в это легко верилось!

Первый раз я прочитал Кузьминского в «Независимой». Небольшая заметка называлась «Памяти Андрия». Более оригинального критического метода я не встречал ни до, ни после. Для Кузьминского не существовало ни авторской воли, ни исторического контекста. Словно «Тарас Бульба» не знаменитый шедевр, а личное послание Николая Васильевича для Бориса Николаевича, где зашифрована история путаных отношений «шестидесятников» (козаческое братство) и «постмодернистов» (несчастный эстет Андрий, которого убивает разгневанный отец, грубально не желающий считаться с капризами нервной эстетической природы своего сына).

Статья показалась мне странной, смешной и... невероятно талантливой. Я бросился перечитывать любимейшую повесть и был поражен, насколько точен оказался Кузьминский в самых, казалось, немотивированных выводах. Конечно, «Тарас Бульба» и об этом! О праведной силе и порочной слабости, о реализме и декадентстве! Конечно, Гоголь гениально показал, что декадентство в самых талантливых и даже прекрасных образцах вырастает на старом древе реализма, питаюсь его соками! Недаром Андрий, писал Гоголь, «и мертвый был прекрасен». В его жилах еще не остыла кровь Бульбы! И он был несчастен, этот Андрий, жертва случайного гена, невеста как оказавшегося в пропавшем табаком и порохом семени Тараса! Какой могучий рост обрело это семечко в ладном теле матери-козачки, как насыщалось воздухом малороссийских влажных ночей это заведомо обреченное дитя, сколько сердца и пламени вложил в него отец своими рассказами о боевых походах! И вся эта мощь, эта страсть в конце концов ринулись в предначертанное русло, но... предначертанное не волей Тараса, а какой-то иной, враждебной волей. И Тарас сам, своей рукой остановил поток, засыпал землей. Или, вернее сказать, срезал больной отросток от своего корня и бросил засыхать в безводном месте, оставив расти второй — Остапа, который в точности повторял природное строение рода Бульбы.

В одном я не мог согласиться с Кузьминским — с его пафосом. Он глубоко все понял, но не мог понять и простить жестокости Тараса. Что мешало опустить Андрия — подумаешь, одним полемком больше!

Кузьминский из породы московских эстетов, которые живут в мире Эвклидовой геометрии и не понимают геометрии Лобачевского. Их взгляд на мир столь же односторонен, как и взгляд «почвенников». В них нет закваски провинциала, этой подопытной крысы, которая найдет необходимый рычажок, открывающий выход в мир Божий, даже если экспериментатор забыл снабдить этим рычажком ящик для опыта. Кузьминский прочел Гоголя талантливо и оригинально, но все-таки односторонне. Он не понял, что гамма чувств Тараса, убивающего своего сына, гораздо тоньше, сложнее и, если хотите, культурно интереснее овечьих страданий Андрия. Сам Андрий стоит зачарованный и бледный как полотно перед этой бурей отцовской страсти! Мы видим крупным планом лицо Сына, но даже Гоголь не смеет взглянуть в лицо Отца — его гений бессилен перед этой картиной! Собственно, Андрий играет «служебную» роль в повести. Его печальная смерть — космическая печаль Тараса, природы настолько невероятной, что она могла породить Остапа и Андрия и погубить Андрия и Остапа (который также пал жертвой отцовской гордыни, но перед

смертью все-таки мечтал видеть прекрасное лицо Отца). И завершить все апофеозом собственной гибели, которой никто, кроме Гоголя и бесстрастных поляков, не смел наблюдать!

Об этом я написал в статье «Памяти Бульбы», напечатанной в «Литгазете»... Вскоре мне передали, что Кузьминский статью читал и хочет встретиться и серьезно поговорить. Но я боялся московских эстетов с их Эвклидовой геометрией, в которой ни черта не понимал. Я не стал звонить Кузьминскому, о чем сегодня жалею. Это была бы восхитительная встреча и забавнейший разговор: Остапа и Андрия о своем Отце. И надо было непременно свершить это в Парке Горького, на лодочке. На этом ведь и заканчивается повесть: «Козаки живо плыли на узких двурулных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всплашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана...»

Работать с Золотусским было непросто, но интересно. Начальник от природы, он, например, не понимал, как это кто-то может отсутствовать на месте, когда он на работе. Часто в мой положенный «творческий день» в моей квартире раздавался телефонный звонок:

— Говорит Золотусский! Паша, почему не на работе?

— Игорь Петрович, но этот день — мой законный...

— Да! Но ведь Я же на работе!

Но было в нем одно, как я с немалым изумлением понял, весьма редкое в московской литературной среде качество: он был равнодушен к литературе. Ни один материал не проходил в печать без его придирчивого изучения, с карандашом, как и следует. И всякий материал он мог «зарезать» на одном только основании: это неталантливо в литературном отношении. Он плевать хотел на то, что речь идет о газетном материале, в который завтра завернут ботинки на лето. Он требовал от слова художественной ценности и не переносил халтуры. Даже если полоса «горела» и нечего ставить в номер. Зато если материал казался ему талантливым — он боролся за него с начальством, даже когда не совсем понимал: о чем этот материал? Так он печатал Курицына.

Но беда, если он находил что-то неталантливый! Тогда спорить с ним было бесполезно — на все аргументы он отвечал с непререкаемостью средневекового инквизитора: не тонет — значит, ведьма! Так произошло с молодым писателем Алексеем Варламовым, чьи рассказы «Галаша» и «Как ловить рыбу удочкой» восхитили меня редкой в наше время чистотой и опрятностью художественного стиля. Прочитав рассказ «Галаша», Золотусский впился в то место, где деревенский мужик остался без носа (по пьянке отрубили топором) и отказался пришивать его за тысячу рублей: «Нос не х., проживем и без носа!»

«Плохо придумано!» — сказал И. П. ворчливым горьковским тоном (кстати, он отлично рисовал автограф Горького, чем однажды похвастался). Понятно, что он заподозрил Варламова в подражании «Носу» Гоголя. А все, что связано с Гоголем, не мог оставить без внимания автор знаменитой книги в серии ЖЗЛ. Я стал говорить, что выдуманно, конечно, неважно... но в деревне всякое бывает, а, кроме того, есть в рассказе места с такой силой подлинности, что можно простить невольное подражание молодого автора гению Николая Васильевича, о влиянии которого на современный литературный процесс Игорь Петрович знает гораздо лучше меня... — то есть начал откровенно льстить, так как хотел напечатать какой-то рассказ Варламова в ЛГ. Но Золотусский только мрачно качал головой и повторял безнадежным голосом:

— Плохо придумано... Очень плохо!

На Варламове был поставлен крест. Через месяц мы с Алексеем поехали в его деревенский дом под Вологдой порыбалить зимой. Вечером крепко выпили, разумеется. Проснулся я от стука в дверь и от того, что в избу вошел здоровенный детина в ватнике и... без носа (две дырки его заменяли), сел на краешек полата, где мирно посапывал Варламов, и сказал тихо-тихо:

— Здорово, Ляксея! Прочел ить я тваво «Галашу» в «Новом мире».

Рассказ заканчивался смертью мужика. Я еще оценил необычность авторского приема: о своей же смерти персонаж рассказывает сам и так просто, словно о чем-то повседневном. Это был Иван Тюков — прототип Галаши собственной живой персоной. Скотина Варламов ничего не сообщил мне о нем, хотя знал, что тот непременно явится за водкой. И если мое сердце выдержало это серьезное испытание, то оттого лишь, что я представил себе лицо Игоря Петровича Золотусского в моем положении.

Итак, работать с Золотусским было интересно. Он предложил мне карт-бланш в написании статей, которые мы негласно называли рубрикой «Гамбургский счет». Идея была в том, что я писал серию портретов известных писателей, проговаривая про них вещи, которые, собственно, все знали и без меня, но писать о которых почему-то считалось неприличным. Например, все понимали, что Приставкин писатель хотя и хороший, но не большой, что его ресурсы исчерпаны повестью «Ночевала тучка золотая...», где он высказал то единственное «родное», что обладает известной ценностью во всяком художественном исполнении. Но сказать это — значило оскорбить писательское самолюбие! Выходит, что «сам по себе» писатель ничего не стоит и ценность его прозы находится как бы вне его.

На мой взгляд, так это и есть. Настоящая русская проза начинается от «Хроник» Сергея Тимофеевича Аксакова, где нет творца, но есть Творец, нет «литературы», но есть творчество Жизни.

Второй жертвой стал Проханов. Это вопиющий пример того, как писатель сочиняет сам себя, и это сочинительство обращается в неразличаемое или, напротив, расчетливое безумие, не имеющее ничего общего со священным безумием. Проханов не одинок. И он еще не самый ловкий сочинитель самого себя.

Вот Виктор Ерофеев, предъявивший «метропольские» козыри в тот момент, когда его противникам крыть было нечем, — действительно холодный и профессиональный игрок, для которого карты перестали быть азартной игрой и стали средством зарабатывания денег. Это крайняя стадия вырождения писателя, когда он пишет даже не о себе, а для себя и его талант работает шлюхой на сутенера.

Но довольно о своей работе! Гораздо интереснее разобраться в тайных пружинах критического творчества, которые порой оказываются если не душевной болезнью, то духовным недугом... Я это понял, когда напечатал в «Литгазете» критический «роман» про Андрея Немзера, вызвавший шум в московской прессе и докатившийся до провинции. Звонили и писали из разных городов, а однажды раздался странный звонок из какой-то деревни под Цюрихом, где преподавательница русского языка (!) разбирала мою статью на занятиях со швейцарскими фермерами.

«Роман» назывался «Человек с ружьем». Он был о критике, который патронировал литературный процесс и позволяет себе «пущать» и «не пущать» кого-то в литературный мир. Не то чтобы этим критиком был Немзер, который работал в газете «Сегодня», не оставляя без внимания ни одной приметной публикации, и скоро занял Место Центрального Критика, так как никто из его коллег не работал с такой же энергией. «Что скажет Немзер?» — носилось в воздухе московской литературной жизни и докатывалось до провинции, которая все еще традиционно озиралась на столичные авторитеты.

И вот это Место мне было неприятно. Вся моя провинциальная природа взбунтовалась против него и Человека С Ружьем, который на этом Месте мог бы стоять. Почему Он смеет решать, какое положение занимает писатель в столичной иерархии имен? Кто дал Ему право называть такие-то и такие-то журналы (и печатающихся в них) «передовыми», а такие-то и такие-то «отстающими»? Немзер не был столичным высокомером. Он носился с саратовскими Володиным и Слаповским едва ли не больше, чем с Владимиром и другими известными именами. Но в отношении к тем, кто, по его понятиям, не входил в избранный круг, он оставался нем и глух. Может, потому, что никогда не имел дела с провинциальным болотом, из которого я выполз, со всей этой несчастной

и большей частью, конечно, графоманствующей публикой, что не могла удостоиться даже разгромной статьи в модной газете «Сегодня», так как писать о ней было ниже достоинства этих московских ребят. Да и зачем им замечать разных палькиных, тюлькиных, клячкиных, скороходов, высшим достижением которых становилась пятилетняя учеба в благоволящем к провинциалам Литинституте? Но я-то знал, сколько страсти и подлинной любви к Литературе таится в этих тюлькиных! Как они сжигают себя на этом ледяном огне! Как они маются, не имея с детства стартовой площадки для творческого роста и взлета! Как несправедливо обошлась с ними жизнь! И я... сам предал этих людей, постепенно затянутый кругом московских имен, которые отвечали рейтингам той же «Литгазеты». Я вышел сухим из болота и не хотел прислушиваться: что там еще чавкает? Я нашел свое Место и не хотел озирается по сторонам. Не оторвал же я задницы и не пошевелил рукой, чтобы ответить на те письма из провинции с чахлыми стишками и блеклой прозой, что часто приходили в ЛГ. В свое время в С. я получал хотя бы вежливые отлупы из московских редакций. Теперь же они отгородились от России словами «рукописи не рецензируются и не возвращаются», и я тоже замечательно жил и процветал за этой стеной.

Да и что я мог ответить этим людям? Если я был бы нормальный московский критик, вроде Немзера, я мог бы, скажем, снисходительно разобрать эти неловкие рифмы и сюжетные штампы. Но меня воротило от них! Это было слишком родное, «родненькое», то, из чего я выламывался со слезами и соплями, — я, не знавший Набокова до поступления в Литинститут и позорно спутавший его с советским поэтом Боковым в первом же московском разговоре. Отвечать — не значило ли писать себе в прошлое? Ведь сказано: негоже псу возвращаться к своей блевотине!

Не в Немзере дело... В Копейкине! В каждом сидит Копейкин.

Как бы...

Со Славой Курицыным я познакомился на квартире Наташи Беккерман в четырехэтажном сталинском доме возле метро «Аэропорт». Окна Наташиной квартиры выходили прямехонько на один из новых роскошных домов аэропортовской писательской жилколонии. Покойные родители Наташи, родившейся с серьезным дефектом ног, имели какие-то связи с писательской средой. Иногда в квартире появлялся кто-то из прежних друзей семьи: например, поэтесса Татьяна Бек, трогательно, по-домашнему зашивавшая Наталье подушки. Но в основном там обреталась литературная богема, московские пленники без работы и прописки. Со временем они женились, выходили замуж или как-то иначе устраивали судьбу и покидали гостеприимный, но несколько безалаберный дом, которому обязана выходом в люди добрая часть моего поколения столичных провинциалов.

Там часто бывали Саша Еременко и Саша Волохов (даровитый поэт-авангардист, теперь священник в отдаленном деревенском храме с женой-попадьей Наташей Михайловой, выпускницей Литературного института). В одно и то же время там можно было встретить энергичного, преуспевающего Вячеслава Пьецуха и мыкавшегося без квартиры с двумя детьми Барыя Гайнутдиннова. Там заводились первые знакомства, завязывались судьбы; там все поневоле были демократами, потому что на всякий звонок в дверь залившимся лаем отвечал невоспитанный эрдель Джой и без чинов провожал на кухню, где за обеденным столом чинно, словно в рабочем кабинете, восседала Наташа Беккерман и всех встречала с несколько насупленным видом, как бы давая понять: «Не думайте, господа, что тут все позволено! Вы находитесь в доме, где бывают солидные люди...» И это было почти правдой, несмотря на то, что эти люди обычно не имели копееки в кармане, пили как лошади, дымили как паровозы и дрались так же нелепо, как подзаборная шпана...

Сюда в середине 80-х меня привел Меламед. Не слишком памятливым на первые встречи, я, однако ж, хорошо запомнил Еременко и Волохова, играв-

ших с Наташей в модную буржуазную «монопольку», а потом в третьем часу ночи отправившихся на двор поразмяться, то есть шутя помахать ножами на баскетбольной площадке. Мы с Игорем вышли за ними, и я горько сожалею, что эта сцена не была снята на пленке: знаменитый поэт-метафорист и без пяти минут сельский батюшка ширялись кухонными ножами при фантастическом свете полной луны, а рядом метался, задыхаясь от лая, обеспокоенный Джой...

Знаменательно, что этот пес помер именно тогда, когда сами собой прекратились наши сборища. Его собственноручно закопали в Тимирязевском парке Игорь Меламед и нынешний заместитель декана РГГУ Дима Бак. И тогда же скоростижно скончалось другое загадочное существо — Саша Смирнов, инвалид какой-то там группы, невероятно полный, сорока с чем-то лет мужчина, с женой и квартирой, который приходил сюда каждый день строго в 12.00 и сидел на кухне строго до 18.00 (с часовым перерывом на домашний обед). Он ни хрена не делал, а только курил сигарету за сигаретой, внимательно слушал проходящих людей, рассматривая всех немигающим взглядом, и порой отпускал совершенно бессмысленные реплики, на которые, впрочем, всегда нашего странного московского клуба не обращали никакого внимания.

Здесь в начале 90-х годов я встретил высокого кучерявого симпатичного мальчика с некрасивой девочкой, с которой он постоянно шептался, обнимался, целовался — словом, занимался тем, что американцы называют «making love» и что, вероятно, было демонстративной прелюдией к «making sex». Бросалось в глаза, что ребятам чертовски приятно заниматься этим прямо на людях, краешком глаза наблюдая за невольным смущением остальных. Потом я узнал, что в это время на Западе происходило нечто вроде бархатной сексуальной революции: молодые люди на пляжах «делали любовь» да и просто трахались, получая дополнительное наслаждение от посторонних взглядов. И потом я не раз замечал, что в своих вроде бы самых простых поведенческих жестах Слава всегда стремился, что называется, «соответствовать». Скажем, во времена разгула тинэйджерства он ходил на подростковые дискотеки, хотя признавался, что не любит танцевать. В Белграде он затащил на танцы пятидесятилетнего «Дмитрия Александровича» Пригова, внушив, что нынче модно вот эдак оттягиваться вместе с наколотыми синтетическими наркотиками юнцами; и мне говорили, что старый поверил и скакал козлом.

Выяснилось, что мал.чик из Свердловска, что он печатается в «Литгазете», куда я только навострял лыжи, что дома он оставил жену и двоих детей и собирается с этой девочкой эмигрировать в Израиль — такая роковая любовь! А через день в «Литературной газете» добрый редактор Лиана Степановна Полухина сокрушалась при мне:

— Славочка едет в Израиль! Ах, он там пропадет!

Лиана Степановна гордилась тем, что открыла Курицына на молодежном семинаре критиков под Ленинградом. Но и мрачноватый Игорь Золотусский к нему благоволил. Потому что Слава очень талантливый! А Игорь Петрович ценил молодые таланты, невзирая на идейно-эстетические с ними разногласия. Я это почувствовал на себе, как и то, что Курицын меня опередил и по части редакционных симпатий уже снял сливки, оставив мне одно молоко. (Тогда я еще не знал, что и это молоко мне не пить вечно и вскоре придется стать дойной коровой.) Всякий бывший провинциал непременно отмечает в своем сознании такие «опоздания».

Славе не было и тридцати, а он уже матерел в лидера московского постмодернизма. В свердловском же его лидерстве не приходилось сомневаться, тем более что он, в отличие от меня, бравировал своим провинциализмом, всячески подчеркивая, что Москва — ничто в сравнении с седыми камнями Урала, якобы заряжавшими его волшебной энергией. Он уже побывал в Европе и США, издал книжечку (почему-то с израильской звездой на обложке), обсеменял статьями толстые столичные журналы (не везде эти семена прижились) — но все

это делалось как бы на бегу в перерывах между прибытием и отправлением поезда «Москва—Свердловск».

Нелишне добавить, что Слава в то время много пил и с утра похмелялся (что в моих глазах — страшное дело!), волочился за каждой юбкой и имел на этом поприще большой успех, работал в свердловской многотиражке, составлял сборники уральского андеграунда, пробивал издание журнала «Лабиринт—Эксцентр», то и дело мотался в Ленинград, вдохновлялся сумасшедшими проектами, писал прозой и стихами, делал какие-то «инсталляции» и еще позволял себе часами болтать со мной и Меламедом, словно никуда не торопился и прибыл в Москву попить водочки и пообщаться. В какой бы редакции я ни побывал, везде слышал о Курицыне, который был «вот только что». Через полчаса я звонил Наташе, и она говорила, что Слава давно сидит с Еременко и оба прилично нализились.

— Ба! Да он только что был в «Новом мире»! Мне это верно сказали...

— Да что вы! Он давно здесь! Он лыка не вяжет!

Я мчался к ней и своими глазами видел Славика, который очень натурально не вязал лыка. Из правого кармана торчал билет на свердловский поезд, отходивший через час. И вот до того момента, когда он ватной походкой отправлялся на вокзал, я тоже успевал прилично нализиться!

Как-то я заметил, что он никогда не смотрит на часы. Выяснилось, что часов тех нет. «У меня врожденное чувство времени», — объяснил Слава. «Который теперь час?» — спросил я. Он выпалил с точностью до минуты.

Во всех его писаниях и поступках чувствовался слишком индивидуальный почерк, который даже в мыслях нельзя было примерить на себя. Оттого и завидовать было невозможно. Всякого человека Бог и Природа создают в штучном варианте, но к некоторым экземплярам они добавляют еще какие-то — в общем-то совершенно излишние — черты, вроде негритянского происхождения Пушкина. Эти черты — «маргинальные», как говорят нынче, — Слава и развил в себе до совершенства; из них-то и вырастал его писательский образ.

Через шесть лет знакомства с ним вдруг выяснилось, что я ничего не знаю о его происхождении. Кто мать и отец? Есть ли родные братья и сестры? Крещеный ли? Фамилия Славы очень древняя. Род дворян Курицыных идет чуть ли не с основания дворянства. Были знаменитые дядки Волк и Федор Курицыны, в XVI веке перебаламутившие Московское царство ересью жидовствующих. В Тверской области я встречал целые деревни с этой фамилией, как Собакиных на Новгородчине. Слава мог бы гордиться своей фамилией, но предпочел сделать ее объектом иронической игры, печатая статьи под названиями «Смена птиц» и подписывая их псевдонимом Вацлав Птенц.

Когда он полетел в Новосибирск хоронить мать, я подумал: «Оказывается, была мать... Оказывается, в Новосибирске...» Но ни тогда, ни потом не спросил его: кем была мама? Жив ли отец? Зато я знал, что в его свердловской квартире жила розовая крыса с длиннющим голым хвостом, который придавил дверь какой-то Богданов, и пришлось ее срочно госпитализировать и делать операцию. Я знал, что он был одним из лучших футболистов свердловской юниорской сборной. Злой тренер из вражеской команды подослал игрока с заданием перебить Славу ноги во время игры — Слава отделался серьезной травмой и выпал из спорта. Я знал, сколько пива он выпил в ирландском пабе; знал, что не любит наркотиков («не мой стиль!»), не имеет костюма, не курит, пока не выпьет, и всегда носит с собой таинственный предмет, ни на что не похожий и стопроцентно бесполезный, называемый Идеальной Вещью.

Было что-то странное в наших отношениях. Я ненавидел в литературе все, что Слава любил: Пригов, Сорокин, Пелевин и вся эта постмодернистская дребедень. Не было ни одного литературного имени, на котором бы пересекались наши интересы. Но именно по этой причине мы нашли общий язык. Нам с ним нечего было делить... Встречаясь в «Литературке», мы держались эдакими полководцами из враждебных станов, которые за бокалом вина в тенежке позволя-

ют себе потрепаться об искусстве ведения войны вообще, пока конкретные солдаты проливают кровь на поле сражения.

«Зачем ты завалил N.? — лениво говорил Слава об очередной моей громкой статье. — Ведь и дурак знает, что N. графоман». И не стоило объяснять, что это сделано в целях литературной санитарии, что одна из неприятных задач критики, как написал Золотусский, — это расчистка авгиевых конюшен. Слава выслушивал, кивал головой и как бы между прочим ронял: «Конечно... Скандал тебе полезен». И странное дело: я не спорил, хотя и не помышлял о скандале! В речах Славы чувствовалось не только понимание, но и одобрение. И мне даже льстило, что он находит справедливым завалить маститого N., чтобы выделиться за его счет.

— Ты, Басинский, тоже постмодернист... Вот подучишься, повзрослеешь и полюбишь Пригова с Сорокиным. Это ты прикидываешься, что их не любишь, а любишь разных там реалистов, Павловых и Варламовых... На самом деле твоя любимая книга «Тридцатая любовь Марины».

Надо было слышать, с какой интонацией это говорилось! Юмор заключался в том, что я действительно два или три раза внимательно листал скандальный роман Сорокина, пытаюсь понять: что Слава находит в этой прозе... и чем она так цепляет и меня? В чем-то похожем признавался мне покойный зоценковед Юрий Томашевский:

— Читаешь Сорокина — гадко! Комсомольцы грызут черепа... бр-р-р! Но как помотришь на нашу жизнь — а ведь и правда все это...

Он был моложе меня. Он не мог и гвоздя забить, а я разбирал до винтика свой старый «жигуленок». Он (по крайней мере тогда) не читал толком ни русской, ни зарубежной классики, заиклившись на адаптированных переводах Бодрийяра и Деррида. И все же я понимал, что в стратегии провинциального литературного поведения он, а не я, настоящий ас. *В нем не было синдрома Копейкина.* Я так и не знаю: был ли Слава когда-нибудь унижен и оскорблен Москвой или вошел в нее легко и просто, как нож в масло? В этой связи напрашивается похабнейшее сравнение: Слава как бы вздрючил литературную Москву, но сделал это настолько неагрессивно и обаятельно, что дама вначале ничего не поняла и решила, что перед ней наивный мальчик.

Маститые литераторы наперебой помогали Славе. Лев Аннинский выдвинул его в номинаторы Букера. Но дело кончилось нехорошо. На первый же банкет Слава пришел от Наташи вдрызг пьяный. В конце он трогательно вспомнил о нравственном долге перед оставшимися на квартире гостями и стал набивать пакет или даже карманы бутербродами с красной икрой и одновременно толкал локтем надутого от сознания своей гениальности стихотворца Деметьева и в десятый раз просил его выпить за здоровье Богданова. Был скандал, и его исключили из номинаторов.

Другой провинциал (я, например) на его месте сказал бы: «Надо, старичок, меньше пить! С Москвой следует быть осторожней, это тебе не свердловская кухня!» Но Слава так не считал. Он быстренько напечатал в газете сообщение, что его позорно изгнали с букеровской церемонии... за кражу серебряных ложечек. Это было характерно для него: публичное разоблачение своего несуществующего второго Я, как бы остранение персоны № 1 в персоне № 2, с которой можно поиграть как с эстетическим фактом и которая находится за пределами моральных критериев. В данном случае Славин грех оттягивали мифические серебряные ложечки, которых, разумеется, не было на банкете, но которые традиционно считаются как бы Идеальным Объектом Для Воровства.

Прием изящный, но и мошеннический. Так уличный наперсточник проигрывает на ваших глазах стоящим возле него «толпой» подельникам, чтобы завести вас и очистить ваш кошелек. Кстати, в московской библиотечке Славы, состоявшей из десятка, очевидно, самых необходимых книг, рядом с Деррида, Бодрийяром, Лавкрафтом и чем-то еще я видел справочник по картам и азартным играм.

Ни в какой Израиль он не поехал. Зря волновалась Лиана Степановна. Через год обосновался в Москве со второй женой Ириной, яркой и эффектной женщиной, которая как нельзя лучше играла на новый образ «московского» Славы. Как-то в статье он не то пошутил, не то всерьез обмолвился, что настоящий писатель, если хочет чего-то добиться, и жену должен выбирать в согласии с модой. В моде блондинки — женись на блондинке! Коли ремесло требует!

Ира была блондинкой.

И Слава ее, несомненно, любил. И семью он оставил, конечно, по причинам более прозаическим. И в Москву перебрался затем же, зачем оставляли и оставляют родные гнезда большинство провинциалов: они перерастают нищие возможности местной печати и элементарно устают от поездов, на которых возят рукописи в Центр — а по почте и факсам не сделаешь и сотой доли того, что сделаешь на месте. Да и накладно это! И тяжело быть белой вороной в провинции; проще затеряться в стае белых ворон, осевшей в Москве... Как говорил мне талантливый тверской поэт и прозаик Евгений Карасев, получивший премию «Нового мира» и побывавший на столичном банкете:

— Что хорошо в Москве? О литературе не говорят! Просто выпивают и закусывают...

В Москве провинциал может работать «под шумок». Недаром столица привлекает всех карманников и наперсточников. В провинции это невозможно. Там тебя мгновенно вычисляют и проводят по своим стандартам. Там надо быть «своим», понятным для всех. У себя дома энергия талантливого провинциала направлена на добровольное самоограничение: нельзя — запахло! — выделяться на фоне своих братьев с такими же ограниченными внешними возможностями. Это все равно, что жировать в блокадном Ленинграде. Для провинциала бегство в Центр — это не только предательство родного места, но и возможность распрямления внутренней пружины без вреда для окружающих. Толкаться локтями в Москве, где пространство материальное гораздо меньше пространства психического, — нормальное дело. Но в провинции — все наоборот. И перед натурой энергичической там стоит выбор: либо отрекаешься от своего Я и подчиняешь его требованиям родного места, либо мчишься в Центр и снимаешь внутренний стопор. И тогда все зависит от того, насколько плотно была зажата пружина, сколько газа накопилось в бутылке шампанского. Самое неприятное открытие — это когда вместо звонкого хлопка раздается тоскливое «п-ш-ш-ш» и пробка лениво валится на пол.

Бутылка «Слава Курицын» не сказала «п-ш-ш-ш». Через короткое время он стал едва ли не самым цитируемым московским критиком. И не важно, что комментари к этим цитатам, как правило, имели такой смысл: «Вот шельма-то! Вот прет-то!» Магическое словечко «постмодернизм», заряженное энергией «седых камней Урала», не подвело свердловского Аладдина — Сезам раззявил рот, а закрыть был уже не в силах. Московская интеллигенция всегда болела страхом отставания от Запада и на провокацию Курицына, объявившего постмодернизм общим состоянием европейской культуры («на дворе осень»), должна была как-то отвечать.

Но о постмодернизме многие кричали. Я думаю, что феномен Курицына состоял в ином: он взорвал представление о литературном авторитете. Он сам себя объявил авторитетом и повел себя так, словно в этом никто не мог сомневаться. И московская критика оказалась в глупейшем положении: она как бы должна была доказывать, что все-таки сомневается в величии Славы Курицына:

— Да не может быть!

— Да, правда, сомневаемся!

— Да перестаньте...

Этот трюк он проделал не столь простодушно, как Игорь Северянин или «куртуазные маньеристы», в общем-то милые, но чересчур жадные до славы и денег ребята (с одним из них, шумным молдаванином Витей Пеленягрэ, нынче

пишущем тексты для песен Андрея Крылова и Лаймы Вайкуле, я учился на одном курсе Литинститута), но с виртуозностью шахматиста, который не хапает фигуры налево и направо, а вынуждает противника принять свои правила игры и давит его неизбежностью развития заданной шахматной ситуации.

Что бы он ни делал — все работало на его литературный имидж! Как-то отдел критики ЛГ попал в сложное положение: нужна была рецензия (конечно, положительная) на книгу прозы Вячеслава Костикова, тогдашнего пресс-секретаря Президента. Писать об этой книге (конечно, плохой) никто не хотел. Но вот Курицын тотчас вызвался и написал нечто туманное, но положительное. Изюминка была в том, что на дворе действительно стояла «осень», середина 90-х годов. С шестидесятическими иллюзиями было покончено. Либеральная интеллигенция благословила расстрел парламента, и понятия «героизма» и «конформизма» уже не имели актуального смысла. Газеты втихаря сатанели и продавали себя целыми полосами, печатая скрытые коммерческие материалы, за которые автор или редакция получали чистоганом. «Литературка» в то время как раз не занималась этим, что объяснялось скорее ее старородностью, а не какими-то принципами.

Но писать «на заказ» статью о прозе большого чиновника — это слишком! Это смотрелось как явная и наглая продажа, но главное — неизвестно за что... Не деньги же Костиков заплатит! Это было бы ниже его достоинства. В общем, ситуация была настолько идиотской, что один Курицын мог в нее войти и выйти невредимым. Что-то проворчал о конформизме прямодушный Андрей Немзер. По сей день ворчит о сервиллизме Бенедикт Сарнов. Но в основном литературный народ пожимал плечами и спрашивал: что, собственно, такое сделал Слава? Явно что-то нехорошее, но что? И это работало на него — все эти шепоточки редакционных дам.

А Слава, в сущности, выручил отдел, позволив не замараться в дерьме, вдобавок совершив благородный жест в отношении газеты, в штате которой даже не состоял. «Литературка» барахталась в финансовом кризисе, и влиятельный Костиков мог быть ей чем-то полезен.

Но порой он делал более грубые жесты. Поругался в печати с Аллой Марченко, которая (проницательно, как я потом оценил) назвала его «прирожденным антилидером с волчьей хваткой». Напечатав о Марченко издевательские строчки в ЛГ, на второй день после выхода газеты он отправился в «Новый мир» со своим новым романом (Марченко работала завотделом прозы). Жест был неловкий: отказать Славе значило расписаться в необъективности, но надо быть круглым простаком, чтобы не заметить этой наживки. Марченко, редактор опытный, на крючок не попала, и проза вернулась к Славе в девственном виде, не оскверненная редактурой и публикацией. И все-таки он добился своего. Марченко сыграла роль тех самых серебряных ложечек. Все равно непонятно было, кто возвратил рукопись: строгий редактор или обиженный критик?

К литературе он относился странно: как к доброй и даже ценимой, а все-таки некрасивой любовнице. Если бы получилась его футбольная карьера, он стал каким-нибудь Марадоной, божком для бесноватой толпы и дорогим товаром для зарубежных клубов, это больше бы его устроило. Он рвался в кино, в газеты, в глянцевые журналы, он с радостью пошел бы на ТВ — и по мере возможностей делал все, что было наиболее перспективным. Но везде он следовал одной цели: поставить автограф на Деле, в собственный смысл которого не верил... Однажды он объяснил мне, что такое постмодернизм:

— Это просто способ кайфового существования в бессмысленной и заранее проигранной ситуации.

На это мне нечего было возразить. И с некоторых пор я перестал спорить со Славой и только следил (не без некоторого восхищения) за кульбитами его поведения, стараясь не пропустить того момента, когда мой провинциальный брат свернет себе шею. А в том, что это непременно однажды произойдет, я не сомневался.

Это был Человек Пустоты — понимайте как хотите. Экзистенциальное переживание Пустоты в нем было развито с невероятной силой. Когда он делал интервью с Сашей Иванченко и тот заговорил о Пустоте как категории дзэн-буддизма, Слава перебил его:

— Давай помолчим и запишем на диктофон молчания минут на сорок...

И весь дальнейший «важный» монолог Иванченко о бессмысленности произнесенного слова прозвучал забавной опереттой на фоне этого действительно важного признания. Можно поговорить. Можно помолчать. Можно поговорить, потом помолчать. Можно помолчать, потом поговорить. Но суть будет одна — Пустота, Пустота...

Ему понравилось название моей статьи «Чучело России».

Он носился с ним как дурень с писаной торбой и говорил, что это гениальный «симулякр», хотя раньше не обращал внимание на мои публикации.

— Молодец, Басинский! Чучело того, чего нет!

— Отчего же нет, Слава?

Он махал рукой: дескать, не делай из меня идиота. Какая там еще Россия? Нет ее! Ничего нет! Не валяй хотя бы при мне дурака!

Я полагаю, что и его симпатии к прозе Пелевина объясняются тем же. И его несколько экзальтированное преклонение перед Приговым. Его восхищало, с каким блеском «Дмитрий Александрович», не написавший ни одного настоящего стихотворения, обрабатывает роль Великого Поэта во времена, когда поэзия невозможна. Тезис о «невозможности Поэзии» был произнесен задолго до Пригова (Георгий Иванов, Георгий Адамович). В ситуации 90-х годов, когда все поэтические приемы тотально обнажились, эта тема, быть может, стала самой главной. Но едва ли она всерьез волновала Курицына, на моих глазах впервые прочитавшего Фета и способного печатно вымолвить слова: «Блок поэт, конечно, никакой...» Но Слава обладал глубоким отрицательным чутьем и завидовал деловым качествам Пригова, водрузившего над обесмысленным поэтическим пространством образ Великого и Ужасного... мошенника. Он готов был семенить за ним и заниматься черной работой: пропагандировать и растолковывать Пригова, то есть предлагать всем прежде его прочтения водрузить на нос зеленые очки.

Одного он не понимал или делал вид, что не понимает. Пригов оставлял за собой тылы. У него было прошлое — поэтический андеграунд 70—80-х годов. Он был известен в Германии как модный живописец-модернист. Он обладал мощным голосом и не слабо делал свои оратории. На крайний случай он имел лазейки. А Слава был нищ и наг перед своей Пустотой. Сколько ни толкался он в разные солидные места, вроде филологической тусовки «Нового литературного обозрения» или интеллектуальной секты «AD Marginem» («На краях»), возглавляемой популяризатором новейшей философии А. Ивановым, его везде принимали за «просто Курицына» (некто-От-Кого-Можно-Ждать-Чего-Угодно-Но-Не-Серьезного-Дела) и в свое масонство не посвящали. Он искренне переживал. Он хотел быть нормальным филологом, философом, преподавателем... Но... «Ах, этот Курицын...» — растягивала рот в насмешке какая-нибудь влиятельная московская фря, не обладавшая и тысячной долей его энергии, его таланта, но вовремя сообразившая оседлать перспективное дельце и в нужном месте произнести правильные чужие слова. И все! Двери захлопывались перед его носом, и за ним наблюдали через щель: что наш миляга еще отчебучит, чем на этот раз нас позабавит.

И миляга забавлял и отчебучивал... Он печатал в «Знамени» статью о том, что его роль в русской культуре примерно равняется пушкинской: высокое национальное признание и недостаточное мировое. Он организовывал в Свердловске Дни Своего Имени, куда приглашал знаменитых Пригова и Кулика и где с него торжественно снималась гипсовая маска, а в центральной библиотеке выставлялись книги, которыми он пользовался в юности. По возвращении он выколачивал из московских газет информацию о Своих Днях, соглашаясь на любые издевательские формы подачи. И те писали о нем всякие забавные га-

дости, и все он безропотно сносил. А что творилось в его душе — Бог ведает! ибо я еще не встречал человека столь же скрытного, сколь и общительного.

Вслух он не любил говорить о себе и тем выгодно отличался от разнообразных московских дятлов, что на «круглых столах» долбят: «я считаю», «я полагаю», «мне представляется», — произнося это с такой важностью, словно за этим последует цитата из Монтеня или Шопенгауэра. Он обладал железным иммунитетом против обиды и даже, напротив, радовался, когда в печати его ругали. Кажется, достал его один Ефим Лямпорт, написавший в «Независимой», что Слава только тем и занимается, что высиживает и оберегает свои постмодернистские яйца. «Надо ему самому эти яйца оторвать!» — проворчал Слава. Но это не характерно для него. Я ругал его еще и похлеще, но это не сказывалось на наших товарищеских отношениях. Однажды он сказал:

— За что мне нравятся твои статьи, Басинский? В каждой есть что-то про меня!

И это не было сильным преувеличением. Меня упрекали в том, что я слишком часто писал о Курицыне и постмодернизме. Я пытался говорить, что Слава и его статьи — штука непростая, довольно серьезная, потому что знаковая. Солидные люди поднимали меня на смех и отвечали, что Курицын обычный пустобрех. Но тогда объясните мне: каким образом этот пустобрех навел смуту в московской литературе и заставил говорить о себе равнодушное общество? Или это общество сошло с ума, как в «Бесах» Достоевского, или его в тот момент просто не было, а было нечто, не способное сопротивляться воле энергичного проходимца. А то, что Курицын гениальный проходимец, я понял тогда, когда задал себе наивный вопрос: о чем же пишет этот человек?

Да о себе и пишет! И не скрывает этого, а прямо объявляет себя Целью и Смыслом. И он со злорадным любопытством следил, как Москва сдается шаг за шагом. Он расставлял фигуры на доске таким образом, чтобы московская литература, не помня себя, играла партию по заданной им схеме. Не исключая даже, что он втайне вел какой-нибудь альбомчик, в который на манер Михаила Булгакова собирал газетно-журнальные отзывы о себе.

Но всякая игра имеет пределы, за которой становится тоскливой обязанностью. Все реже его глаза вспыхивали озорством, когда при встречах я сообщал, что там-то и там-то о нем написали нечто зубодробительное. На одной тусовке, где были столичные бонзы и сделавшие карьеры московские пленники, я показал ему журнал, где известный критик написал о нем следующее:

«В минувшем декабре сижу за банкетным столом на заключительной церемонии вручения Букера, и вдруг моя жена с некоторым ужасом говорит: «Погляди! Кто это?» Глянув, вижу akurat меж головами сидящих напротив посла Англии и Елены Георгиевны Боннэр... парня в майке не то майке, не то ковбойке, который то и дело чешется. То голову чесанет, то, виноват, противоположную часть тела. Приглядевшись, узнаю фигуру — в одном, очень определенном смысле — знаковую...»

В том, что Слава не обидится на это, я не сомневался. Но и не предполагал, что отнесется с такой скукой.

— Я это читал...

И я заметил в его глазах злое ленивое торжество. Ну, как же! Это просто в десятый или сотый раз выигранная шахматная партия! Выигранная классически, но слишком просто, чтобы раззадорить игрока. Известный критик и не заметил, как попал в силки. Вот он, легендарная фигура 60-х, со своей женой. Вот бинокль в форме посла Англии и вдовы крупнейшего правозащитника XX века. И кто же виден в этот бинокль? — наш пострел!

Разговор не клеился. Слава встал и, как бы спохватившись, сказал:

— Что это мы сидим? Надо же ходить!

И он пошел «ходить», то есть «засвечиваться», то есть фланировать среди московских бонз... И я вдруг понял, что выпивка выпивкой, разговорчики разговорчиками, а Слава Курицын — на работе. На тяжелой, ответственной, но очень скучной работе.

Иногда мне кажется, что настоящий Слава все-таки уехал тогда в Израиль с той некрасивой девочкой. Он пал смертью храбрых на Голанских высотах. Или не пал, а, напротив, выбился в богатого тель-авивского банкира, нарожал детишек, строго блюдет свой шаббат, не ест из гойской посуды и позволяет себе единственную связь со прошлым: по вечерам азартно болеет перед экраном за российский футбол. А этот Слава — несчастная тень того мальчика, что по дороге в Израиль как бы ненароком обронил в Шереметьево-2... свое Имя, словно пустую пачку из-под сигарет. И вот это Имя томится, ищет своего оправдания, которого нет. И вся его так называемая творческая деятельность, вся эта ироническая, эгоцентрическая и невероятно опасная игра все больше отзывается бесконечным и тоскливым воем:

— Я... СЛАВА! КУРИЦЫН! СЛАВА! Я...

И не понять: себя ли он в мире заявляет или кого-то горестно зовет?

Вместо эпилога

Я иду, шагаю по Москве... Здравствуй, столица! Здравствуй, родная! Ты неплохая, в сущности, тетка! Ты возвратила все свои долги и даже — сверх того. Жаль только сдачи дать мне тебе нечем. У меня машина, квартира, прекрасная жена, мой сын учится в школе и ходит в зоопарк и не трясется в восторге от «лестницы-чудесницы», как я когда-то... У меня есть замечательные московские друзья: Игорь Меламед, Саша Яковлев, Олег Павлов, Алексей Варламов... Половина из них такие же москвичи, как и я. Зато с ними можно выпить, поболтать, смотаться в деревню, а мой дом недалеко от Спасского-Лутовинова...

Я работаю на заказ. Но это не тот заказ, что когда-то предлагал мой земляк в «Литгазете». В неизвестное время слышится звонок:

— Павел Валерьевич... Не соблаговолите ли ознакомиться с книжечкой и написать о ней?

— Отчего нет? Конечно!

И я сажусь за свой боевой «Pentium», и пальцы мои легко танцуют по клавиатуре. Я настраиваю их, как Рихтер и Горовиц, хотя на самом деле работа критика — это работа сапера. Недавно мне сказали, что меня похвалил сам С. Если бы услышал такое в провинции, так, наверное, помер бы от счастья! Сейчас — только обрадовался.

Недавно я зашел в храм Святой Троицы в Годуново, что рядом с моим домом на Мневниках. Раньше, слушая Высоцкого («По дороге в Мневники /Голду Мейер я словил/ В радиоприемнике»), я считал, что Мневники где-то на куличках, как Свиблово и Медведково. А это — четыре перегона метро от станции «Пушкинская», где стоит Литинститут. Мневники — очень древнее место, его любили Иван Грозный и Борис Годунов. Деревня Мневники получила свое название от мня (мень, меньдюк), то бишь налива. Берега Москвы-реки здесь песчаные, и когда-то в ней ловили мня и доставляли на царский двор. Храм Святой Троицы построил еще Годунов в шестнадцатом веке. Он стоит на высоком откосе, с которого открывается дивный вид на Москву-реку и отвратительный на обезображенные современной стройкой Фили. Напротив фасада церкви советские негодяи построили стойбище для машин: здесь отдыхает и мой «жигуленок». И ничего не поделаешь — не сгонять же две тысячи ни в чем не повинных частников с насиженных и пробензиненных автомост!

Было Прощеное Воскресенье. В храме заканчивалась служба. Пожилой благообразный священник с притчем пошли «в люди». Они смешались с толпой прихожан и наравне со всеми молили о прощении:

— Простите, православные!

— Бог простит!

— Простите...

— Бог простит!

Вдруг случился конфуз. Стоял невзрачный мужичок — не пьяный, но «выпимший». И вот он не вынес напряженного благолепия момента и сорвался в истошный вопль:

— Простите, православн-ы-ия! Простите скота, мерзавца! Простите, если можете! Гад я! Какой я гад!

И так это он искренне закричал, что кто-то даже засмеялся, и на лице священника я вдруг заметил выражение простого человеческого понимания, какого-то бытового в своей основе. Вроде того: «Да ладно тебе, Вася! Будет шуметь-то... Шел бы домой спать!»

Я посмотрел на мужичка и вздрогнул! Небритый, низкорослый, коротконогий... Но не бомж, а скорее «челнок» или командировочный. Из-под синей болоньевой куртки виден неопределенного цвета клетчатый пиджак. Воротник желтой рубашки нелепо торчит одним углом, из-под него выгибается горделивой дугой широченный цветной галстук. Кроссовочки «Adidas». И белый круглый значок на лацкане: «ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ? СПРОСИ МЕНЯ КАК!»

Да что это со мной?

И вдруг я понял.

Это ведь совсем не мужичонка плачет. Это плачет, исходя последней дурной кровью и непрошеными обидами, моя глупая провинциальная душа.

26 апреля 1997 года



Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

Страхи взрослые и детские

«Не искушай меня без нужды...»

Еще совсем недавно казалось, что в нашей стране установлен прямо-таки директивный плюрализм. Ну, буквально ни по одному вопросу не было согласия. Даже само слово «консенсус», столь модное в романтический период перестройки, слетя с высоких трибун и став достоянием масс, произносилось сперва юмористически, потом иронически. А после октябрьских событий 1993 года приобрело оттенок зловещего гротеска и, наконец, было благополучно списано в утиль.

Но сейчас основа для будущего консенсуса, похоже, опять начала вырисовываться. Самые непримиримые антагонисты: выбороссы, жириновцы, социал-демократы, коммунисты, «Женщины России» и «Любители пива» — единодушно осуждают разгул преступности и сходятся на том, что мерам по борьбе с ней надлежит стать решительными и неотложными.

И журналисты, эти страстные спорщики по вопросам реформы, капитализма и социализма, войны в Чечне, распада государства и проч., здесь, будто вспомнив архаический призыв интеллигенции «Возьмемся за руки, друзья!», единым журналистским фронтом выступают против «обнаглевшей криминальной мрази». Статьи, авторские телепередачи, радиоинтервью, «круглые столы»... И везде вопросы, звучащие с возрастающей тревогой: что делать? Как погасить смертоносный пожар? Ну, и, конечно, всех волнует молодежь, которая чем дальше, тем больше втягивается в орбиту преступного мира.

И действительно, разве это может не волновать? Нас возрастающая криминализация общества тоже очень волнует. Но мы хотим посмотреть на нее под несколько другим углом.

Пожалуй, впервые этот угол зрения обозначился для нас во время передачи на ТВ, в которую нас пригласили в качестве участников. Тема как раз была та самая: детская и молодежная преступность. И все вроде бы было правильно — люди ужасались, возмущались, выражали гнев и озабоченность, справедливо обвиняли государство и общество в бездействии, наконец, констатировали закономерность и неотвратимость роста преступности в переходный период истории. А нас не покидало чувство, что, с одной стороны, да, верно, а с другой...

Почему-то, рассуждая о криминализации общества, никто не затронул тему криминализации сознания. А это, уж если серьезно думать о причинах преступности, и есть, по нашему мнению, самое главное. Кажется, все знают, что «вначале было Слово», но, похоже, воспринимают это метафорически. А зря. Слово действительно творит реальность. Особенно новую. Особенно в России. Здесь вообще все с разговоров начинается.

«Процесс пошел» с первых же лет перестройки, хотя тогда еще было не очень понятно (а многим и совсем непонятно), куда он придет. Криминальная жизнь — проституция, тюрьмы, лагеря и колонии, нравы и обычаи уголовников и многое другое из этой же серии — внезапно оказалась в фокусе общественного зрения. Да, конечно, при этом преследовались наиболее благороднейшие цели, главная из которых — показать наконец-то людям после стольких лет тоталитарной лжи правду жизни. Но подспудно происходило и другое. «Чернухи» было так много, что она заслонила собой остальную реальность, и стало даже казаться, что «иного не дано».

Иногда создавалось впечатление, что происходит массовый, грандиозный по своему численному охвату актерский тренинг по системе Станиславского: целой стране предлагают вжиться то в образ валютной проститутки, то в образы воров в законе, то — в лучшем случае! — бомжей. Эти кампании волнами прокатывались по страницам газет и журналов. Собираясь за праздничным столом, вполне приличные и честные люди тратили уйму времени на обсуждение этих животрепещущих вопросов. Женщины, чуть ли не с завистью рассказывая друг другу о баснословных заработках «центровых», не стеснялись сидевших рядом, часто совсем незнакомых, мужчин. А те, в свою очередь, очень гордились информированностью об отличиях «сук», «козлов» и «опущенных», и каждый старался показать, что знает больше остальных. (Вот и мы, женщины, зачем-то знаем теперь эти слова, хотя, право же, не стремились их узнать. Но от них некуда было деться. Они вторгались в наши дома и головы без спроса.)

Очень быстро акценты стали смещаться. Заняв центральное (или центровое?) место в средствах массовой информации, искусстве и соответственно в общении людей, преступная жизнь начала активно — столь же активно, сколь и внедрялась, — романтизироваться. Песня «Путана» буквально трогала до слез. Песня «Поворую — перестану, я вот-вот богатым стану...», доносившаяся из каждого рыночного ларька, как-то так незаметно прилипала, что ее потом целый день хотелось мурлыкать себе под нос. Может, скоро появится заволаживающая песня киллера?

Кроме музыки, «проживанию» уголовных ролей чрезвычайно способствовало кино. Прогремевшему на всю страну фильму «Асса», где мафиози были показаны «неоднозначно», пришли на смену другие киноленты. В них преступник откровенно превращался в романтического героя и противопоставлялся злодею-следователю. Появился фильм, в котором популярнейшие киноактеры сыграли любовную страсть убийцы (артист А. Абдулов) и его следователя (артистка М. Неелова). По масштабу это можно было сравнить разве что со страстью легендарных Тристана и Изольды. Героиня ради своего возлюбленного пошла на все мыслимые и немыслимые должностные преступления и в конце концов передала уркагану оружие, которым он при побеге перестрелял половину тюремной охраны. Но с каким же сочувствием к этим «рыцарям любви» сделан фильм!

Прибавьте к этому массу иностранных книг, фильмов, клипов с отчетливо выраженной уголовной тематикой — и картина приобретет еще большую насыщенность.

Сильно изменился за последнее десятилетие и словарь наших сограждан. Средства массовой информации, безусловно, сыграли в этом «направляющую и вдохновляющую роль». Но даже те, кто негодует или иронизирует по поводу засорения языка, кажется, тоже не до конца осознают магическую, если не мистическую, власть слова. Хотя нельзя сказать, что культурная часть нашего общества (а журналисты, по крайней мере формально, к ней относятся) в принципе равнодушна к вопросам лексики. Скажем, когда пятилетний ребенок приносит из сада грязные слова, родители всячески стараются его от них отучить, справедливо полагая, что вместе со словами он переймет и хулиганские манеры, и образ мыслей, и образ действий — ну, в общем, что форма и содержание неотделимы друг от друга.

Но когда речь идет о массовом сознании, эта нехитрая логика вдруг перестает работать. И если уж продолжать сравнивать с детьми, то журналисты, спешащие продемонстрировать все красоты жаргона, гораздо более уместного в устах молодежной банды, подозрительно напоминают хилых подростков, которые заискивают перед хулиганами, чтобы хоть как-то примкнуть к миру сильных.

Причем произошла очень интересная вещь. В литературный и даже официальный язык — ТВ, радио, печать — вошли десятки жаргонных слов, нередко заимствованных прямо из уголовного лексикона. А ведь в нашем языке, как, вероятно, в языке любого традиционного общества, стилистические пласты разграничены достаточно четко, и размывание их неизбежно вызывает сдвиги в общественном сознании. Собственно говоря, мы это сегодня и наблюдаем. Что происходит, когда на страницах газет изо дня в день появляются слова типа: «тусовка», «кусок», «лимон», «наезд», «наскок», «попса», «голубой», «коммуняки», «совок», «задолбать», «опустить», «замочить», «зачистить», «оттянуться», «кинуть», «кидала», «мокруха», «мокрый», «урла», «зелень», «баксы», «капуста», «впарить»? Или когда дикторы «Новостей» и даже президент страны говорят про «разборки в правительстве»? А происходит приучение. Люди вообще склонны подражать образцам. Дикторы, ведущие радио и телевидения — это традиционные образцы для подражания. Раньше язык пьяного или хулигана из подворотни не просто отличался, а резко контрастировал с языком журналистов. Теперь же большой разницы не наблюдается. А выглядит диктор все так же респектабельно, как и раньше. И социальное положение занима-

ет весьма завидное. Следовательно, не он опускается до ненормативной лексики, а она поднимается до нормы. И даже выше — до самого Олимпа! И все население страны оказывается приобщенным к тайному языку воровской «малины» (ведь жаргон и выдуман для того, чтобы чужой не просочился!). Заполучая слова-пароли, все общество пускай мысленно, но включается в эту тайную жизнь. Соответственно границы «малины» расширятся. Сначала в умах, а потом и на деле.

Это с одной стороны. С другой же — литературные и всем понятные русские слова, обозначающие разные безобразия, заменяются иностранными. «Вымогательство» — «рэкет»; «убийца» — «киллер»; «шлюха» — «путана»; «спекулянт» — «бизнесмен», «специалист по маркетингу» или «маршан»; «преступная банда» — «мафия», «мафиозные кланы», «структуры» и даже «криминалитет» (почти «генералитет»!). При этом удается убить двух зайцев: негативный оттенок, присутствующий в знакомом, привычном слове, снимается, а параллельно возникает оттенок чего-то далекого, заморского, с налетом романтики.

Разумеется, мы не сводим все только к алхимии слова. Да, бытие тоже многое определяет. И оно основательно сдвинулось в сторону уголовщины. Торговля никогда не была наичестнейшей из профессий. И когда в стране вдруг столько народу начинает торговать, воздух, естественно, меняется. Но об этом и о многих других, вполне материальных причинах роста преступности достаточно написано без нас. Как и о том, что когда глава государства одним росчерком пера отменяет Конституцию, а затем происходит расстрел безоружных людей в центре города и его показывают по ТВ, то разговоры о законности и правопорядке приобретают до неприличия фарсовый характер. (Об этом неохота писать еще и потому, что теперь об октябрьском беззаконии кричат все кому не лень, в том числе и те, кто совсем недавно требовал «раздавить гадину» и «укрепить руку».)

Мы лучше поговорим о другом. Ну, допустим, два-три года назад еще не все понимали, в какую криминальную реальность вырвет «возрожденная Россия». Но сейчас, когда в одной Москве одних только заказных убийств происходит в среднем по три в день, всем, кажется, все ясно. И что, сделаны хоть какие-то попытки это изменить? Да, конечно, ужесточение законов, контроль за их выполнением, борьба с коррупцией и т. п. насущно необходимы. Но, может, все-таки «не худо на себя, кума, оборотиться»? Может, журналистам, которые, повторяем, внесли весьма осязательную лепту в криминализацию массового сознания, стоит «остановиться, оглядеться»* и поменять наконец тональность общения с читателями, со зрителями — в общем, с людьми?

А то открываешь массовую молодежную газету и думаешь: «А для кого она на самом деле?» Вот один из номеров. Около четверти всего объема составляют реклама, кроссворд и недельная телепрограмма. Большая статья, на целую страницу под выразительным заголовком «Долг грабежом красен». Выразительна и вырезка: «Половина России сегодня кому-то что-то должна. А другая половина вытряхивает долги с помощью бандитов — санитаров рынка».

Может быть, мы живем в иной России? У нас очень много друзей, приятелей, знакомых. Это люди самых разных профессий: психологи, врачи, парикмахеры, учителя, актеры, художники, переводчики, военные, научные сотрудники, журналисты, слесари-сантехники, библиотекари, автомеханики, композиторы, портные, студенты, пенсионеры. Да, кто-то из них потерял деньги, вложив их в «Чару» или «Тибет». Но никто ничего не вытряхивает, а если и должен кому-то из своих друзей (естественно, отнюдь не 15 тысяч долларов, как «бывший нищий инженер», а ныне «крутой бизнесмен Валерка», герой статьи), то отдает добровольно и даже до сих пор обходится без расписки. В провинции таких людей, наверно, тоже большинство. Так что, они не входят в число граждан России? Они — лица без гражданства?

И вроде бы мотив написания статьи автор объясняет финальной фразой: «Признаюсь, никто еще так убедительно не доказывал мне, что лучше жить бедно, но честно». (Хотя тоже непонятно, почему только такой каскад «ужастиков» должен приводить интеллигентного человека к выводу, который для нашей культуры аксиоматичен?) Но, по сути, этот материал знакомит читателя с реалиями уголовного мира. А для желающих это просто инструкция к употреблению: как, например, «раздеть» какую-нибудь фирму или «выколотить» деньги из водителя на дороге. («На старом, побитом драндулете искатели приключений колесят по любой главной дороге, приглядывая жертву посolidнее, но без крутизны, вырливающую с дороги второстепенной и по правилам дорожного движения обязанной их пропустить. Но тут провокатор слегка притормаживает и кивком показывает водителю пригля-

* Цитата из старого стихотворения Александра Аронова.

нувшего авто: мол, проезжай, пропускаю. Тот поддает газу, и в это время поддает газу и побитый драндулет, со всего маху ударяя противника... Из драндулета выходят накачанные ребята... и т. д., и т. д.». Если это не инструкция, то что?)

Очень интересны советы, которые даются читателю устами «разводящего» в теневой мафии (тоже из бывших инженеров) без какого-либо комментария журналиста: «Если накаты продолжаются, лучше всего поискать знакомых среди местных авторитетов и попытаться договориться на толковище... В милицию, как правило, обращаться бесполезно: милиционера к тебе все равно не приставят, а доказать угрозы очень трудно...» Все! Круг замкнулся. Даже если захочешь, не поживешь бедно, но честно. Все дороги ведут в Рим, то есть в уголовную среду.

Впечатляют и другие откровения героя статьи: «Своих занятий я не стыжусь, потому что мы просто делаем за государство его работу... Мы — «санитары рынка»... Иногда представители старой доброй уголки выступают в таких делах (речь идет о взыскании долгов внутри криминальных структур.— **И. М., Т. Ш.**) «разводящими» — своего рода народными судьями...»

Так определитесь же наконец, господа журналисты! О ком идет речь? О «криминальной мрази», «подонках» или о «санитарах рынка», к которым можно прийти за советом и помощью? А может, все определяется тем, наш ли это сукин сын или чужой?

Что ж, такую диалектическую логику мафия бы одобрила. Она тоже кому лютый враг, а кому мать родная.

Но пойдём дальше. Достаточно много места в номере отведено «вопросам пола»: «Роды у беременного юноши прошли благополучно», «В Мексике детям показывают живых сперматозоидов», «Любой мужчина способен заселить своим потомством всю Землю», «У культуристов грудь колесом... А у лесбиянок попка орешком». К последним двум материалам прилагаются весьма выразительные фотографии, на одной из которых изображены лапающие друг друга женщины. И подпись: «...а тут девчонки с ласковыми руками».

Вы скажете: «При чем здесь криминализация сознания и рост преступности? Это же не насилие, а секс. Дело молодое... Как раз для молодежной газеты!»

А вы никогда не задумывались, почему уже очень давно существует клише «секс и насилие»? Почему так много говорят о сексуальной природе агрессии и агрессивном сексе? Почему садизм числится в реестре сексуальных извращений?

Для русского психиатра В. П. Кащенко (да и не только для него) это соседство, а вернее, единство уже около ста лет назад было совершенно очевидным. Давая характеристику детям с асоциальным поведением, он указывал, с одной стороны, на жестокость и разрушительные наклонности, а с другой — на повышенный интерес к вопросам пола и сексуальную распущенность. Эти признаки стояли в одном ряду, представляя собой синдром, то есть набор симптомов, которые существуют в комплексе и находятся в неразрывном единстве.

По меньшей мере наивно думать, что, раскрепощая в человеке низы, можно делать это избирательно: пробуждать одно и оставлять спящим другое. Дескать, пол в нас воссияет, но при этом мы будем кроткими как агнцы. И уж совсем не умно играть в эти игры с молодежью, которая и так отличается повышенной витальностью, повышенной температурой крови. Ее полезно остужать, а не подогревать.

Кто знает, в чем кроется истинная причина бурного роста мировой преступности в XX веке? Может быть, в основе лежит «благая весть» Зигмунда Фрейда, ставшая столь популярной и взятая на вооружение отнюдь не только психиатрией, но и всей культурой Запада? Мы подозреваем тут теснейшую взаимосвязь.

Но вернемся к газете. На чем же может остановить глаз читатель, которому материалы про «секс и насилие» неинтересны (а таких немало, в том числе и среди молодежи)? Есть заметки про звезд эстрады, спорт, интервью с Кашпировским под названием «Сын от Кашпировского», интервью с ведущей «Вестей» Т. Худобиной под еще более выразительным названием — «Любовь водить машину и стрелять», статья о награждении «Оскарами», в которой автор, между прочим, замечает: «Не знаю, как вы, но я, когда речь заходит об «Оскарах», первым делом смотрю в низ списка, где стоят названия фильмов, выдвинутых за лучшие видеоэффекты. Ведь, как правило, именно эти фильмы нравятся тем, кто предпочитает «крутой экшн». (Невольное вспоминается фраза из старого анекдота: «А я всегда о ней думаю».)

А где же обычная, нормальная жизнь, которой, слава Богу, вопреки уверениям прессы, до сих пор живет большая часть страны? Мы, например, довольно много общаемся с молодежью и знаем, что она занимается самыми разными вещами: учится, работает (отнюдь не только в ларьках!), ходит в театры и в походы, кто-то ухаживает за младшими братьями и сестрами или за престарелыми родственниками, а кто-то за символические деньги возится с детьми-инвалидами (к примеру,

катает их на лошадях — это называется «иппотерапия»). Множество молодых людей в свободное время бегает на разные умные семинары, читает серьезную литературу, беседует о смысле жизни, влюбляется (и при этом не озобочено техникой секса). Есть такие, которые — представьте себе! — ночуют в лаборатории, потому что не могут оставить эксперимент, есть молодежь, для которой вера в Бога — это не мода и не психоз, а норма жизни.

...Да, для них есть материал о том, как печь блины (с симптоматичным юмором в подзаголовке: «Масленица: блин да мед (не путать с «Бленд-а-медом»). «Купите муки, дрожжей, поставьте опару, потешьте уставшие в общественных столовках желудки своих мужей и детей. Души их потешьте...») Не слишком ли мало для души, выросшей в России, где между душой и желудком никогда не стояло знака равенства, а, наоборот, одно другому противопоставлялось? (И желудок-то в подобном контексте принято было стыдливо заменять архаическим словом «утроба».)

Если уж говорить об этом серьезно, то большая часть граждан России, опомнившись от шока, пока еще не очень осознанно включилась в кампанию гражданского неповиновения. Да, здесь это выглядит по-другому, чем на Западе. Но здесь и вся жизнь другая. Здесь люди даже при очень большом повышении цен, наверное, все равно будут платить за газ и электричество и покупать автобусные талончики. Но зато они не хотят и, судя по тому, как развиваются в последний год события, не будут жить по чужим образцам. Иначе как гражданским неповиновением не объяснить то, что еще столько людей работает за мизерную зарплату в школах, детских садах, больницах, на почте, на заводах, в КБ и НИИ. В другой стране они скорее всего давно-давно бы разбежались, став брокерами, дилерами, агентами, продавцами, благо эти вакансии сейчас имеются в избытке. Еще два года назад многим казалось, что они просто неспособны вписаться в рынок. И это осознавалось как некая ущербность. А сейчас все потихоньку встает на место (в головах, разумеется!). И все чаще и чаще слышишь фразы, произносимые без малейшего самоуничижительного оттенка, а, напротив, с чувством собственного достоинства: «Нет, бизнес — это не для меня. Лучше я буду копейки получать, зато на работу ходить не противно... Если все торговать пойдут, кто детей учить будет?...» и т. п.

То есть налицо о с о з н а н н ы й выбор. И это выбор очень нелегкий, требующий отказа от материальных благ во имя более высокой цели. Да-да, жизнь вроде новая, а выбор старый, традиционный. Для России, наверно — и слава Богу! — вечный.

Отражено это на страницах рассматриваемой нами газеты? Ни единым словом. А между тем, как мы уже отметили, молодежь не поголовно занимается бизнесом. Гуманитарные вузы и педучилища отнюдь не пустуют. Да и естественные факультеты не позакрывались. И учатся там вовсе не жалкие недотыкомки, а очень даже полноценные люди. В средствах же массовой информации о них упоминается в лучшем случае с оттенком сострадания: дескать, как вы, бедные, жить будете в н а ш е й новой реальности? (Как будто речь идет не о большинстве, которое в конечном итоге и будет определять реальность, а о горстке прокаженных, изолированно живущих в лепрозории!)

Но это, повторяем, в лучшем случае. А, как правило, читатель (да и зритель), особенно молодой, всеми возможными способами втягивается в орбиту «настоящей», «крутой» жизни. Не будем далеко ходить за примерами, вспомним телепередачу, о которой мы говорили в начале статьи. О чем журналисты беседовали со школьниками старших классов? Вокруг чего вертелся разговор? Да все вокруг того же: деньги и секс. Что, больше не о чем спросить подрастающее поколение? Ведь это не у детей не было других ответов, а у журналистов не нашлось других вопросов. Даже юную потаскуху из подземного перехода на Пушкинской площади можно было спросить не о том, имеет ли она возможность посещать шикарный ночной клуб, куда подъезжают молодые люди на «мерседесах». Это не значит, что ей надо было задавать вопросы про музеи и вечера поэзии. Но ведь между этими двумя полюсами еще очень и очень много градаций. Зачем же своим вопросом фактически подталкивать дешевую проститутку стать дорогой?

И вот еще что очень важно. Может быть, те, кто читал нашу «Книгу для трудных родителей» или отрывки из нее, помнят, какое особое значение мы придаем национально-культурному архетипу, то есть глубинным основам характера и поведения человека той или иной культуры. Можно это называть родовой памятью, можно — «духом народа», а можно вслед за К. Г. Юнгом — «коллективным бессознательным». Так вот: то, что произошло за последние годы с феноменом «крутости», служит наглядным доказательством реальности национально-культурного архетипа. В начале перестройки «крутые» парни стали входить в нашу жизнь вроде бы знаком «плюс»: герои Шварценеггера, культуристы, конкурсы мужской красоты...

Но довольно быстро в массовом сознании понятие «крутой» скатилось в криминальную зону, стало атрибутом и достоинством уголовного мира, то есть для нормальных людей знак «плюс» поменялся на «минус». Странно ли это? Если учитывать архетипические особенности нашей культуры — ничуть. Кто в русском фольклоре «крутой»? Иванушка-дурачок? Иван-царевич? Или, может, три богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, которые, казалось бы, уже по определению способны все на своем пути сокрушить и любого в порошок стереть? Нет, и они не «крутые». Они какие-то другие. Да, сильные, мощные, но не «крутые». Доброта, великодушие и, главное, мудрая кротость, несмотря на созвучие, никак не входят в понятие крутости.

И все-таки «крутой» герой в нашем фольклоре тоже имеется. Это... Соловей-разбойник, пахан былинного мира. У него даже посвист «крутой!» (Вот они, глубинные истоки криминализации понятия «крутой» в условиях русского менталитета. У других же народов, например, кавказских с их культом джигитов, вовсе не обязательны такие «соскальзывания» в субкультуру.)

Если раскапывать дальше, то окажется, что негативный смысл понятия «крутой» обусловлен в русской культуре даже лингвистически. Откроем словарь Даля. Разумеется, мы не найдем там современного значения слова «крутой». Но подавляющее большинство разнообразных значений с этим корнем имеет выраженный негативный оттенок: «крученный человек» — горячий, вспыльчивый, бешеный, взбалмошный, ветренный; «окрутить» — женить (с оттенком насилия); «крутой мороз» — жестокий, сильный; «крутой нрав» — упорный, настойчивый, неуступчивый; «крутой ветер» — противный; «крутень» — человек нетерпеливый, скорый, торопыга; «Круто взял — не туда попал» и т. п.

Нам скажут, что все это дебри, в которые незачем углубляться. Народ любит «жареное», а представители второй древнейшей профессии любят пользоваться успехом у народа. В конце концов такой успех — неотъемлемая часть их профессии. Посмотрите, скажут нам, что чаще всего читают люди в транспорте! «Московский комсомолец», «Частная жизнь», «Женские дела»... Чем круче, тем больше читают, тем больше смотрят.

Но, следуя подобной логике, стоит, пожалуй, возродить публичные казни и гладиаторские бои. На такие зрелища сбегался обычно весь город. Детишки, правда, плакали и по ночам видели кошмары, но ко взрослому возрасту привыкали и уже приводили поглазеть на смертную казнь своих детей. Вид натуральной, а не «экранной» крови очень даже бодрит и пробуждает чувственность (у тех, кто не лишается чувств). Глядишь, и рождаемость бы повысилась...

И все же рекомендуем почаще вспоминать начало известного романа: «Не искушай меня без нужды...» — и стараться предвидеть последствия своих поступков (а в данном случае слово тождественно поступку) хотя бы на два-три шага вперед. Тем более что тут и предвидеть-то несложно, тут да но «предугадать, как слово наше отзовется».

Оно неизбежно отзовется очередным выстрелом «между первым и вторым этажом».

Пицца-тройка

Где-то на исходе застоя все культурное население нашей тогда еще бескрайней Родины мечтало раздобыть две жизненно важные книги: Толковый словарь Даля и энциклопедический словарь «Мифы народов мира». Их покупали с бешеной переплатой на черных рынках, получали в обмен на тонны макулатуры. А если случался знакомый иностранец, который перед отъездом спрашивал: «Что я могу для тебя сделать?» — младший научный сотрудник, успешно сглазьявая мечту о джинсах и тайно умиляясь собственной возвышенности, с достоинством отвечал:

— Да нет, спасибо, мне ничего не нужно... Разве что словарь Даля... В «Березке» на Кропоткинской...

Но спустя десять лет стало ясно, что словарь Даля уже не актуален, поскольку менеджеры, дилеры, а тем более органайзеру воркшопа, кофейрейка или фандрейзинга все эти хилые прибамбасы как-то не в дугу. Да и нужной справки не получить.

«Мифы» тоже особого энтузиазма не вызывают. А жаль! Ведь сейчас самое время не только ознакомиться с опытом народов мира, но и обогатить его (опыт народов мира) собственным. Благо мифов у нас нынче — можно не по словарю Даля? — как грязи.

Вот, например, такой. Принятие за аксиому, что в советском, насквозь милитаризованном обществе и сознание людей было насквозь милитаризовано, причем с

самых что ни на есть юных лет. Еще бы! В школе уроки гражданской обороны, в пионерлагере игра в «Зарницу», малышам (о, эти ужасы тоталитаризма) покупали пластмассовые автоматы и оловянных солдатиков. В общем, растили убийц.

И вроде бы все так. Особенно если не задумываться, не вспоминать, не сопоставлять. Хотя подчас реальность буквально принуждает это сделать. Ведь волей-неволей призадумашься, услышав такой диалог.

Спорят брат и сестра пяти и десяти лет. Наконец, когда остается полшага до драки, в ход идут последние, «козырные», аргументы:

Сестра: Малявка, я тебя сильнее!

Брат (на секунду оторопел): Зато я Терминатор! Могу тебя убить!

Сестра: А я Бэтмен! Он еще и летает!

Брат: Тогда я (задумывается)... четыре ниндзи-черепашки! (Декламирует, радуясь спонтанной рифме.) Мы вчетвером тебя убьем!

Сестра: А я Хи-мен! Я твоих черепашек изрублю на мелкие кусочки!

Брат: А я Человек-паук!

Сестра: А я Робокон!

Брат: А я Супермен!

Сестра: А я Супергерл!

И так минут десять до полного истощения.

А теперь давайте представим себе подобный диалог лет этак пятнадцать назад. В ми(тота)литаристском обществе. С теми реалиями. Начало скорее всего будет таким же:

— Малявка, я тебя сильнее!

А вот дальше... Кого могли бы дети застоя призвать на помощь для утверждения своего лидерства? Кто из детских любимцев недавнего прошлого порубил всех в капусту, стер в порошок, расстрелял «веером от пуза»? Чебурашка? Кот Леопольд? Или, может быть, Матроскин? Миф тут же начинает трещать по швам.

Милитаризация сознания, если уж говорить об этом всерьез, происходит сейчас, а не тогда. Это сейчас человек с младенческого возраста пропитывается культом силы, культом героя с уголовными наклонностями. Это сейчас «крошка-сын» знает, что у его папы есть пистолет (пока, к счастью, газовый, но принятие закона о владении личным оружием явно не за горами). Это сейчас подросток, рано утром выгуливая собаку, может обнаружить во дворе труп. Дурная бесконечность войн в тех местах, которые всю жизнь ассоциировались у нас только с туристской экзотикой или культурным отдыхом, милиционер с автоматом на шее, уже не раз встреченный нами в собственном подъезде, демонстрация «в прямом эфире» танков, стреляющих по Белому дому, битком набитому людьми... Это что, не милитаризация сознания?!

В таком случае нашим ученым, которым не впервой находить теоретические обоснования для любой наперед заданной практики, настала пора подумать о новых диссертационных темах в стиле Оруэлла. Например, «Радикальное устранение люмпенизированной части населения как оптимальный метод воспитания верности общечеловеческим ценностям». Или: «Образ Киборга-убийцы в детском кинематографе — эффективное средство формирования миротворческих установок».

Кстати, о кинематографических и не только кинематографических образах. В нашу жизнь вошла, вернее, ворвалась чужая эстетика. Конечно, нельзя сказать, что ее раньше вообще не было, но она присутствовала в качестве скромного гостя, а не полновластного хозяина. В другом соотношении и уж совсем с другой силой напора. Ненавязчивому гостю человек всегда рад. Так и мы радовались американским джинсам, японским видеомагнитофонам, французским шансонье, международным кинофестивалям. Все это было так недавно, а стало уже полузабытым прошлым — настолько резко поменялась ситуация. Сейчас — наконец-то! — раздается все больше и больше голосов, протестующих против засилья «американского большого». (Один наш знакомый когда-то переводил для заработка именитого бурятского поэта, и все шло гладко, потому что это был вполне интернациональный текст о Родине и партии, пока переводчик не споткнулся о загадочное выражение, которому никак не мог найти русского эквивалента: «**бурятское большое**».) Но дело не только в том, что сочетание свиняче-розового с канареечно-желтым, на котором построена, в частности, вся эстетика империи Барби, режет глаз. И даже не в том, что американскую массовую эстетику человек с минимально развитым вкусом может назвать эстетикой лишь иронически. Суть в другом. Когда ее так много, когда она повсюду и всегда, это заметно искажает картину мира. Представьте себе, что в вашей комнате, вас не спросив, что-то чуть-чуть переставили, слегка заменили. При чем именно чуть-чуть, еле уловимо. И вот вы вошли и, еще не успев осознать происшедшего, ощутили смутную тревогу. Ну а теперь вообразите, что в вашей ком-

нате переклеили обои, поменяли мебель, повесили другую люстру и другие занавески. Вы, естественно, в шоке и хотите найти подтверждение того, что это в а ш дом. И начинаете метаться в поисках хотя бы маленькой вещички, хотя бы чашки с отбитым краем! Чего угодно, лишь бы убедиться, что вы не сошли с ума.

Господи, сколько воплей раздавалось, когда построили Дворец съездов, гостиницу «Россия», башни Калининского проспекта. Дескать, исказили лицо города! Но ведь это было то самое «чуть-чуть», «еле-еле» по сравнению с происходящим сейчас. А какой яростный протест вызывали у нашей интеллигенции советские плакаты и лозунги, праздничные портреты несчастных геронтократов! Им говорили: «Да черт с ними, пусть висят! Кто их читает? Кто их замечает?» А они во всеоружии фрейдизма вешали про воздействие на подсознание и что это, мол, еще более разрушительно для психики, чем осознаваемая травма...

Где же вы теперь, друзья-однополчане? Ведь сейчас самое время бить тревогу. Или голос, исходящий из «влажных недр» (выражение Розанова) и сладострастно призывающий к райскому наслаждению вкусить чего-нибудь пищевого, оказывает благотворный эффект на подсознание? А уж на уровне сознания... Наверное, лозунг «Слава труду!» не так травмировал психику, как восклицания двух «студентов «МММ», потрясающих пачкой акций: «Это больше, чем стипендия! Это л у ч ш е , чем стипендия!»

А есть и гораздо менее очевидные, но зато куда более серьезные факторы, искажающие онтологически привычную картину мира. Это вливается незаметно, как яд в ухо спящему отцу Гамлета. Насколько нам известно, критика в адрес американского массового искусства обычно не идет дальше причитаний по поводу секса и насилия, безвкусицы и натурализма. (Кстати, советское искусство можно обвинять во многом, вот натурализмом оно не грешило и в этом смысле продолжало русскую традицию. У нас даже в фильмах про фашистов соблюдалась определенная цензура на демонстрацию зверств.) Однако гораздо интереснее, на наш взгляд, сопоставить отечественную и американскую кино-, видео- и книгопродукцию по существу: сравнить персонажей, мотивацию их характеров и поступков, существование в категориях добра и зла.

Начнем из вежливости с гостей. Что прежде всего бросается в глаза? Да, в общем-то, отсутствие какой бы то ни было мотивации у голливудских злодеев. У нас даже начинающий литератор знает, что поступки персонажей должны быть обоснованы. Мэтры, опекающие молодых драматургов, любят советовать начинающим детально проработать биографию всех, даже второстепенных персонажей. Это элементарное профессиональное упражнение. У американского же злодея (иначе не скажешь) нет ничего хоть сколько-нибудь очеловечивающего, его невозможно представить себе в детстве, у него совсем нет положительных свойств (помните, как Станиславский учил артиста, играющего отрицательную роль, искать, что в нем хорошего?) или хотя бы смешных слабостей, нет никаких оправданий злодейской сущности — детство в детдоме, измена невесты, обида на Советскую власть и проч., и проч. ... Он злодей по определению. Абсолютное Зло. Почему бы это? Неужели от недостатка профессионализма у создателей боевиков и триллеров? Или дело в чем-то другом? Образ «беспросветного» злодея, на которого нельзя повлиять, так как не за что зацепиться, далеко не нов, только он предстает сегодня в иных, модифицированных сообразно времени обликах. Кто символизирует Абсолютное Зло? Кто ненавидит род людской и жаждет его тотального уничтожения? Кому все человеческое чуждо? Да-да, тот самый, с копытами, но действующий в безбожном и безблагодатном мире, где великий спор Света и Тьмы решается на уровне кулаков, автоматных очередей и залпов из гранатомета.

Совершенно очевидно, что обычный человек или даже обычный герой одержать верх в таком споре не в состоянии. И появляются сверхгерои, такие боги-культуристы. И у них тоже нет ни предьстории, ни характера. Это в чистом виде номиналы. Очень показателен конец детского диалога, который мы не без умысла не процитировали сразу.

После реплик «Я — Супермен», «А я — Супергерл» прозвучало следующее.

Брат: А я все равно сильнее! Я... я... Я — Суперробот 1000! У меня внутри знаешь какой компьютер?!

Сестра: Ты что? Он же плохой! Он же Киборг-убийца!

Брат (нимало не смутившись): А это все равно.

Устами младенца глаголет на редкость лаконично сформулированная истина. И вправду представители добра и зла в этих современных иностранных сказках принципиально ничем не различаются. Просто одних назначали добрыми, а других — злыми. А перевесь таблички, полюса в тот же миг поменяются. Да, собственно, так и происходит. В одной серии Терминатор, выражаясь детским языком, «плохой» и на

протяжении полутора часов пытается убить несчастную героиню. А в другой серии Терминатор (вроде бы новый робот, но с тем же именем и обликом — его играет тот же самый актер!) уже «хороший» и выступает в роли защитника той же самой героини. Это все равно, что Кощей Бессмертный во второй серии исполнял бы обязанности Ивана-царевича: приручил Серого Волка, вызволил Василису Прекрасную, ну, а потом «веселым пирком да и за свадебку». То-то радости бы было!

В немецком языке для обозначения такого семантического шулерства есть точное и емкое слово: «феррукт» (verrückt). Это бытовое слово, обозначающее смещение предметов, понятий, и одновременно психиатрический термин, аналог которого по-русски лучше всего передает жаргонное выражение «сдвиг по фазе». Очень своевременное слово, как сказал бы Владимир Ильич.

Нельзя безнаказанно для психики жить в смещенных смысловых полях. А сейчас такое смещение происходит на всех уровнях, вдоль и поперек. И, быть может, небольшое, неявное смещение гораздо опаснее, чем замена на полную противоположность. Когда грубое нарушение Конституции называется новым завоеванием демократии, а люди, которым это не понравилось, — поборниками диктатуры, когда крупные начальники компартии в одночасье делают крупнейшими начальниками по борьбе с коммунизмом, это еще полбеды. Человеческая психика адаптируется к подобным перевертышам довольно быстро. Мы же не видим мир вверх ногами, хотя, как известно, оптическое устройство глаза «фотографирует» именно перевернутую реальность.

А вот маленькие подвижки, во-первых, трудноуловимы и плохо поддаются вербализации, во-вторых, они как бы лишены ритмической композиции: шагок вперед и одновременно полшажка влево, понемногу вниз и чуть-чуть в сторону. Хаотическое броуновское движение.

Застенчивая юная поэтесса, слагающая романтические стихи о переживаниях, посетивших ее в... кабинете гинеколога. Ученый-физик, который подрабатывает не частными уроками по подготовке в вузы, а распродажей в розницу партии бразильского кофе. Обаятельный диктор ТВ, с мягкими, интеллигентными интонациями объявляющий: «Я хочу представить вам, дорогие телезрители, идеальную супружескую пару: Галю и... Свету». И две очень культурные женщины долго, убедительно и стилистически безупречно убеждают многомиллионную аудиторию в преимуществе сапфической любви. Пожилый прокурор, который, придя в гости и оказавшись за праздничным столом с «представителем теневой экономики», сочувственно кивает в ответ на рассуждения о том, что мафия спасет мир. Или прилагательное «простой». Это же была высшая похвала человеческой скромности, истинной культуре, бесхитростности. А теперь... Нет-нет, смысл не поменялся на противоположный, он стал лишь несколько ироническим. В нем звучит легкий оттенок презрения («Ты что, простой?»).

Все это и многое другое — типичный «феррукт».

Казалось бы, что плохого в художественном изображении Абсолютного Зла? Оно ведь практически всегда после множества перипетий терпит в финале крах. Но в православной культуре не принято вступать в прямой контакт с дьяволом. Уж на что Лермонтов был ярко выраженным романтиком, и то его «Демон» звучит скорее как острастка, как предупреждение. Помните, что случилось с Тamarой после поцелуя Демона?.. Сатана как нечто страшное, непостижимое и безразмерное здесь не притягивал, не завораживал. Такое впечатление, что культура старательно отгораживалась от него. Ни в классической, ни в фольклорной литературе его особенно не встретишь. Даже Черт Ивана Карамазова — это порожденное лихорадочкой альтер эго героя, а вовсе не «объективная реальность». Титаны же западной литературы (Данте, Гете, Милтон, Гофман и множество других) с гениальной мощью рисовали образ Князя Тьмы. Это традиционное различие имеет очень глубинную религиозную подоплеку, то есть лежит в основе онтологической картины мира.

Работая с психически неуравновешенными детьми, мы сделали одно интересное наблюдение, касающееся темы данного разговора. Маленькие дети многого боятся. Дети нервические — тем более. Но фобические сюжеты с чертями мы встречали крайне редко и лишь у детей с тяжелой психической патологией. Значит ли это, что нашим детям сам черт не страшен? Нет, мы думаем, дело в другом. Образ дьявола настолько вытеснен в сферу коллективного бессознательного (термин Юнга), что всплывает на поверхность только при очень расторможенном состоянии психики. Это хорошо известно также тем, кто пережил или видел белую горячку. Говорят же: «Допился до чертей» — до дна. До самого дна души.

«Архетипические образы могут вторгнуться в сознание в самых примитивных формах и в результате привести к тяжелой патологии личности», — писал Юнг. Предупреждал он и о том, что, если пренебрегать традициями, разбушевавшееся

«коллективное бессознательное» трансформируется и в коллективные психозы, ибо «душа народа есть несколько более сложная структура, чем душа индивида».

Фактически мы это уже наблюдаем. Никакой деградацией культуры и упадком морали не объяснить то иррациональное остервенение, которое охватило в последние годы заметное число людей. Ну, ладно, повсеместное ограбление дач еще можно списать на падение морали да пресловутую люмпенизацию. Но отодранные полы на тех же «вскрытых» дачах уже так просто не объяснишь. А сожженные кнопки лифта на всех этажах? А взрезанный дерматин на сиденьях электричек? А мужчины, которые справляют малую нужду, не только не зайдя в подворотню, но даже не отвернувшись от пешеходов?.. Во всем этом есть какая-то исступленность, какая-то психопатическая демонстративность. В революцию уже было нечто подобное. Греческие вазы, загаженные испражнениями, ощипанные заживо павлины в усадьбе Бунина — это из того же ряда.

Мы предвидим протест:

— Нашли козла отпущения! Опять Запад виноват в русских безобразиях! Как будто раньше не было иностранных влияний! Можно подумать, что образованные люди в России не читали Данте, Гофмана, средневековых европейских романов...

Конечно, читали, только это скорее напоминало приятную экскурсию. Так, православный человек может зайти в католический храм и восхищаться скульптурой, разноцветными витражами, звуками органа. Но молиться он там не станет, хотя Бог у православных и католиков — один. То же, что происходит сейчас, сравнимо лишь с попыткой заставить православных молиться в костеле. И любому верующему человеку понятно, что это нешуточный «феррукт». Сейчас многие люди чувствуют, что творится что-то неладное, а объяснить толком не умеют. И, как правило, сводят все к вызубренным пресс-клише: «шоковая терапия», «падение уровня жизни», «криминализация всей страны» и т. д. и т. п. Разве что у пьяного на языке бывают хоть и грубые, но более точные слова. Мы услышали их однажды в метро. Алкашу кто-то крикнул вдогонку:

— Эй, ты! Шапку потерял!

А он в ответ, не оборачиваясь:

— Ну и ... с ней! Мы, ..., жизнь потеряли, какая, на ..., шапка?

Феррукт, my friend, феррукт!

Покая сердце просит!

...Куда мчишься ты, пицца-тройка?

Страсти-мордасти и манная каша

Одно из самых распространенных заблуждений выглядит так: если что-то плохо, надо сделать наоборот — и будет хорошо. Так уж человек устроен, что для него естественней всего оперировать антитезами, противопоставлениями: добро — зло, белое — черное, свет — тьма, правда — ложь. И это, конечно, так и есть. Свет противостояит тьме, а правда — лжи. Но, пользуясь инерцией противопоставления, легко совершить подмену. Делается это просто. Сначала что-то объявляется злом. Потом это доказывается — убедительно, с опорой на примеры, авторитеты, собственный опыт. А когда наконец сформировано соответствующее негативное отношение к тому, что обозначили как зло, остается только вместо истинной антитезы подставить мнимую. Причем на этот раз даже не обязательно утруждать себя серьезными доказательствами, ибо включается психологический механизм, заранее настроенный на антитезную пару, и многие, уже не рассуждая, автоматически принимают предложенный вариант.

В последние годы такое встречается, увы, слишком часто. Вот, к примеру, режим, при котором мы жили 70 лет, был обозначен как «большевистская диктатура» и соответственно назван злом. Для того, чтобы убедить в этом целую страну, из бесчисленного множества признаков старательно отбирались признаки зла (которые, безусловно, были... как, впрочем, и признаки добра, но о последних предпочитали умалчивать), компоновались, обильно иллюстрировались и т. п. Наконец негативный образ был сформирован: большевистская диктатура — зло. И тогда на место добра был поставлен... рынок. И все это подхватили. И тут же появились яростные апологеты рыночного «добра». По восторженному выражению модного в то время публициста — «рыночники Божьей милостью». И вслед за ними множество людей стало связывать рынок со свободой и демократией, как будто никогда и не слыхали ни о Пиночете, ни о диктаторских режимах в Гватемале, Парагвае, Уругвае, Аргентине и других странах, где рынок прекрасно уживался с самой жесточайшей диктатурой.

По этой же схеме были скоропалительно пересмотрены и многие другие аспекты нашей жизни, в том числе педагогические. Не остался в стороне и такой важный вопрос, как: нужно ли детям знать правду о жизни? Антитезная пара выглядела следующим образом: при большевиках детей кормили «манной кашей сладкой лжи», и это было зло, потому что подрастающее поколение не готовили к реальной жизни. Следовательно, добром будет говорение всей правды. Под всей правдой при этом подразумевалось (внимание: подмена!) то, что Горький, у которого мы, кстати, позаимствовали название этой главки, называл «свинцовыми мерзостями жизни».

И «свинцовые мерзости» хлынули бурным потоком и затопили экраны, страницы, сцену. Известный авторитет в области педагогики, восхищаясь романом Анатолия Кима, в котором уголовники изнасиловали и до смерти замучили одного зека, страстно призывал родителей включить этот роман в круг семейного чтения и для пущей убедительности сообщил, что он уже провел со своими детьми несколько коллективных чтотков.

А не менее известный кинодраматург, определявший репертуарную политику детской киностудии, в качестве образцов, которые сейчас более всего необходимы детям, приводил два сценария. В одном мальчики убили своего товарища, закопали в землю и, тайком приходя на это место, прикладывали ухо к земле — а вдруг он все-таки дышит? («Тут же еще и особенности детского мышления, понимаете?» — пояснял маэстро.) Во втором же сценарии главным действующим лицом была... нога. Оторванная на афганской войне и зажившая своей отдельной жизнью. Помнится, образ окровавленного обрубка, особенно с учетом юных зрителей, показался нам ужасающим, но наш собеседник, напротив, весьма одобрял именно эту творческую находку.

Примеры «правдивого современного искусства» можно приводить до бесконечности. Их «тьмы, и тьмы, и тьмы», но они вам и так отлично известны. Гораздо важнее объяснить, в чем же здесь подмена. Разве в жизни не встречаются жестокости, ужасы, зверства? Конечно, встречаются. Как, впрочем, и любовь, жалость, самопожертвование. В жизни вообще все встречается. И все — правда. Все, а не малая часть, которую в народе быстро и очень метко окрестили «чернухой». А выдавать «чернуху» за самую главную правду о жизни есть самая настоящая ложь! Раньше гнали, что все прекрасно, теперь лгут, что все ужасно. Вот она, истинная пара. Не ложь — правда, а ложь «коммунистическая» — ложь «демократическая». И даже не через черточку, а через союз «и», потому что здесь нет, по сути дела, никакого противопоставления: ложь и ложь.

И снова нас подстерегает ловушка. Хочется пылко воскликнуть:

— Любая ложь неприемлема, что та, что эта! Ребенок должен знать правду!

Но тогда детям нельзя читать сказки. Ведь, строго говоря, там все ложь.

Кстати, несколько лет назад мы столкнулись с яростным борцом за правду. Это был чиновник Министерства культуры. Гладкий, холеный, явно не познакомившийся в детстве с «суровой правдой жизни», он учил нас уму-разуму:

— Милые мои, ну, сколько же мы будем кормить детей манной кашей, этими красивыми сказочками? Этими Золушками и Белоснежками? Маловато потрясеный, друзья! Жестче надо писать. Достовернее и жестче.— И его пухлые детские щеки даже втягивались на слове «жестче».— Когда же наконец появятся детские драматурги, которые будут писать нам сказки с плохим концом? Герои должны гибнуть, а зло — торжествовать! Пусть будет, как в жизни. Жизнь, милые мои,— это вам не сопля с сахаром...

И, мечтательно улыбнувшись, добавил:

— Эх, если бы нашелся режиссер, который бы смог воплотить мой замысел...

Представьте себе: кукольный театр, на сцене пьеса. Ну, такая... настоящая, без сюсю... И вот в самый напряженный момент, скажем, в момент убийства или там изнасилования... из сиденья вылезает иголка и впиивается прямо в задницу зрителя! Чтоб уж проняло!.. А?.. Правда, гениально?

(Авторская ремарка: кукольные театры, которые курировал этот любитель потрясений, посещаются в основном детьми дошкольного и младшего школьного возраста.)

Ей-Богу, мы ничего не выдумали! Разве что немного сократили монолог чиновника. Другое дело, что его программа еще не полностью реализована. Не сконструировали ни в одном кукольном театре кресла с выскакивающими в нужный момент иголками. Зато с потрясениями все в порядке, и вряд ли кто-то может пожаловаться, что их «маловато». Проще всего подойти к киноафише: «Киборг-убийца», «Маньяк-убийца», «Поцелуй убийцы», «В постели с убийцей». Ну, это для подростков, прогуливающих школу. Детей помладше, не волнуйте, тоже не обделили. И они не остались в стороне от «правды жизни». Ни тебе застойного Чебурашки с

крокодил Геной, ни предзастойных экранизаций Бажова и Мамина-Сибиряка. (Разве что иногда по ТВ, а вот столь привычные еще недавно программы мультипликационных фильмов, на которые можно было торжественно водить детей в кино по выходным, бесследно канули в прошлое...)

Но, с другой стороны, детей ведь не лишили зрелищ! В том числе и мультиков. Ну, подумаешь! Были советские, а теперь американские. Был Чебурашка, а теперь черепашки! И тоже приключения, и тоже сказочные. И даже хорошо кончаются... Но эта идентичность чисто формальная.

А что, если мы сравним случайно зарифмовавшихся героев двух современных сказок? И не только хороших, но и злодеев. И вообще некую картину мира в этих мультфильмах. Главные свойства Чебурашки — это наивность, милота, обезоруживающее обаяние ребенка. Черепашек-ниндзя при всем желании наивными, милыми детьми назвать трудно. Это, в сущности, «крутые парни», которые чуть что, не задумываясь, молотят своих противников направо и налево, скорее напоминают маленькую банду, чем маленьких детей. В борьбе со злом, без которого не обходится ни одна сказка, Чебурашка вместе с загадочным другом крокодил Геной изобретает разные хитрости, думает, шевелит мозгами, но не избивает и, разумеется, не убивает старуху Шапокляк. Черепашкам, конечно, тоже приходится решать вопросы военной стратегии, но определяет все физическая сила, физическая схватка со злом. Кровь льется рекой, трупы навалены штабелями. Зло уничтожают буквально. (Правда, к Карабасу-Барабасу в «Золотом ключике» тоже были применены физические методы воздействия, но ему всего-то-навсего отрезали приклеившуюся к дереву бороду и оставили беднягу сидеть под дождем в луже!)

Да и представители зла в «Чебурашке» и «Черепашках» существенно разнятся. Проворная, смешная Шапокляк со своей крысой Лариской пакостит по мелочам. Никакой кровью, никаким насилием ее проделки не пахнут. Она, как в песне Высоцкого, «по-своему несчастна», а потому к ней можно найти подход. Что, между прочим, и делают в финале герои, осчастливив ее дружбой. (Ох, маловато потрясений!) Закованный в сталь Шредер ужасен. Это некое Абсолютное Зло, к которому нельзя найти никакого подхода, кроме «радикального». Он готов уничтожить весь мир со всеми его обитателями.

Ну и, наконец, о главном — о картине мира. Мир, в котором обитают Чебурашка и крокодил Гена, в целом светлый и дружный. В нем уютно и не страшно, мир в этом мире закономерен. Зло же, напротив, единично и случайно. Оно подобно маленькому облачку, которое не может надолго затуманить небесную синеву. Мир черепашек буквально переполнен, кишит злом. Оно подстерегает повсюду и всегда.

Горстка героев противостоит целым полчищам приспешников зла. Все же остальные — статисты, пешки, а часто и жертвы. (Кстати, в другом мультфильме с умильным названием «Вампиреныш» кого-то из персонажей так и звали: «Жертва»). От одного этого имени мурашки пробегают по спине даже у взрослого человека!)

Не правда ли, странно? В «Империи Зла», как принято было на Западе именовать Советский Союз, искусство для детей было щадящим, охраняющим хрупкую психику от непосильных впечатлений. Соблюдался возрастной ценз. И это было совершенно правильно! Вы, наверное, замечали, что дети от трех до шести лет часто задают вопросы типа: «Каких людей на свете больше — хороших или плохих?», «А что сильнее: добро или зло?». Такие вопросы отнюдь не следует рассматривать как ординарные в общем потоке бесконечных «что?», «как?» и «почему?». Ребенок ищет опоры, ориентиры, чтобы начать строить мир в своей душе и одновременно встраивать себя в мир. Он маленький, слабый, он хочет быть с большинством. Попробуйте, руководствуясь наставлениями министерского чиновника-либерала, рассказать малышу сказку с плохим концом. Четырехлетний консерватор будет огорчен до слез. И не просто огорчен, а возмущен! Он воспримет это как личное оскорбление, ибо душу его омрачили скорбью. Когда же зло в искусстве, предназначенном для детей, тотально, когда оно «в большинстве», ребенок испытывает соблазн прикнуться к нему. И к подростковому возрасту, вдохновленный уже не мультфильмами, а вполне натуралистичными киноверствами (один немецкий психолог подсчитал, что в среднем дети сегодняшней Германии к шестнадцати годам видят на экране 18 тысяч убийств), маленький человек может дозреть до поступков.

Творцы «чернухи» любят выдавать себя за великих педагогов и уверять публику в своих гуманнейших намерениях: дескать, демонстрируя жестокость крупным планом, мы отвращаем от нее молодежь. Но тогда авторы порнофильмов с полным правом могут утверждать, что, если показывать детям половые органы, чисто-та помыслов будет гарантирована до гроба.

Ну, а если серьезно, то уже дети младшего дошкольного возраста понимают, что убивать дурно. Кто-то даже отказывается есть котлету, узнав, что она приготовлена из убитой курицы. Нормальному ребенку не нужно «из воспитательных соображений» показывать крупным планом, как курице (и уж тем более человеку!) отрезают голову. Он и так знает, что это ужасно. Не случайно очень многие дети сами себя пытаются оградить от «правды жизни»: выбегают из комнаты, увидев на экране телевизора страшную сцену, плачут, закрывают руками лицо, утыкаются в плечо сидящему рядом. Тут необходимо учитывать, что ребенок в отличие от взрослого еще нечетко разделяет искусство и реальность. Он — особенно в напряженные моменты — не помнит, что это понарошку, что это артисты. Те же дети, у которых «кишки на березах» вызывают повышенный интерес и особое удовольствие, должны настаивать. У них притуплена чувствительность или, что, к счастью, встречается редко, присутствуют скрытые садистские наклонности. То есть на самом деле вместо декларируемых гуманных целей невольно достигаются (если не преследуются сознательно) цели совсем иные: в одних детях пробуждаются низменные инстинкты по принципу «Дурные примеры заразительны», в других рождаются страхи, которые иногда настолько овладевают душой ребенка, что становятся источником невроза. В своей работе с детьми-невротиками мы в последние два года сталкиваемся с новым и, как нам кажется, весьма показательным явлением. В раздаваемых нами анкетах на вопрос «Есть ли у ребенка страхи, связанные с чем-либо?» родители стали часто указывать... мультфильмы как один из источников страхов. Кого-то, быть может, это удивит, но нам представляется вполне закономерным. Ни старуха Шапокляк, ни Карабас-Барабас, ни даже Бармалей не могут вызвать в ребенке, как выражаются психологи, «запороговый» страх. А Шредер, вампиры и привидения — могут!

Вы скажете: «Как будто у нас нет страшных сказочных злодеев! А Баба Яга с Кошечем Бессмертным? Страшно, аж жуть!»

Конечно, Баба Яга пострашнее старухи Шапокляк. Но, во-первых, она тоже не является представителем Абсолютного Зла и в разных сказках ведет себя по-разному: может пугнуть, а может и помочь. Кроме того, советские режиссеры и книжные графики очень много сделали для того, чтобы юмористическим изображением уравновесить злодейскую сущность отечественных чудищ. Вполне вероятно, что западные дети и вампиров воспринимают юмористически. Но, значит, они к такому восприятию подготовлены национальной культурой. И действительно, в европейской, а вслед за ней и в американской культуре тема вампиров разработана широко и детально. Это очень старая и непрерывно развивающаяся традиция. В нашей же культуре недаром торжественное слово «вампир» заменено, заземлено презрительным «упырь». По каким-то причинам (не будем сейчас вдаваться в подробности) этот вид версии не занял одного из центральных мест в нашем искусстве. Русские писатели не внесли весомого вклада в мировую вампирологию, не удостоили кровопийц своим вниманием. Их если и интересовали кровопийцы, то все более в переносном смысле — как эксплуататоры. Гоголевский Вий, вурдалаки А. К. Толстого — это лишь редкие вкрапления, веснушки, а вовсе не лицо нашей литературы. Кстати, про Вия маленьким детям не читали.

Выходит, то, что раньше ребенок получал в адаптированном традицией и искусством виде, причем небольшими порциями, теперь закачивается в него, без всякой поправки на чужеродность, лошадиными дозами! И вместо полезной для психики прививки (а в малых дозах «страшилки» полезны) происходит отравление со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Когда мы работаем с ребятами школьного возраста, они по нашей просьбе рисуют нехитрую диаграмму: три круга, один обозначает класс, другой — двор, а третий — город. И раскрашивают двумя карандашами, черным и красным. Черный — это плохие люди, красный — хорошие. Каждый ребенок схематично отображает окружающий мир, руководствуясь своими представлениями о соотношении в нем добра и зла. Три года назад даже у ярко выраженного меланхолика черный сегмент редко был больше красного. Мало того, по мере расширения заданного пространства процент черного, как правило, уменьшался. Ребенку, у которого не сложились отношения с одноклассниками, все равно казалось, что город (то есть мир) не злонамерен.

Что же мы наблюдаем теперь? Почти все школьники (восемь из десяти) видят город-мир в черном цвете. В лучшем случае эта последняя диаграмма напоминает арбуз с вырезом: там есть небольшой красный ломтик. И такое встречается даже у тех, у кого и в классе, и во дворе все обстоит вполне благополучно!

Обилие страшного страшно еще и тем, что притупляет чувствительность. Такое эмоциональное отупение — это своего рода защитная реакция. Причем она не специфична для детей. Их родителей тоже мало что «колышет». Вспомните, как все

общество сотряслось в конце 1988 года, узнав об армянском землетрясении. А сегодня информация о военных действиях, военных потерях, террористических акциях стала обыденной, перестрелки на улицах российских городов тоже не новость. Когда бы сейчас особенно взволновало известие о каком-то там землетрясении?..

Чего же требовать от детей? После развороченных внутренностей и расчлененных трупов, показанных крупным планом, почему их должны трогать мамина усталость, папина головная боль или бабушкина немощь? У крови слишком терпкий вкус, после него все кажется пресным.

Когда мы беседуем на эту тему с родителями, они часто перебивают нас растерянным вопросом:

— А что мы можем сделать? Как оторвать ребенка от телевизора?

А это уже ваша забота. Никто ведь не спрашивает, что делать, если ребенок тянется к рюмке водки, как отобрать у него пачку таблеток или крысиный яд. Просто многие не осознают степени опасности, когда речь идет о ядах, отравляющих душу.

Не только на экране, но и в жизни бывают обстоятельства, с которыми совершенно не обязательно знакомить ребенка детально. Он еще успеет, повзрослев, столкнуться с ними «нос к носу», но к тому времени он успеет и окрепнуть душевно. В первую очередь это касается смерти близких. Детям до восьми-девяти лет лучше не видеть покойников. Это не значит, что нельзя при ребенке вспоминать умерших бабушку или дедушку — можно и нужно! Так же, как и вместе ходить на кладбище. Пусть помогают убирать могилу, сажать цветы. Но смотреть на мертвого человека — слишком тяжелое испытание для ребенка. И даже если он будет выглядеть вполне спокойным (а родителям иногда кажется, что их сын или дочь стояли у гроба и вовсе равнодушные), это скорее всего лишь внешнее выражение шока и грозит «отсроченной реакцией». Вдруг через месяц-два, казалось бы, на ровном месте, может нарушиться сон, ребенок начнет просыпаться в мокрой постели, часто кривить лицо, плакать из-за каждого пустяка...

— Вы противоречите сами себе! — упрекнет нас внимательный читатель, который помнит, как мы писали о необходимости героических примеров в воспитании детей. — Герои, они, между прочим, умирают... Мало сказать, умирают — погибают мученической смертью! Их расстреливают, сжигают, вешают. А от этого, если вам верить, у ребенка может родимчик случиться! Так как же одно с другим увязать?

Вопрос, как говорится, «на засыпку». И все же попытаемся ответить. Да, герои погибают. Но их гибель (которую в советском искусстве для детей и юношества, кстати, показывали и описывали без натуралистических подробностей!) свидетельствует прежде всего не о слабости и брэнности человеческого тела, а о величии человеческого духа, о том, что не все можно победить, не надо всем надругаться. В «Колымских рассказах» Варлама Шаламова написана страшная правда о советских лагерях, и ребенок когда-нибудь ее узнает. Но, прежде чем узнать, как страх, унижение и насилие превращали человека в зверя, прежде чем узнать, как люди ели людей, он должен узнать и прочувствовать другое: как люди в нечеловеческих условиях совершали нечеловеческие усилия, чтобы вопреки всему остаться людьми. Если же с детства внушать (а искусство обладает огромной силой внушения!), что человек — всего лишь жалкая, беспомощная букашка, которую можно подвергнуть самым разнообразным и изощренным мучениям, если ребенок с младенчества усвоит, что зло беспредельно (в нашу жизнь и так уже по-хозяйски вошло слово «беспредель»)... ну что ж, тогда не жалуйтесь, увидев, как ваш сын униженно лебезит перед дворовым хулиганом, а также не надейтесь, что в будущем он будет опорой для старых (вас) и малых (его детей). Чего требовать от букашки?..

Ну, и зачем мы ополчились на американские фильмы? Там ведь и борются со злом герой-супермены, и непременный «хеппи-энд». Все так, да только страсти-мордасти настолько перенасыщают этот «раствор», что человек (даже взрослый, не то что маленький) «выпадает в осадок». Лучше всего это выразил один пятилетний мальчик, который, оторвавшись от экрана и горько рыдая, прибежал на кухню:

— Мама, мама, там опять убивают!

— Не волнуйся, сынок, конец будет хорошим.

Мальш посмотрел на маму какими-то недетскими глазами и очень серьезно сказал:

— Мамочка, я ведь могу до конца и не дожить.

(Авторская ремарка: манная каша с сахаром или с вареньем — самая что ни на есть полезная еда для маленького ребенка.)



Наталья КОРНИЕНКО

«Москва во времени»

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ АКЦИИ 1933 ГОДА

В статье 1926 года «Три столицы» Г. Федотов опишет три культурно-именных центра пространства России: Петербург, Москву и Киев. В истории России за каждым из этих центров стоит своя философия жизни и свое «слово России»: за Петербургом, с его аскетическим «отречением от всех святых: народа, России, Бога», — гений покаяния Достоевского, за неизбывной любовью России к Москве — гений Л. Толстого, художественно осмыслившего роль и призвание Москвы; за Киевом — «идея Киева» как полюс православного духа России, запечатленная в храмах и фресках и невыраженная в русской литературе. «Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России», — отмечал Федотов, преодолевался в истории России лишь живым национальным духом, открystalлизовавшимся в эпоху Киевской Руси русскую идею как идею всемирную, классическую и ее форму: «...здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг».

Речь у Федотова идет именно о духовно-культурном содержании центров России. К середине 20-х годов, когда писалась эта статья, Москва не только стала центром нового государства (СССР), приняв, по мнению Федотова, «наследие освобожденного Петербурга»¹, но и центром «московско-кремлевского периода» русской литературы (проницательное определение историка русской литературы В. Львова-Рогачевского)². Оставим за границами нашей статьи петербургский текст XX века, исследованию метафизики и поэтики которого посвящены замечательные работы В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана и современной петербургско-ленинградской филологической школы³.

Наш крохотный сюжет взят из большой темы поиска культурно-именного смысла нового — московского — центра русской литературы. Лишь некоторые моменты обозначим. Безусловную московскую печать запрета, что лежала на «Лебедином стане» М. Цветаевой, «Лете Господнем» И. Шмелева, «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, стихах Юрия Живаго и самом романе Б. Пастернака, на полуразрешенной лишь с конца 60-х годов «Москве кабацкой» С. Есенина и т. д. И, конечно, колоссальное влияние петербургской поэтики и символистской историософии Петербурга на стилистику московских сюжетов в литературе 20-х годов.

Марине Цветаевой в поэзии первой половины XX века принадлежит открытие смысла образа-«звука» Москвы как «нерукотворного града» русской истории и культуры:

Царю Петру и Вам, о царь, хвала!
Но выше вас, цари: колокола.

Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.

— И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей.

(«Стихи о Москве», 1916)

Через этот «звук», образами «звука», воплощенными в образе Кремля и облике московского памятника Пушкину, она будет объясняться в любви к петербургским поэтам («Стихи к Блоку», цикл «Ахматовой»):

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится — чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе до зари.

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.

(«*Стихи к Блоку*», 1916)

Кремль как духовный центр русской жизни в «Лебедином стане» (1918—1921) освящает ритм «белогвардейских» стихотворений книги («Белогвардейцы! Черные гвозди/ В ребра Антихриста»), «плач Ярославны» о России («Кончена Русь!») и материнское причитание по погибшим детям-солдатам, красным и белым («Взятие Крыма»), объяснение с Медным всадником («Петру»). Образ Кремля проходит в своей духовной нетленности сквозь все испытания времени краха Российской империи — от марта 1917 года до 31 декабря 1920 года, ибо освящен еще и датами церковного календаря (двойная датировка стихов книги). Голосом этого высокого звука московских колоколов, на который ориентирован голос-слово поэта («О тебе, моя высь,/ говорю — отзовись»), собираются разинская, смутная, петровская Русь и современная безлика Москва («Нет у лиц у них и нет имен») — современность, откликнувшаяся историей, обретая облик вечного, а «смертные дни» исполнены воскрешения, будущей жизни и свободы:

...О, самозванцев жалкие усилья!
Как сон, как снег, как смерть — святыни — всем,
Запрет на Кремль? Запрета нет на крылья!
И потому — запрета нет на Кремль!

Черты цветаяевской Москвы отзовутся во «Взвихренной Руси» (1927) А. Ремизова, но, пожалуй, уже без цветаяевской «выси» и цветаяевской веры в горный образ Москвы.

Москва в романе Ремизова предстает как символ прошлой пушкинской России: «Слышите! Нет ничего, ни Кремля, ни России — ровь и гладь». Это на уровне лирической интонации. Однако язык изобразительной хроники Москвы времени революции не так однозначен. Да, Москва — символ кладбища России, символ горемычности, униженности Руси, «обреченной родины», и одновременно — «Богом покаранной — Богом посещенной», что остается тайной для понимания человека. Один из эпизодов московской хроники Ремизова:

«В Москве у Никольских ворот по случаю 1-го мая образ Николы завесили красной материей с надписью: «Да здравствует Интернационал!»

И вот без всякой естественной причины в несколько минут завеса истлела и стал виден образ: от лика исходило сияние» (курсив здесь и далее наш. — Н. К.).

Этот эпизод 1918 года исполнен в «Лебедином стане» Цветаевой в еще более трагических интонациях:

Коли в землю солдаты всадили — штык,
Коле красною тряпкой затмили — Лик,
Коли Бог под ударами — глух и нем,
Коль на Пасху народ не пустили в Кремль...

Однако победа над этой ситуацией у Цветаевой мотивирована «естественной причиной» — под стихотворением стоит дата: «3-й день Пасхи 1918 г.»

Московские стихи Б. Пастернака в книгах «Сестра — моя жизнь» и «Второе рождение», безусловно, учитывают опыт М. Цветаевой и отчасти его отрицают. Московские сюжеты Пастернака — это сюжеты пригорода Москвы, Воробьевых гор, импрессионистические картины которых исполнены христианской радости и благоговения перед жизнью:

Здесь пресекались рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится протеск, по траве скользя.

Просеявая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.

(«*Воробьевы горы*»).

И, конечно, не было ни одного художественного поиска образа Москвы в русской литературе XX века, который бы миновал «Москву кабацкую» С. Есенина,

цикла, вызвавшего враждебное отношение советской критики и части русской эмиграции, правда, по разным причинам. Первая справедливо видела в «Москве кабацкой» вызов новому центру пролетарской культуры: «жалость поэта к... умирающей Москве, которую Октябрь выбросил за борт»; эмигрантская — поэтизацию «азиатского» соблазна русской жизни с его стихийностью и русским пьянством⁴. Жалость и печаль, пронизывающие все пространство и мир жизни «Москвы кабацкой», производны от памяти, которую несут ее персонажи («Проклинают свои неудачи./ Вспоминают московскую Русь») и прежде всего лирический герой, единственный «златоглавый» в окружающем мире. Этой связью с прошлой златоглавой Москвой и определяется то твердое «нет», что звучит в поэтической книге русского пьянства:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

и бесконечная любовь к настоящему мучению Москвы как отзвуку высокого русского стиля:

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

«Москва кабацкая» — не периферия Москвы, не ее окраина: это тот центр Москвы, что связан с Тверским бульваром и памятником Пушкину как символом «русской судьбы» в социалистической Москве. Есенин, пожалуй, первым найдет «пушкинский центр» новой столицы России (опустим «Юбилейное» В. Маяковского). Но никто после него этот путь не повторит. Москва как центр азиатско-скифского соблазна России, победы окраин над центром в московских романах А. Белого («Крещеный китаец», 1921; «Москва», 1930), романах, отмеченных мощной традицией символистской историософии Петербурга и символистской поэтики, скажется на образе Москвы в прозе 20-х годов: Москва погибельная, кабацкая, стихийная, темная, туманная и сумрачная, Москва дна и кладбища в московских повестях Б. Пильняка («Иван-Москва», 1927; «Повесть непогащенной луны», 1925), Л. Леонова («Барсуки», 1924, московские главы; «Вор», 1927), А. Мариенгофа («Циники», 1928) удивительным образом напоминает петербургский миф русской литературы. В образе этой средневековой Москвы отсутствует как цветаевская «высь», так и есенинская элегическая интонация. Есенинские коллизии в московских циклах П. Васильева, судьба Мити Векшина из романа «Вор», в облике которой уже современники узнавали черты есенинской судьбы и поэтики «Москвы кабацкой», свершаются в пространстве Москвы окраинной.

О. Мандельштам в «Четвертой прозе» (1930) своеобразно сомкнет две московские линии поэзии — цветаевскую, оказавшую на него влияние в стихах 1917—1918 гг., и есенинскую, прописывая тот «поэтический канон», что возвращает московскому литературному пространству черты жизни: «Прекрасный русский стих» — «Не расстреливал несчастных по темницам» — «от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть», стих, что «полозьями пишет по снегу», «ключом верещит в замке», «морозом стреляет в комнату». Этот «символ веры», идущий в русской литературе от Пушкина, берется из «Москвы кабацкой» Есенина и помнит о цветаевском к нему, петербургскому поэту Мандельштаму, обращении:

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный
брат.

(«Стихи о Москве», 1916)

Сюжеты московские, о которых шла речь, представляют некое родственное даже в отличиях поле художественной мысли, явно или косвенно связанной с петербургским космосом русской литературы. В 20-е годы в советской России ему было противопоставлено мифотворчество новой души Москвы. И, безусловно, первейшее место в рождении мифа Москвы как центра социалистического мира и потому «мирового города» принадлежит идеологам Левого искусства, в литературе — Маяковскому, протраивающему образ и язык Москвы через отрицание прежнего «центра» России и русской литературы — Петербурга. В этом отрицании Маяковский был достаточно традиционным, постоянно воспроизводя символику народного мифотворчества («Петербургу быть пусту»), широко закрепленную в литературе и в его собственном дооктябрьском творчестве («Здесь город был./ Бессмысленный город...», поэма «Человек», 1916) и контаминируя ее с литературным мифом XVIII века об утонувшей Северной Пальмире (стих. «Подводный город» Мих. Дмитриев-

ва), уже тогда проглядевшим в судьбе новой столицы повторение контуров русской легенды о Китеже: «Подводной лодкой пошел ко дну/ Взорванный Петербург» (поэма «Хорошо», 1927). Облик новой Москвы выписывается Маяковским в логике противопоставления петербургскому тексту, его символике, стилю, цветовой гамме и типу рефлексии: это цветущая Москва радости, счастья, веселья, победы над мещанством («домом»), новой женщины, «утра» и света всей земли и мира. Этот силуэт Москвы у Маяковского крепко завязан на петербургском мифе, на том первоначальном периоде петербургского мифотворчества, что приходится на XVIII век русской литературы и лишен будущей печали и трагизма за судьбу города и человека. «Просто, но величественно», — эти державинские строки, о которых напомнил в 1922 году автор «Души Петербурга», можно поставить эпиграфом к обliku «центра» новой России — Москве в поэме «Хорошо». Попытка претворить новый миф в сюжет жизни обернулась в московском пространстве для лирического героя Маяковского старой трагедией («Про это»), для разрешения которой понадобилась петербургская поэма «Человек». Создал ли Маяковский московский миф — вопрос не из простых, ибо «их две в Москве — Москвы». Очевидно, можно говорить о том, что он, великий импровизатор в русской поэзии, создал неповторимую и глобальную импровизацию на тему «новой Москвы» — города всесокрушающего социализма по аналогии с Петербургом, городом «всесокрушающего империализма» (Н. Анцыферов)⁵. Элементы поэтической импровизации Маяковского на московские темы станут основой мифотворчества советского искусства: философии советской песни о Москве («Живые с песней вместо Христа люди из-за угла»), кинокомедий 30-х годов, живописных полотен о Москве, новой архитектуры (идею проекта ВДНХ можно вычитать на страницах «Хорошо»).

К началу 30-х годов с образом новой Москвы не все было благополучно в литературе, тем более после смерти Маяковского. С теми картинами реальности старой Москвы, что осуществила русская литература и о которых напомнила первая часть «Петра I» (1930) А. Толстого, трудно было справиться патетическим идеям «новой Москвы» в советской поэзии «загамлетизированных комсомольцев» (определение В. Львовым-Рогачевским сути генерации поэтов-комсомольцев), активно дублирующим в снятом и ослабленном виде эстетику Маяковского. При всей нехватке московских сюжетов в литературе с начала тридцатых годов подвергаются критике или вовсе не проходят в печать московские циклы О. Мандельштама, П. Васильева, С. Клычкова, в стихах которых образ современной Москвы как бы ищет свои мифологические и литературные истоки и источники, забвению предается булгаковская Москва 20-х годов, жестокому партийному разному в 1930 году подвергается безобидный рассказ Платонова «Усомнившийся Макар», в котором Москва увидена глазами «нормального мужика» Макара Ганушкина. Москва сыграет в жизни милого дурачка Макара роковую роль, ибо, посетив все ее «центры», он начинает выполнять к финалу рассказа роль Чумового, творит мир чевенгурский, мир абсурда, никак не мотивированный логикой повествования, отмененными сомнениями этого героя... В 1933 году в Париже публикуется первая часть — «Праздники» — «московского» романа И. Шмелева «Лето Господне» (о том, что Шмелев работает над романом, в Москве было известно, главы из романа печатались с 1927 года). Осуществленную И. Шмелевым уникальную для всей истории русской литературы XX века художественную постройку образа Москвы как центра святой Руси, Москвы как города русской православной жизни, можно было не замечать (то есть не печатать десятилетия), но нельзя было не учитывать. Как и другую горькую для нового литературного центра весть 1933 года — Нобелевскую премию, присужденную Ивану Бунину, «белогвардейцу-эмигранту», «матерому волку контрреволюции, чье творчество насыщено мотивами смерти, распада, обреченности в условиях мирового кризиса»⁶. Не все было благополучно и с молодыми писателями да и читателями. Ни те ни другие не могли уразуметь, что в советской литературе появился свой «советский Бальзак», автор романа «Бруски» Ф. Панферов (роман, побивший, очевидно, все рекорды переводов на иностранные языки. Почему в 1933 году не переводили на Западе, скажем, рассказы и повести Платонова, изданные в 20-е годы, вопрос замечательный сам по себе, не потерявший актуальности, но это уже о другом). Удивительный наш читатель, как свидетельствует периодика, шедвор советской литературы продолжал не читать, а входившая в литературу молодежь, как жаловался тот же Панферов, и не только он, предпочитала учиться русскому языку не у него, признанного на Западе классика, а у... Бунина и Чехова (в 1933 году официально объявили и о «конце чеховской темы»).

1933 год — год глобальных инициатив в литературной жизни Москвы: знаменитые поездки на стройки социализма, массовые издания классики, горьковские начинания по разработке новых тем литературы и новых форм работы над книгой...

Летом 1933 года предпринимается фундаментальная по своему замыслу акция под названием «Пролетарская Москва ждет своего художника», с которой выступило Московское товарищество писателей. В докладе С. Динамова, председателя

правления МТП, прозвучали любопытные вещи: констатировалось, что Москва относится к «обойденным темам» литературы (без акцентирования причин такого положения), предлагалась обойма новых «московских» тем (план «Большой Москвы», метрополитен, «Люди трех профессий — новый тип рабочего-специалиста») с указанием параметров описания столицы: «Тема Москвы — это тема боевой перестройки, тема международного звучания, тема мировой революции. ...*Но почему читатели не знают этого замечательного города*, в который съезжаются люди всего мира, пытаюсь понять, что же такое эта красная Москва, где Коминтерн, ЦК ВКП(б), красный интернационал профсоюзов, лучшие театры мира и пролетариат, изменивший под руководством большевиков во главе с тов. Кагановичем лицо своего города, превращающий его в образцовую столицу»⁷. Читатели действительно «знали» московские главы, практически присутствующие во всех романах и повестях, посвященных темам «второго дня» социалистической перестройки России («День второй» Эренбурга, «Время вперед» В. Катаева, «Скутаревский» Л. Леонова, «Волга владает в Каспийское море» Б. Пильняка и т. д.), но они выступали лишь как завязка сюжета, сам же «московский» сюжет осуществлялся на материале провинции. Это общая мета таких разных явлений, как «Время вперед», «Котлован» и «Поднятая целина».

В 1933 и 1934 годах появится ряд произведений на заданную — московскую — тему: поэтические книги Д. Бедного, А. Жарова, А. Безыменского, Я. Смелякова, Е. Долматовского, «Московские повести» И. Катаева, пьесы о Москве Вал. Катаева, М. Левидова, книги о строительстве метрополитена Д. Крептюгова, Е. Тарховской и т. п.

В поэтических книгах Я. Смелякова и Е. Долматовского есть некие общие знаки-символы — это прежде всего переименованное московское пространство (Бауманский район, Комсомольская площадь, площадь имени Свердлова), духу и имени которого соответствуют герои-архитекторы новых городов, метростроевцы, исполненные пафоса вечного подвига и нового бессмертия:

Когда же подойдут года
с приказом умереть,—
мы в крематории сгорим,
привыкшие гореть.

Но смотрят гордо города,
но ветер тих и рус.
И разве это смерть, когда
работает Союз.

(Я. Смеляков. *Работа и любовь. М., 1932.*)

Отношение новых героев к прошлому Москвы практически однозначно. В стихотворении Долматовского «Архитектор» образу прошлой Москвы — «Москва трущобою черною зияла» — противопоставляется новорожденный город, придуманный архитектором:

Утро — кровь с молоком.
Синеет город в тумане, хрустален.
Архитектору кажется:
Солнцем и утром храним,
По проспекту идет
Командирской походкою Сталин,
И шахтерская смена
Едва попевает за ним.

В этом новом городе Москва есть и своя героиня Лелька из цикла «Шахта 12-12-bis» (шахта, в которую вслед за Лелькой спустится Москва Честнова А. Платонова). Сюжет стихотворения почти эмблематичен: проходчица шахты Лелька добивается отмены «буржуазного» приказа, запрещающего женщинам спускаться в шахту во время аварии:

А Лелька всю шахту взяла
в бока
Разве ее остановишь?
«Пойду в МК!
Пойду в ЦК!
Пусть разберется Каганович!

(Е. Долматовский. *День. М., 1934.*)

Даже подмосковный пейзаж в лирике 30-х годов был потревожен тем же общим пафосом преобразования, уничтожения знаков-символов прошлой Москвы. Так не без полемики с «Воробьевыми горами» Б. Пастернака возникал этот поэтический вопрос:

Церковь на пригорке. Странно даже —
Разве в бога верят до сих пор?
Или это только для пейзажа,
Чтоб рельефней стал далекий бор...

(Сб. «Три времени года». М., 1940.)

Но есть и еще одно особое трепетное чувство, что объединяет все поэтические московские циклы 30-х годов: это *любимый* город и как столица новой страны («Песня о встречном» Б. Корнилова), и город новых людей, город поколения любви и труда, для которого «странной красотой звучало «Днепрострой» и «Метрострой»» (Е. Долматовский), в котором заново рождается «Афродита» (стихотворение Д. Кедрина). Социалистическая Москва — это и новый дом для каждого человека необъятной страны. Известное стихотворение Е. Долматовского «Любимый город» (1940) помнит о цветаевском определении функции Москвы в русской истории XX века:

Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом.
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

(«Стихи о Москве»)

и одновременно снимает христианский смысл мотива возвращения к Москве как центру, исполненный у Цветаевой колоссального напряжения. «Любимый город» Долматовского — это и Москва, и все другие нетленные города, не потревоженные ничем — ни войной, ни сомнением, ни снами (ср. с тревожными и безумными снами героев в московских романах Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова). Это тот отстроенный дом радости и счастья, о котором мечтал архитектор в одноименном московском стихотворении. Поэтому столь естественно и возвращение в этот город:

Когда ж домой товарищ мой вернется,
За ним родные ветры прилетят.
Любимый город другу улыбнется:
Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.

Обретенный смысл центрального города снимает то напряжение центроостремительной и центробежной динамики центра и периферии, что сохранилось в московской мифе литературы 20-х годов. Во многом на поэтику Москвы социалистической ориентирован и основной массив поэтических книг 30-х годов, посвященных советской провинции (А. Прокофьев, Б. Ручьев, М. Исаковский и др.).

И все-таки если бы победа описанного культурного центра, имени Москвы социалистической была в литературе Советской России окончательной, то вряд ли мы могли в конце века говорить вообще о русской литературе. Можно говорить и о некоторых волнах движения к имени Москвы в литературе 20—30-х годов: от отрицания Москвы как центра Святой Руси до возвращения к имени Москвы на самых разных путях. Ключевое место в освоении Москвы как центра русской жизни нового времени принадлежит трем романистам — И. Шмелеву («Лето Господне», 1927—1948), А. Платонову («Счастливая Москва», 1933—1936) и М. Булгакову («Мастер и Маргарита», 1929—1940). Каждый из этих писателей задал и свой языковой вектор в осмыслении той пропасти, что пролегла в именовании между XIX и XX веками.

Трудно представить картину поиска духовно-именного значения Москвы в русской литературе 20—30-х годов без «Лета Господня», своеобразного поэтического учебника русского языка для постсоветской России. Автор «Солнца мертвых» — «эпопеи» о крахе русской жизни (1923) — с конца 20-х годов пишет, по сути дела, эпос возрождения, на материале жизни замоскворецкого двора рубежа веков восстанавливает реальные до осязаемости «живого языка» черты русского космоса и календаря, символика которого, восходя к мифу о золотом веке, идеальном государстве, предметно реалистична в своем психологизме, ибо она связана не просто с ребенком, познающим мир, но и с глубинной темой XX века — темой «пути» человека и художника.

В романе выводится и образ учителя — «человека старинного и заповедного» Горкина, который ведет мальчика по языковому полю русской культуры, объясняя ему «темноту слов», «непонятное и страшное» в юродивых словах, «страшные слова» и «радостные слова». Для ребенка знакомство с миром проходит через услышанное слово, оно всегда чужое, пока не откроется тайна его смысла, путь уяснения которой исполнен счастья творчества и обретения *связи* с миром, его одухотворения:

«— Горкин,— спрашиваю я, — а почему стояния?»

— Стоять надо,— говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы.— Потому, как на Страшном Суде стоишь. И бойся! Потому — их-фиомны. <...>

Таинственные слова, священные. Что-то в них... Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины в гресах»,— это я выучил на молитвах. И еще — «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви и с нами Бог. И еще — радостные слова: «чаю Воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это та мраморная мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравятся новое слово «целому-дрие» — будто звон слышится? Другие слова, не наши: Божьи это слова.

Их-фиомны, стояние... как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. <...>

И кругом уже все — такое».

(Разрядка И. Шмелева.— Н. К.)

Сюжеты подобных диалогов составляют глубинную лирическую тему романа. Их можно рассматривать и как своеобразную поэтическую миниатюру житнетворческой, религиозной в своей основе идеи символистов, и как своеобразную энциклопедию приемов «остранения» слова в русской поэзии начала века, того выведения слова из автоматизма восприятия, о котором писали формалисты. У Шмелева эти и другие аспекты проблематики слова подчинены высшей духовной задаче — связать через Слово человека с жизнью в ее радостях и скорбях (3 главы романа: «Праздники», «Радости», «Скорби») с другими людьми и разными услышанными словами. Могла ли подобная «Лету Господню» книга появиться в другое время — вопрос почти риторический. Что можно подтвердить эпизодом романа «Чевенгур» А. Платонова, завершеного в 1928 году, когда Шмелев печатал первые главы «Лета Господня»:

«Чевенгур рано затворялся, чтобы спать и не чувствовать опасности. И никто, даже Чепурный со своим слушающим чувством, не знал, что на некоторых дворах идет тихая беседа жителей. Лежали у заборов в уюте лопухов бывшие приказчики и сокращенные служащие и шептали про лето Господне, про тысячелетнее царство Христово, про будущий покой освеженной страданиями земли — такие беседы были необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну коммунизма; забытые запасы накопленной вековой душевности помогали старым чевенгурцам нести остатки своей жизни с полным достоинством терпения и надежды. *Но зато горе было* Чепурному и его редким товарищам — ни в книгах, ни в сказках, нигде коммунизм не был записан понятной душевной песней, которую можно было бы вспомнить для утешения в опасный час...»

В этой своеобразной фреске мучеников и мучителей «живыми» предстают старые чевенгурцы (они не случайно у Платонова имеют полное имя), ведающие тот смысл и путь жизни («праздники» — «радости» — «скорби»), что во всех подробностях и веках описаны в романе «Лето Господне». Психологическая категория «горя» относится к «мучителям», не знающим пути жизни и спасения, пребывающим в мире анти-Слова и смерти.

Между языком жизни «Солнца мертвых» и «Лета Господня» — пропасть, в которой находится современная Россия с ее центром — Москвой социалистической. Булгаковский и платоновские романы о Москве 20—30-х годов эту бездну преодолевают на разных путях, заставив говорить «новую» Москву и найти в ее странном, а порой и гротесково-страшном облике вечные черты и знаки подлинной жизни — любви, искусства, ребенка, страдания, найти человека, вспоминаящего свое собственное имя и имя русской культуры.

Если петербургская поэзия и проза Замятина, Добычина, Вагинова, Хармса представляют именованное состояние петербургско-ленинградского пространства-космоса, то первейшее место в освоении именованного московского космоса 20-х годов, безусловно, принадлежит Булгакову. К 30-м годам булгаковская Москва имела уже свой языковой вектор описания и осмысления той пропасти, что пролегла в именовании русской литературы между XIX и XX веками: на «карте ресефесера» в прозе Булгакова 20-х годов «царственным городом» остается родной для писателя Киев («Киев-город», 1923). Именно Булгакову предстало выполнить задачу воссоздания «идеи Киева» (Г. Федотов) как ценностного центра жизни и языка русской литературы. Это город «покоя» («как ни в одном городе мира, упал покой на улицах и перекрестках...») и «света», спасенный в «Белой гвардии» под знаком Креста, город, облик и черты которого узнаются в финале «Мастера и Маргариты» в описаниях «вечного града», где обретет Мастер дарованный ему покой. «Таинственная Москва» в «киевском» романе помечена связью в XX веке с боготорческими стихами «Фантомистов-футуристов» и объявляется начитавшимся «Апокалипсиса» Русаковым «царством антихриста». И несмотря на то, что Алексей Турбин, как врач, предостерегает Русакова «психиатрическую лечебницу» и советует «поменьше читать апокалипсис», Русаков не так уж банален, т. к. в редуцированном виде представляет тот образ Москвы, что прописывается Булгаковым в рассказах, параллельно работе

над романом «Белая гвардия». Процесс осуществления Москвой себя «мировым городом», «центром» нового пространства представлен Булгаковым во всех подробностях и деталях, а сами эти детали становящегося «нового» пытаются вырасти до «события», если им не помешает логика языка. Так рождается булгаковская метаморфоза как главный принцип всеобъемлющего описания событий именованной новой Москвы, в которой: «Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена» («Роковые яйца», 1924); открываются «номера на Тверской «Красный Париж»»; подано частное заявление-прошение («...Прошу согласно действующим законам о разрешении открыть на площади Карла Либкнехта пивную-чайную под названием «Красный Алеша», «Прошение трактирщика»). В этом пространстве «лохмотья старых имен» (Маяковский) сбрасывают вещи (Пиво «Стенька Разин» и «Красная Бавария», «Пивной рассказ», 1924) и новые писатели (псевдоним «Сознательный» в «Золотых документах»). И, конечно, сам человек, теряющий прежнее имя и приобретающий новое, становится центром «Москвы 20-х годов» и носителем уже более сложных интонаций, где комическое и трагическое не отступают друг от друга: это и страдания весовщика Петра Николаевича Врангеля, вынужденного получить документ, удовлетворяющий его просьбу о смене «роковой фамилии» («Игра природы», 1924), это и «невероятная история» в «Золотых документах», рассказывающая о том, как на октябрьских, устроившихся младенцам, «дабы вырвать их из рук попов и мракобесия, назвав их революционными именами Октября», мгновенно скончался «на руках плачущей матери» младенец, которого Гаврюшин предложил назвать, исходя из любви всех рабочих к московскому журналу «Крокодил», Крокодилом... Судьба Короткова в «Дьяволиаде» в свернутом виде представляет некий общий аналог пути в литературу Ивана Бездомного. Пиком и кульминацией наваждения ставшего чужим пространства Москвы становится для героя утрата документов, родив крик наступающего безумия маленького человека: «Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите». Иванушке Бездомному придется пережить полосу безумия на пути обретения уже подлинного и полного имени.

Попытку художественно осмыслить и преодолеть бездну между «идеей Киева» и идеей Москвы, центра всепогружающего социализма, предпримет Мастер в романе «Мастер и Маргарита» как автор романа о Понтии Пилате: своеобразный философский метатекст Москвы социалистической с ее мощным государственным центром создается Мастером в годы нэпа (датировка событий романа — Страстная неделя 1929 года — установлена Б. Соколовым). Пророческая миссия романа Мастера восходит к пушкинской традиции «Медного всадника», однако уже не знает пушкинского гармонического завершения как философии текста: незавершенный роман Мастера обретает свое метафизическое завершение, лишь разорвав с пространством современной Москвы («Прощен» — «Свободен»). В поле натяжения проблематики «пилатизма» современной эпохи и пушкинской (петербургской) традиции будет находиться и тема Сталина в творчестве Булгакова 30-х годов. Размечая пространство советской Москвы, Булгаков в «Мастере и Маргарите» выверит ее центры и лжецентры через незыблемые, можно даже сказать, классические для русской литературы категории — любовь, дом, творчество, сострадание, дети, милосердие, а языку сатирической буффонады в описании нэпманской и литературной Москвы противопоставит язык легендарного «киевского» повествования (роман Мастера) и язык фрагментарных реалистических зарисовок забытых уголков старой Москвы (именно там найдет Мастер Маргариту). Языки эти столь расходятся в XX веке, что понадобилась фигура повествователя, связующего распадающиеся миры и языки и помнящего о том, что даже в новом московском пространстве он должен завершить роман.

Платоновский подход к Москве как новому центру русской жизни и русской литературы, во многих контурах совпадая с Булгаковым (прежде всего сатирическим отношением к современному московскому центру литературы), осложнен прежде всего тем, что центром смысловой языковой энергетики литературы он делает русскую провинцию. И если Москва Булгакова связана с «идеей Киева», то московские сюжеты у Платонова поверяются темой и языком русской провинции. Начиная с первой повести «Эфирный тракт» (1926), Москва будет появляться практически во всех произведениях Платонова 1927—1932 годов. С Москвой связаны маршруты ученых-изобретателей Кирпичникова и Попова («Эфирный тракт»), открывших Москву как мировой город науки, Ивана Шмакова, сформулировавшего в своих записках государственного человека идею Москвы как центра всепогружающего социализма-империализма («Город Градов»), бедного Макара Ганушкина, посетившего все центры советской Москвы («Усомнившийся Макар»), «душевного бедняка», покидающего «верховный руководящий город» («Впрок») и т. д. В «петровской» повести 1927 года «Елифанские шлюзы» появляется зарисовка Москвы, сохранившая через все эпохи глубинную задачу русского искусства: «...храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тон-

кость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром». Московские главы «Чевенгура» (1928) почти зеркально отражают содержание провинциальных глав романа. «Над домами; над Москвой-рекой и всею окраинной ветхостью города сейчас светила луна» — это тот же лунный свет, что освещает пространство далекого Чевенгура. Эта Москва населена старыми и новыми героями: это «все та же оплошавшая Москва-река, и по берегам ее продолжали задумчиво сидеть... голые бедняки», это Москва рабфактовцев, что «вбирают в свою память политическую науку», это Москва Соли Мандровой, жительницы провинциального городка, а теперь работницы Трехгорки, усвоившей в Москве знание о новой миссии женщины («людой хватает без моих детей»)... И над всей этой Москвой сирот «тихо благовестила осиротевшая церквушка», а на кладбище города, как и в провинции, «стояли притаившиеся кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки для объятия погибших» и т. д. В трагедии «14 Красных Избушек» (1932—1933) Платонов жестко разведет Москву и провинцию и языки их описания: Москва — это комедия советской литературы, провинция — это трагедия народа. Именно из далекого колхоза «14 Красных Избушек» прозвучит далеко не пушкинское: «Москва проклятая» (фраза, исчезнувшая из всех посмертных изданий пьесы). И все-таки Платонов напишет роман о Москве, возможно, не без попытки присоединиться к писательской акции 1933 года по изображению Москвы пролетарской. В 1933 году Платонов трижды безуспешно обращался к М. Горькому с просьбой включить его в один из писательских проектов. Тема пролетарской Москвы была его темой, и в конце 1933 года он подает заявку на роман «Счастливая Москва», и она принимается издательством. Что, думается, продиктовано и грандиозными замыслами самой писательской акции. О ней говорил и призыв С. Эйзенштейна к советским писателям создать коллективный сценарий «Москва во времени» и оформить символику новой Москвы в шекспировской традиции — «по 4 стихиям — воде, земле, огню и воздуху».

Собрав детей-сирот провинции (Сарториус), Москвы (Божко, Самбин), Петрограда (Москва Честнова, Комягин) в пространстве «верховно руководящего города» («Впрок»), Платонов доверил им исполнить и пережить практически все идеи и начинания, что связывались с образом Москвы как главного пролетарского города, города новой пролетарской и художественной космогонии. Он собрал на бал пролетарской молодежи представителей тех профессий — изобретателей, конструкторов самолетов, командиров стратостатов, музыкантов, медиков-физиологов, рекордсменов-парашютистов, физиков, чьи портреты в газетах 1933 года шли под рубрикой «Напишем книги о славных питомцах комсомола — строителях социализма». Он поручил героям-идеологам романа не только производственные задачи, но и литературные «концы и начала» 30-х годов: Сарториусу — лирику «работы и любви» молодого поколения; Самбикину — философию и эстетику московско-ленинградской «возвращенной молодости» (в 1933 году М. Зощенко постоянно информировал читателей о содержании повести «Возвращенная молодость» и ходе работы над ней); Комягину-Хамлету — идеологию конца петербургской поэтики (за незавершенными произведениями Комягина угадывается платоновская формула русской литературы послепушкинского периода и современного петербургского текста). Даже письма Божко трудящимся всего мира с приглашением жить в Москве выполняют на самом деле глобальную задачу 1933 года — знакомят прежде всего рабочих других стран с главными произведениями пролетарской литературы (именно так определял в 1933 году на страницах «ЛГ» задачи ЦК Союза советских эсперантистов его представитель тов. Н. Иноземцев)⁸.

Лирическую именную тему пролетарской Москвы в чистом виде ведет в романе Москва Честнова: она единственная, кто живет по законам петербургского и современного пролетарско-московского искусства, ищет новый центр бытия и дорогу к нему, проходит через все мировые стихии, продолженные Эйзенштейном в изображении Москвы (от факела революции до воздуха и воды).

Лишь одно явление оказалось не под силу героям романа — душа, с которой они сражаются искренне, неистово и последовательно, чтобы прийти к тяжкому для них выводу: «Везде есть проклятая душа». Не только в них, крайних безбожниках, но и разлита в мире и московском космосе. И успокоить боль, страдания души они не могут ничем — ни работой, ни искусством, ни любовью к Москве Честновой.

Крестьянский сын Жуйборода, сменивший в Москве свою родительскую фамилию на Сарториус, меняет и это имя, покупая паспорт у человека, считающего, что «имя — ничто». Платонов приводит героя на тот рынок, где продается прошлое России — это торжище русской культуры уже обозначено в московском романе «Циники» (1928) А. Мариенгофа и петербургско-ленинградской «Бамбачаде» (1931) К. Вагинова. Однако приводит с другими целями, заставив героя пройти через это кладбище, «самое страшное в мире» (Мариенгоф) и вагиновский абсурд — к восстановлению смысла:

«На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их намогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье и четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи — «здесь погребено тело купца 2-й гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было... Помяни мя господи во царствии твоём» — «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой... Нам плакать и страдать, а ей на господу взирать...»

Вместо бога, сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них, — в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скупал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в светящийся полдень лета — в обширной шумящей природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет».

Полное именование XIX века и выдуманное имя XX века; между ними два разведенных к разным ценностным центрам мировоззрения и ритма жизни. В XIX — Бог, Церковь, пейзаж, портрет, любовь, семья, дом; в XX — новое имя и новый мир, знающие лишь логику отрицания, ведущую к пустоте... Удержать связь между веками может только человек вспоминающий. Платонов создал единственный в прозе XX века памятник Москве социалистической 30-х годов, выросший из доверительной попытки понять тех детей России, кто эту Москву строит, переживая за них и сочувствуя им, идя с ними на их пути до тупика. Именно в этих точках тупика возникает на страницах романа ритм русской жизни прежней Москвы, что вдруг вспоминается Сарториусу. Это — Москва пушкинская, толстовская, аксаковская, это та Москва, которую в XX веке воссоздал И. Шмелев. Платонов знал, начиная роман, что новая Москва, как и «новый человек» и «новый мир», обречена временем истории, о чем он и писал в записных книжках, но: «Дело художника жить среди них и для них». Он заставил заговорить «новую» Москву, чтобы привести в финале героя к молчанию, он нашел человека, вспоминающего в пространстве тотального беспмятства имя русской культуры.

Современный культурный смысл Москвы разрушен, герои спасены лишь обозначением вектора их пути. Как булгаковский Мастер не может найти завершения романа в московском пространстве, платоновские герои, сироты, обретшие «отца Сталина», не находят в московском культурном космосе ответа на вопрос о душе. В повести «Джан» (1935) Платонов разрешит эту тему на новом московском материале, сохранив и «образ Сталина» как идею государства и восстановив дом-очаг, что открывает в Москве Назар Чагатаев, лишь пройдя через адово дно встречи-вспоминания материнской родины (во всех посмертных изданиях произведений Платонова 30—40-х годов, начиная с повести «Котлован», Сталин будет заменен на Ленина, а там, где вожди идут вместе, сделаны стыдливые купюры).

С 1936 года Платонов начнет тотальное разрушение московских формул героев, «рациональных практиков», в котором сюжетообразующим становится своеобразное вживание, привитие к «новому человеку» моделей возвращения («Река Потудань», «Третий сын»). Эпиграфом к этому новому направлению поиска можно поставить строки из стихотворения В. Ходасевича 1925 года:

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу,
К советскому дичку.

(«Петербург»)

В рассказе 1936 года «Фро», обозначив через романтическое имя героини ту колоссальную пропасть, что отделяет век XX от XIX, Платонов снимет ее трагическое «чевенгурское» содержание тончайшим психологическим рисунком состояния и *портрета* героини:

«— Ну как же вас зовут? — говорил кавалер среди танцев ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.

— Фро! — ответила Фрося.

— Фро? Вы не русская?

— Ну конечно, нет!

Диспетчер размышлял:

— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!

— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!»

В двойственности героини Фроси-Фро мерцают идеальные начала. В диалоге Фро с отцом Платонов выписывает идеал «мещани» как идеал дома-очага русской жизни:

«— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося.— Нет, наверно, я тоже мещанка...

Отец успокоил ее:

— Ну какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно: те хорошие женщины были...»

Высокий смысл этого диалога — в восстановлении образа прошлого, предполагающий и путь обретения Фро своего подлинного имени и подлинной судьбы.

На московском, петербургско-ленинградском и провинциальном материале Платонов предпринимает попытку объединить культурные центры России — найти дорогу, соединяющую Ленинград и Москву через провинцию, век XVIII и XIX русской литературы с нынешним, идею государственную, «нужной родины», с идеей бедного Евгения XX века. Странная платоновская история русской, советской и зарубежной литературы, что выстраивается им в статьях 1936—40-х гг., подчинена этой же задаче — поиску центра, философии авторитетного — авторского — слова, объединению разошедшихся к разным смысловым полюсам явлений русской жизни и культуры: Маяковского как создателя мифа коммунизма и аксаковский дом, петербургскую «Музу» Ахматовой и «электрика Павла Корчагина»...

В рассказе «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» (1936) у памятника Пушкину открывается мир, защищаемый и спасаемый прежде всего страданиями самого человека:

«...положил скрипку и заплакал, потому что не все может выразить музыка и единственным средством жизни и страдания остается сам бедный человек».

В разладе петербургского и московско-пролетарского искусства и жизни обнаружен объединяющий их пропуск — душа человеческая, восстанавливающая подлинную иерархию в мире: «Низшая Бога, но высшая всех тварей — душа человеческая... яко образ и подобие небесного Царя в ней изображено»⁹ (св. Тихона Задонского Платонов знал с детства, Задонск был родиной отца Платонова Платона Фирсовича Климентова). Разлад между культурой и человеком обнажает не абсурдность мира, а ситуацию абсурдности самого искусства, поставившего себя в центр мира. В год завершения романа «Счастливая Москва» эту коллизию культуры и жизни Платонов сформулирует с пушкинской точностью и ясностью:

«Атомный зной — искусство: оппозиция бога»¹⁰.

Р.С. Роман «Счастливая Москва» впервые опубликован в 1991 году («Новый мир», № 9); переведен на немецкий, польский, итальянский, французский языки, готовится перевод на английский язык. В ноябре 1997 года в Москве (Институт мировой литературы и Литературный институт) прошли международные научные чтения на тему «Роман «Счастливая Москва» в контексте русской культуры XX века», в которых приняли участие слависты России, Франции, Германии, Италии, Литвы, Швейцарии, Финляндии; в рамках чтений состоялся круглый стол «Андрей Платонов и современная литература»; по материалам чтений подготовлен и рекомендован к печати уникальный том с большим архивным материалом; когда выйдет, неизвестно, если не поможет какой-нибудь «добрый» фонд.

Примечания

¹ Цит. по: Федотов Г. П. Лицо России. Париж, 1967, сс. 64, 68.

² Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1927, с. 48.

³ См.: Труды по знаковым системам. XVIII. Семиотика города и городской культуры: Петербург. Тарту, 1984; Метафизика Петербурга. СПб, 1993; Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995; Петербургский текст. Из истории русской литературы 20—30-х годов XX века. СПб, 1996; Барковская Н. Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996 и др.

⁴ Цит. по: Есенин С. Полное собрание сочинения в 7 тт. Т. 1. М., 1995, сс. 59 2-597 (комментарии А. А. Козловского).

⁵ Анцыферов Н. Душа Петербурга. Пг, 1922, с. 52.

⁶ За рубежом. И. Бунин — нобелевский лауреат. «Литературная газета», 1933, № 55.

⁷ Там же, №№ 29, 52.

⁸ Там же, № 45.

⁹ Цит. по: Задонский Т. М., 1994, с. 334.

¹⁰ Архив М. А. Платоновой. Записи А. Платонова 1935—1936 гг.

«...Смиренно переживать теперешнее смутное время»

ПИСЬМА ДОЧЕРИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
1917—1925 ГОДЫ

Татьяна Львовна Сухотина (урожд. графиня Толстая, 1864—1950) — второй ребенок в семье Толстых. Родившаяся в то время, когда Л. Н. Толстой работал над романом «Война и мир» и в семье царили мир и благополучие, Танечка росла в атмосфере любви и счастья. Еще ребенком она нежно, по-матерински заботилась о братьях и сестрах. Заметив это, Лев Николаевич писал своей родственнице, что из Танечки выйдет прекрасная женщина и мать. Именно она умела, как никто другой, примирять родителей, когда в семье возникали конфликты. В детстве у Тани обнаружилось пристрастие к рисованию, и когда Толстые переехали жить в Москву, она поступила в Училище живописи, ваяния и зодчества. Наставниками ее в разное время были Репин, Прянишников, Ге.

Сочувствуя взглядам Льва Николаевича, она помогла ему во многих делах: переписывала рукописи, отвечала на письма, хлопотала за осужденных. В доме, где было достаточно прислуги, Таня под влиянием отца приучилась сама обслуживать себя, выполнять любую работу по дому, познакомилась и с крестьянским трудом.

В тридцать пять лет Татьяна Львовна вышла замуж за человека, которого любила, притом взаимно, уже давно. Михаил Сергеевич Сухотин (1850—1914), тульский помещик, действительный статский советник, а позднее депутат Первой Государственной Думы, к тому времени был вдовцом с шестью детьми. Замужество дочери не обрадовало родителей, не пожелавших даже присутствовать на венчании. Софья Андреевна записала в дневнике, что, когда дочь уходила в церковь, «Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни» (Толстая С. А. Дневники. В 2-х тт. Т. 1. М., «Худ. лит.», 1978, с. 454).

Несмотря на все опасения и тревоги, брак оказался счастливым. У Татьяны Львовны сложились прекрасные отношения не только с мужем, но и с его детьми, а у Льва Николаевича — с зятем. В 1905 году Татьяна Львовна родила долгожданную дочь Таню.

Летом 1914 года, почти сразу после начала первой мировой войны, скончался Михаил Сергеевич Сухотин. С его смертью жизнь Татьяны Львовны резко изменилась. Дети Сухотина к тому времени были уже взрослыми и не нуждались в ее опеке. Вместе с дочерью она переехала жить к матери в Ясную Поляну.

В Ясной застал Татьяну Львовну февраль 1917 года. С надеждой, хотя и робкой, встретила она известия о событиях в Петрограде. Надежды эти разрушились еще до наступления октября. Но дочь Толстого не позволяла себе впасть в отчаяние. С 1917 по 1925 год, год отъезда из России, особенно проявился ее мужественный характер, толстовская закваска. Она возделывала огород, плела из веревок обувь, вязала платки на продажу, зарабатывала на хлеб для себя и своих близких. Вместе с матерью, сестрой Александрой Львовной и братом Сергеем Львовичем она среди всеобщей разрухи и неустроенности занималась созданием музеев Л. Н. Толстого.

Но семья Толстых была не в состоянии самостоятельно поддерживать Ясную Поляну. По их просьбе в 1919 году управление имением взяло на себя «Просветительское общество "Ясная Поляна" в память Толстого», созданное в Туле в 1917 году.

Хранителем яснополянского дома была назначена младшая дочь Толстых Александра Львовна, которая к тому времени уже прошла сестрою милосердия по фронтам первой мировой войны и имела боевые награды. Однако в 1919 году она жила преимущественно в Москве, где в неотапливаемом помещении Румянцевского музея, голодная, занималась разбором рукописей отца и подготовкой их к печати. В том же 1919 году Александра Львовна оказалась под следствием по делу Тактического центра, участниками которого среди прочих были С. П. Мельгунов, С. М. Леонтьев, С. Е. Трубецкой. Вина ее заключалась в том, что она была знакома с некоторыми членами Центра и несколько раз предоставляла им для собраний, в которых участия не принимала, свою квартиру в Мерзляковском переулке. Дважды подвергалась она аресту, а 16—20 августа 1920 года Верховный трибунал ВЦИК приговорил ее к заключению в концентрационном лагере сроком на три года.

Ясная Поляна осталась на попечении Татьяны Львовны. 14 декабря 1919 года она вместо сестры заняла должность хранителя. Однако эта должность не давала достаточно прав, чтобы обеспечить сохранность усадьбы, и 13 января 1920 года Т. Л. Сухотина была назначена комиссаром-хранителем.

Одновременно с работой в Ясной Поляне она принимала участие в создании музеев Толстого в Москве. В 1923 году Т. Л. Сухотина была назначена заведующей Толстовским Музеем на Пречистенке, а в 1924 году после его объединения с домом Толстых в Хамовниках стала директором музея.

Татьяна Львовна переехала жить в Москву в сентябре 1921 года, когда вернувшаяся из заключения Александра Львовна вновь стала хранителем Ясной Поляны. В Москве она открыла школу живописи и рисования, в которой сама и преподавала. Находила она время и для литературной работы. В 1923 году вышла книга Т. Л. Сухотиной «Друзья и гости Ясной Поляны».

Гражданская война, разгром имений, тяжелый быт, работа в музеях, школа живописи... Казалось бы, достаточно. Но Татьяна Львовна постоянно была занята заботами о родных, знакомых и незнакомых людях. На свои скудные средства она собирала и отправляла посылки, обивала пороги кабинетов, чтобы хлопотать для кого-то пенсию, жильё, паек, работу...

С особыми трудностями встречалась Татьяна Львовна в своем стремлении помочь людям, подвергавшимся гонениям и несправедному суду. Множество подобных дел, в которых ей приходилось принимать участие, вынудило Татьяну Львовну в ответ на очередную просьбу оправдываться перед племянницей и объяснять (письмо к Толстой-Полевой А. И. от 3 февраля 1923 г.), почему она не может помочь всем: «Если я буду хлопотать за людей, осужденных на 2 года, да еще мне неизвестных, то у меня будут тысячи таких дел, и Калинин и Енукидзе перестанут меня принимать. Я же должна очень беречь возможность пойти к ним, чтобы хлопотать за осужденных к смертной казни». Многие вопросы ей удавалось решить благодаря тому, что она была дочерью Толстого (именно в эти годы она стала подписываться двойной фамилией: Сухотина-Толстая).

Имя великого писателя, однако, не всегда помогало защитить других, да и самих детей Толстого оно не всегда защищало. Им пришлось испытать на себе все тяготы и невзгоды того бурного времени, которое во всем его многообразии и противоречии оживает на страницах писем Татьяны Львовны Сухотиной.

27 марта 1925 года Т. Л. Сухотина вместе с дочерью уехала из России. Путь ее лежал сначала в Прагу, а затем во Францию, куда она была командирована А. В. Луначарским для чтения лекций о Л. Н. Толстом. В 1930 году ее дочь Таня вышла замуж за итальянца Леонардо Альбертини. Татьяна Львовна вслед за дочерью переехала жить в Рим, где провела остаток своих лет и скончалась в 1950 году.

В публикации использованы только документы, хранящиеся в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого. В связи с этим часть писем Т. Л. Сухотиной печатается по черновикам и авторским копиям.

Т. Л. Сухотина — С. Л. Толстому¹*10 марта 1917 г. Ясная Поляна.*

Ты хочешь знать, как в Ясной была встречена революция. Да так же, как и везде: с спокойным чувством удовлетворения.

Мужики, как всегда недоверчивые и осторожные, держатся по отношению к новой власти так, как, бывало, Филипп Родивоныч², говаривавший, что «хвалить надоть погодить». Но старой власти никто не жалеет, и то, что я слышала в последнее время на деревне о царе, царице и пр., доказывало, что недовольство правительством насытило всю Россию до такой степени, что уже больше его никто терпеть не мог.

Можно старую власть искренно поблагодарить за то, что она была настолько плоха, что из-за нее нет борьбы, и поэтому революция проходит так беспримерно мирно.

Если в народе революция прошла спокойно и сдержанно, то у рабочих и железнодорожников большое волнение. На Засеке, всегда пустынной и сонной, страшное оживление: сборища, толки, жадное чтение газет. Станционный жандарм — товарищ и приятель служащих — был со смехом и очень добродушно арестован, или, скорее, сам себя арестовал. Все в восторге и возбуждении.

В воскресенье я еще была в халате, когда услышала на усадьбе крики «Ура!» и пение «Марсельезы». В окно я увидела собирающуюся со всех сторон толпу людей с красными значками. Через несколько минут ко мне прислали от мамы³ сказать, чтобы я шла в тот дом. Я наскоро оделась и побежала. Таня⁴ бросилась за мной, очень волновалась, спрашивала, буду ли я говорить с рабочими и не арестуют ли меня, если я скажу что-нибудь «запрещенное». Я ее успокоила, хотя сказала, что даже если меня и арестуют, то бывают минуты, когда надо сказать то, что думаешь, какие бы последствия ни произошли. Решив, что если меня посадят в тюрьму, то и она сядет со мной, она успокоилась. Говорить мне не пришлось. Когда мы прибежали к дому, там стояла толпа в несколько сот человек с красными знаменами и красными значками. На одном знамени было: «Да здравствует Государственная Дума!» На другом: «Вечная память великому борцу за свободу!» На других не разобрала.

Когда мы пришли, мама уже сказала свою речь рабочим и все направились к могиле. Мама сказала несколько слов в том духе, что «если вы-де пришли к дому Толстого, то вы должны понимать его взгляды и учение, потом говорила о том, что свобода хороша, но должна быть направлена на доброе, а не на злое. Сергей Попов⁵, который присутствовал, говорит, что она хорошо сказала. Бедную поставили на табуретку, чтобы все ее видели. Рабочие все встали на колени и кричали «Ура!». Потом с мамой сделалось такое сердцебиение, что Душан⁶ счел нужным остаться с ней до обеда, не пошел с нами на могилу и даже чай пить ко мне отказался прийти. К обеду мама совсем оправилась.

А мы по страшным сугробам, по неистовой метели, при лютом морозе — утром было -20° — все пошли на могилу. Люди шли по пояс в снегу, были девицы в мелких калошах на туфельки. Но все перли против бешеной метели. На могиле пели «Вечную память», благодарили Толстого за то, что он сделал в пользу свободы, потом «снялись» и вернулись к дому за путеводителями по Ясной Поляне, которых раскупили с полсотни. Я забыла сказать, что все эти рабочие были с Косой Горы⁷.

В этот день у них открылась читальня и они просили книг, особенно запрещенных. Я, к сожалению, не могла их удовлетворить, но дала им каталог «Посредника»⁸ и экземпляр «Пути жизни»⁹.

Некоторые знакомые нашим горничным молодые люди и девушки зашли к ним выпить чаю, и Ганя¹⁰ потом рассказывала мне о том, что теперь молодежь хочет идти на фронт, а старичков вернуть, говоря, что если старых убьют, то никто не заменит отцов их сиротам, а что они молоды и холосты и готовы идти защищать родину.

Не знаю, исполнят ли и исполнимо ли их намерение, но, во всяком случае, приятно чувствовать то, что первое их движение при новом строе не мысль о себе и о том, чтобы как-нибудь для своей выгоды использовать революцию, а напротив — первое чувство благородное и самоотверженное. Хорошо было бы, кабы так и продолжалось. Но я на это не надеюсь, и хотя ты и не велишь бояться, но я боюсь

грабей и всякого хулиганства. Боюсь больше всего из-за Тани и мамы. Будь я одна — мне бы и горя мало.

У меня к этой революции чувство двоякое. Конечно, нельзя не радоваться тому, что теперь слово будет свободнее, что всякий плохой правитель легко может быть сменен, что пропавшее бессмысленно и зловредно истраченного народного богатства будет сбережено, что теперь можно будет все отцовское печатать без страха цензуры, что можно будет писать и говорить за национализацию земли и единый налог и, может быть, даже против нелепого и губящего всякое улучшение подоходного налога.

Но есть еще власть. Есть накопление громадных богатств. Есть война и войско. И пока это есть, будут неравенство, ненависть, рабство, подкупы и всякая гадость. Будут те же аресты, перлюстрация, цензурные запрещения и пр.

Вот когда люди дорастут до того, что не нужна будет никакая власть, когда перекуются мечи на орала, тогда можно будет заплакать от радости.

Я понимаю, что это сразу произойти не может и что теперешняя революция есть этап и шаг в этом направлении. Потому я ее и приветствую. Но настоящая радость впереди. И если, как это более чем вероятно, я до нее не доживу, тем не менее я верю в наступление такого времени.

Самое лучшее в этой революции — это то, что она такая мирная. Это трогательно и показывает большой духовный рост русского народа. Наш отец всегда верил в русский народ, и, кто знает, не придется ли ему действительно показать пример другим народам?

О Саше¹¹ я, слава Богу, имею хорошие известия: рана заживает, и температура нормальная. Я написала ей о том, что, по-моему, следовало бы из Толстовского фонда¹² дать хоть 1000 рублей для выпущенных политических. Я думаю, папа этому сочувствовал бы.

Получила сегодня письмо от Булгакова¹³ из Минска от 23 февраля. Если он еще не в Толстовском Музее, то на днях будет.

Ну, вот тебе подробный отчет нашей внешней жизни и моих личных переживаний.

А затем прощайте. Целую тебя, Машу¹⁴ и Сергея Сергеевича¹⁵.

Сестра Татьяна.

P. S. Услыхала сегодня о том, что в Богородицке Бобринский вооружил 400 австрийцев и устроил целую битву против представителей новой власти. Но говорят, что всех австрийцев обезоружили и забрали. Я это слышала от нашей прислуги, которой об этом рассказывал наш урядник. Какое глупое и предательское поведение, если только это правда! И который из Бобринских — не знаю.

¹ Толстой Сергей Львович, граф (1863—1947) — старший сын Толстых. Окончил естественный факультет Московского университета. Земский деятель, гласный Московской городской думы, музыковед, мемуарист.

² Егоров Филипп Родионович (1839—1895) — кучер у Толстых в Ясной Поляне.

³ Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна, графиня (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого.

⁴ Альбертини Татьяна Михайловна (1905—1996) — дочь Т. Л. и М. С. Сухотиных.

⁵ Попов Сергей Михайлович (1887—1932) — сын петербургского чиновника, педагог, единомышленник Толстого.

⁶ Маковицкий Душан Петрович (Душанчик) (1866—1921) — друг и единомышленник Толстого из Словакии. С 1904 г. жил в Ясной Поляне в качестве домашнего врача.

⁷ Косая Гора — поселок вблизи Ясной Поляны. В ноябре 1917 г. рабочие и служащие косогорского металлургического завода охраняли Ясную Поляну.

⁸ «Посредник» — книгоиздательство, основано в Петербурге в 1884 г. В. Г. Чертковым при участии Толстого.

⁹ «Путь жизни» — сборник изречений религиозно-философского характера, созданный Толстым в последний год его жизни.

¹⁰ Иванова Агафья Терентьевна — горничная Т. Л. Сухотиной.

¹¹ Толстая Александра Львовна, графиня (1884—1979) — младшая дочь Толстых. В 1929 г. уехала в Японию для чтения лекций о Толстом. Затем переехала в США, там занималась фермерским хозяйством, а с 1939 г. возглавляла «Комитет помощи всем русским, нуждающимся в ней» (Толстовский фонд). Александра Львовна узнала о февральской революции в минском госпитале, где находилась по поводу заражения крови и тропической лихорадки, полученной ею на Турецком фронте.

¹² Очевидно, имеется в виду фонд, образовавшийся от издания «Посмертных произведений Л. Н. Толстого» и использовавшийся для благотворительных и издательских целей.

¹³ Булгаков Валентин Федорович (1886—1966) — секретарь Толстого в 1910 г., автор книг и статей о нем, один из организаторов и сотрудников музеев Толстого.

¹⁴ Толстая (урожд. Зубова) Мария Николаевна, графиня (1867—1939) — вторая жена С. Л. Толстого.

¹⁵ Толстой Сергей Сергеевич, граф (1897—1974) — сын С. Л. Толстого от первого брака. Лингвист.

Т. Л. Сухотина — А. Н. Дунаеву¹

4 мая 1917 г. Ясная Поляна.

Хорошо, что я иногда должна писать вам по делу, дорогой друг. Это побуждает меня поделиться с вами моими мыслями и чувствами. А то я думала бы о вас, мысленно разговаривала бы с вами, но никогда не написала бы, так как для того, чтобы сесть за письменный стол и написать все то, что я думаю и переживаю, не хватило бы у меня ни времени, ни бумаги. А когда нужно писать вам по делу, то невольно выскажешь вкратце все то, что наболело.

Все, что вы переживаете, я отлично угадываю. И часто, часто за последние дни я только думаю одно: «Как Александр Никифорович с своим сердцем может еще переносить все то, чем это сердце болеет?» Хорошо, что нет в живых отца и Михаила Сергеевича²! У них сердца бы кровью изошли, глядя на нашу родину, которую они оба (хотя и по-разному) любили всем сердцем.

На днях, когда я показывала отцовские комнаты группе солдат, один сказал: «Как жаль, что Л. Н. не дожид до настоящего момента!» Я не могла удержаться, чтобы не сказать, что я каждый день благодарю Бога за то, что он не дожид до него.

Когда я рассказала, что делается у нас в окрестностях среди мужиков и рабочих, солдат очень спокойно сказал: «Да отчего мужички с конокрадами и ворами не расправляются по-своему: поймал его, так тут же его и прикончил бы».

За последние дни у нас в деревне в разное время увели пять лошадей. На шоссе ограбили и изнасиловали бабу, шедшую в Тулу с 400 рублями для покупки коровы. На шоссе зарезали мужика-сапожника, ехавшего в Тулу за товаром. На Косой Горе убили сторожа. У нашего священника увели лошадей. В Овсянниково³ (где, к великому моему огорчению и разорению, я завела свое хозяйство) ночью приходила целая толпа человек в 15, и мой садовник и сторож слышали, что они собирались «за ноги вытащить» девушек-работниц, которые живут вчетвером в отдельной избе. Только когда мои люди открыли стрельбу, толпа разбежалась. <...>

Сегодня я получила от кочетовского управляющего⁴ письмо. Вот что он пишет: «Подо Мценском у В. Н. Шеншина в имении солдаты разбили винокурный завод, перепились. 150 человек отравились и умерли, и 5 человек зарезано на полотне железной дороги». У нас в Кочетах пока очень смирно и хорошо. Мужикам сделаны некоторые уступки, как-то: удаление черкеса и урядника из имения. Мужики отвечают сами за порубки и кражи и обещали, что их не будет. Управляющий пишет: «Новосильский уезд к дому Сухотиных и ко Льву Николаевичу Толстому относится доброжелательно. При общем собрании народа в Новосиле из управы портреты всех помещиков повышвыряли, оставили портрет Михаила Сергеевича и пожелали повесить портрет Льва Николаевича». В другом месте он пишет: «Мужики страшно волнуются, собираются ежедневно. Главная беда — некому ими руководить... Мужики наши пока держатся, но, помилуй Бог, один провокатор — и все погибло... Сегодня ожидаем Петра Григорьевича в Кочеты (доктор Дашкевич, сосланный в Сибирь и бежавший оттуда, большой наш друг, чистейший и честнейший человек) в школу поговорить с крестьянами, которые послали за ним и хотят его послушать».

Видите — какая жажда что-либо уяснить себе и что-либо узнать. А что дают им нынешние товарищи: возбуждают низкие инстинкты, озлобление, ненависть и жадность.

Власть теперь более всего в руках рабочих. А что они показали? Начали с шкурного интереса: прибавки жалованья и уменьшения работы.

Солдаты по 24 часа сидят не евши в окопах, и с ними же их офицеры. Миша⁵, брат, говорит, что ему, «буржую», приходилось по два дня не есть. Саша,

«буржуйка», по три дня круглые сутки работала сестрой милосердия, когда это бывало нужно...

Вчера при мне соседний мужик ссыпал мне картошку в Овсянникове, а другой мужик, из другой деревни, приходил получать деньги за работу. Так после двух или трех слов они стали с таким озлоблением говорить друг с другом, что только бы подзудить их, и они полезли бы драться. Второй мужик (получавший деньги за работу) имеет мало земли и кормится тем, что малярничает, кровельничает и делает всякие поделушки. Ему было обидно, что первый крестьянин продал картофель за 2 р. 50 к. меру, а за ржаную муку просил 6 р. Он требовал, чтобы тот продавал по твердой цене. А продававший картофель утверждал, что он свободен за свой труд просить сколько ему угодно и что если ему поставят твердые цены на его продукты, то следует и второму мужику поставить твердые цены на его руки и ограничить ему плату.

Я вполне соглашалась с продавцом картофеля и считаю, что «свобода», отнимающая у трудящегося человека плод его труда, далека от настоящей свободы.

Помните, папá говорил, что свобода не может быть целью, а есть только последствие доброй и нравственной жизни?

«Товарищи» ничего не понимают и ходят глупые, торжествующие и самоуверенные.

Ко мне ходит очень много народа: рабочих, солдат, мужиков, а теперь и учащихся. На днях на меня вытаращили глаза гимназисты, когда я сказала, что оппортунистские газеты, как «Русское Слово», в былое время печатали на первой странице портреты вешателей и убийц, как Столыпин и компания, а теперь убийц Спиридонову⁶, Сазонова⁷ и других. Разницы в них никакой нет: и те и другие действовали во имя блага народа. Гимназисты мои так смутились, но промолчали. Думаю, может, они назовут меня ретроградкой и приверженицей старого режима, а может быть, это наведет их на здравые мысли и будет им прок. Во всяком случае, «делай, что должно»⁸.

Теперь о деле: посылаю вам свой вкладной билет и прошу вас положить мой деньги опять на год, но из них 5 тысяч рублей перевести на мой текущий счет в Тулу. Пишу об этом отдельное заявление. Остальные же 78 тысяч положите опять у себя на годовой вклад. Хорошо, кабы вы прибавили мне %. А то деньги утекают у меня, как вода. Надо еще Таньку воспитать. А потом, Бог даст, она сможет зарабатывать.

Ну, прощайте, дорогой друг. Напишите о своем настроении. Как обидно думать, что европейцы теперь с презрением смотрят на нас и только об одном жалеют — это зачем они связались с такой безобразной нацией. А не все мы такие. Я постоянно вижу разумных, добрых, религиозных, идеальных людей. Но их голос сейчас заглушен. У нас есть такие люди, которых европеец и понять не в состоянии. Недаром Тютчев сказал: «Не поймет и не оценит гордый взгляд иноплеменный, что сквозит и тайно светит в наготу его смиренной...»

Будем на них надеяться и сами не грешить.

Т. Сухотина.

Р. С. Прибавлю вам еще вот что: что в минуты горя и отчаяния, а главное, осуждения к людям у меня иногда вдруг проходит по сердцу мягкая и радостная волна жалости и прощения к тем людям, которые «не ведают, что творят». И становится ясно то, что люди, держанные поколениями в темноте и рабстве, не могут сразу ясно видеть.

Они не виноваты. Виноваты отчасти мы. И нам надо терпеливо и смиренно переживать теперешнее смутное время, греша как можно меньше злобой и осуждением.

Вероятно, когда-нибудь все «образуется». Ни я, ни вы этого не увидим. Но внуки наши, может быть, дождутся...

¹ Дунаев Александр Никифорович (1850—1914) — один из директоров Московского торгового банка, близкий знакомый и единомышленник Толстого.

² М. С. Сухотин.

³ Овсянниково — имение Т. Л. Сухотиной.

⁴ Овсянников Петр Иванович — управляющий имением М. С. Сухотина Кочеты.

⁵ Толстой Михаил Львович, граф (1879—1944) — сын Толстого, земский деятель, во время первой мировой войны служил в Кавказской туземной дивизии. С 1920 г. в эмиграции.

⁶ Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — член партии эсеров. В 1906 г. убила Г. Н. Луженовского, руководившего подавлением крестьянских восстаний в Тамбовской губ.

⁷ Сазонов (Созонов) Егор Сергеевич (1879—1910) — член «Боевой организации» эсеров; 15 июля 1904 г. убил министра внутренних дел В. К. Плеве.

⁸ Любимая французская поговорка Л. Н. Толстого: «Fais ce que dois, advienne, que pourra» («Делай, что должно, и пусть будет, что будет»).

С. А. Толстая и Т. Л. Сухотина — А. Ф. Керенскому

<20-е (?) числа октября 1917 г. Ясная Поляна.>

Министру, Председателю
Александрю Федоровичу
Керенскому.
Петроград.

Срочная.

Крапивенский уезд в огне погромов. Зачинщики известны, но не арестованы. Имущество не отбирается. Ясная Поляна в опасности. Возможно, что будем принуждены уехать. Считаю долгом правительства защитить дом и реликвии Толстого.

*Софья Толстая,
Татьяна Сухотина.*

Т. Л. Сухотина — С. Л. Толстому

27 октября 1917 г. Ясная Поляна.

Расскажу сначала, что у нас в Ясной за эти дни произошло и происходит.

19-го октября утром, когда Таня и я еще спали, раздался энергичный стук ко мне в дверь и голос Гани (она ездила на 10 дней к себе на родину и в этот день должна была вернуться), который в решительных тонах требовал, чтобы я поскорее отперла свою дверь. Я вскочила, чувствуя, что что-то случилось. Ганя сообщила мне, что она на Засеке¹ съехала со всей семьей Оболенских², которая просит немедленно прислать за ними лошадей. Я распорядилась, чтобы за Оболенскими на станцию ехало два экипажа, чтобы затопили печи в двух нежилых комнатах, поставили самовар и пр.

Часа через полтора явились: Коля, Наташа, няня Матреша и все четверо детей. Всего багажа — один ручной чемодан.

Коля рассказал, что он накануне получил от сочувствующих крестьян предупреждение и совет немедленно уезжать. Коля хотел остаться до утра, но его так торопили, что он велел запрягать, одел детей, собрал кое-что из самых нужных и ценных вещей и на тройке помчался в Лазарево. Забыл в столе 1000 рублей и оставил письма моего отца к Маше, которые погибли.

На полдороге, во Ржаве, горела усадьба. Коля велел свернуть в сторону. В Сорочинке встретилась им толпа, которая стала гикать и кричать: «Держи! Пали!» Один солдат уцепился за повод пристяжной. Но лошадь горячая, ринулась вперед, свалила солдата, и коляска благополучно помчалась дальше. Полночи Оболенские провели на Лазарево, потом сели на поезд и к 10 часам утра были уже у меня. Слава Богу, никто из детей не простудился.

Через полчаса после отъезда Оболенских из своего дома туда пришла толпа из двух деревень, чтобы громить усадьбу и дом. Свои пироговцы, не пустили их, и между ними завязалась борьба с дракой и стрельбой. Чужие спихнули пироговцев в реку. Но все-таки в конце концов победа осталась за пироговцами. Когда они прогнали соседей, то пироговцы заколотили двери дома и решили его сторожить. Но тут партия, которая желала погрома, пошла на хитрость: предложила дом отпереть и все вещи разобрать по дворам, чтобы их сохранить для Оболенских. В то же время кучер, отвезший Оболенских на станцию и получивший от него поручение тихонько, незаметно пройти в дом и вынуть из стола бумаги и деньги, имел глупость прямо прийти к дому и сказать, что «князь велел мне из его стола взять 1000 рублей». Староста, бывший городской и, по словам Коли, совершенный идиот, который все время убеждал мужиков грабить, говоря, что «теперь наше время, и все, что есть у князей, мы нажили», бросился

на ура, как рассказывают очевидцы. За ним бросилась вся толпа, и тут стали все растаскивать. Всю ночь до утра «работали». В одну эту ночь зарезали и поели 60 уток. Побили банки с медом, из которых руками ели мед, перерезав себе при этом губы и рты; вываливали кадки с капустой и огурцами, ели из жестянок руками «Меллинс Фуд», приготовленный грудной Леночке, и пр. Когда покончили с содержимым дома, стали ломать самый дом: выломали все оконные рамы, двери, полы и потолки и все растащили.

К нам сюда стали понемногу являться из Пирогова разные гонцы. Первый пришел какой-то кривой старик, служивший в Пирогове сторожем. От него первого мы узнали о погроме. Потом приехала портниха, которая была приглашена Наташей из Тулы, чтобы пошить на детей. Она спасла швейную машину и еще что-то. Потом приехал с Колиной коляской и парой лошадей один из его служащих. Потом приехало три мужика и одна баба. Баба — приятельница и не участвовала в погроме, а двое из прибывших «работали» вместе с другими и не отрицали этого. Приехали они на подводах и привезли Оболенским сундуки с платьем, бельем и шубами, кое-какие портреты, сломанный комнатный ледник и ванну. От себя привезли ситников, яиц и три яблока. Все расстроены, сконфужены, огорчены, скажу — убиты. Баба говорила, что в Казанскую (пироговский престольный праздник) никакого веселья не было, все ходили понурые и скучные. Я вошла к ним, и на мои слова: «Что же вы наделали?» — два мужика промолчали, а третий, помолчав и глядя в сторону, уныло буркнул: «Пастуха нет!» Потом мы разговорились, и они настолько были трогательны, что вместо чувства возмущения и негодования к ним я почувствовала только жалость. Вот уж истинно — «не ведают, что творят». Сидевшая тут баба, красивая, худая солдатка, поникла головой, а по носу и щекам у нее так и катились слезы. Один из мужиков сказал нашим людям, что если бы мужики решили опять построить князю дом, то он сам дал бы 1000 рублей.

Конечно, приехало только четверо, а грабило несколько десятков, и правда, что мельницу у Коли отобрали и не отдают и что бабы не отдают коров, которых они доят и на которых еще обижаются, что у них недостаточно жирное молоко, но приехавшие четверо показывают, как отуманены и как спутаны их головы. Коля говорит, что каждый вечер в Пирогове можно было видеть над многими избами струйку дыма, выходящую из труб нескольких изб. Это аппараты для выгонки водки. Водка продается в Пирогове по 10 рублей бутылка. Из пуда муки получается восемь бутылок, так что за пуд хлеба крестьянин выручает 80 рублей. Сам священник в Пирогове курит водку и пьет ее. Вот последствия нелепого Закона о хлебной монополии.

Наташа очень мужественно крепилась все время, но когда ей шибанула в нос вся безумная бессмыслица происшедшего, она не удержалась и горько расплакалась. Ей очень обидно за Колю. И Коля оскорблен до глубины души и очень озабочен будущим своей семьи. Подумать — кому позавидовали! У Коли 30 с лишним десятин земли, богатство не Бог знает какое! В Пирогове не у одного мужика земли больше этого. Кроме помощи и добра, никто ничего от него не видал. До Ясной часто доходили похвалы ему. Мне не раз говорили, что это «отец родной», что «он большой капитал себе и своим детям оставил в памяти народа» и т. п. <...>

Теперь о нас. Наше положение не лучше Оболенских, потому что у них по крайней мере все уже позади, а у нас впереди. Постоянно доходят до нас таинственные, тревожные слухи отовсюду о том, что Ясную собираются громить. То нам тайно докладывают о том, что на деревне у милиционера было секретное собрание. То один из охраняющих нас солдат таинственно вызывает меня и сообщает о том, что на сегодняшнюю ночь назначен погром Ясной. То доносят, что в волости говорят, что надо сделать побольше костер и сжечь на нем Графиню за то, что она не дала коров на армию. (А у нее уже взяли одиннадцать породистых симментальских коров из 25, и она отказала на основании бумаг из Продовольственного Комитета, в которых ее убеждали в том, чтобы она сохранила свое племенное хозяйство, и обещали защитить ее от реквизиции.) То племяннику нашего садовника в Колпне (деревня в 8 верстах отсюда) сообщают, что их деревня сговорилась нас громить, и на его слова, что «приходите, мол, тогда узнаете, как на фронте дерутся», отвечают, что им 15 солдат не страшны.

Послушавши все эти разговоры, я послала Керенскому телеграмму от имени мамá и своего, говоря, что я считаю долгом государства охранить дом и реликвию Толстого. В ответ на эту телеграмму сегодня явились из Орла 100 пеших и 23 конных солдата. Кроме того, у нас живет двенадцать солдат. Пехота дня через два уйдет, а конные солдаты поместятся в имении Звегинцевой (6 верст от нас) и будут по очереди держать караул.

Мы ночи не спим, прислушиваясь к каждому шороху. Иногда не раздеваемся и не раздеваем детей, а так лежим кое-как, готовые по первому сигналу бежать. У каждого по чемоданчику с самыми любимыми и нужными вещами, который не раскладывается. Всю ночь ходят солдатские патрули, и почти каждую ночь видны зарева пожаров. Сожгли Чефировку³, сожгли нашего соседа Булыгина⁴, разгромили Бибиковых⁵ в Спасском, пироговских Толстых⁶, Гагариных, Долино-Иванских обоих братьев и пр., и пр. Все это от нас очень недалеко⁷.

Вывезти что-либо заранее мы боимся, так как этим можно подать сигнал к разграблению. И так мы и сидим, не зная, на что решиться.

Я сдала в Тулу письма моего отца ко мне и кое-какие небольшие драгоценности. То же сделал и Коля. Но будет ли в Туле вернее?!

Не говоря о комнатах и вещах отца в том доме, для меня было бы ужасно тяжело потерять все то, чем я теперь живу: письма ко мне за всю мою жизнь, дневники, разные материалы для моих работ, книги, кучи фотографий, рукописи и пр. Бедная мамá очень взволнована, расстроена, суетится, то укладывается, то раскладывается и в конце концов вполне положила на меня и Колю. А мы тоже ничего не знаем, как поступить.

У нас на деревне ребята слышали, что ребята говорили, что что бы из дома Толстого ни продать, за все можно взять большие деньги. С другой стороны, Таня слышала, что мальчишки говорили, что они не будут защищать дом, а будут защищать книги... Ну, всего не перескажешь!

Вот положение дел в Ясной. Ужасно горько подумать, что до этого дошло! И кто в этом виноват — не разберешь!

27 октября 1917 г. Ясная Поляна.

Милый Сережа, так как я не могу всем своим близким писать длинные письма, то посылаю тебе копию с своего письма к Леве Сухотину, из которого ты увидишь, в каком мы положении.

Не вызвать ли нам Булгакова сюда, чтобы он увез отсюда все самое ценное: портреты, письма от меня и мамá и пр.?

Ведь ввиду того, что делается в правительстве, может наступить еще худшая анархия, и тогда никакие солдаты защищать не будут. <...>

Трудно жить — и нравственно, и материально. А это еще не конец. Целую тебя.

Таня.

¹ Засека — железнодорожная станция вблизи Ясной Поляны. Далее в письме называются населенные пункты Тульской губернии.

² Оболенский Николай Леонидович, князь (1872—1934) — помещик, с 1899 г. муж дочери Толстого Марии Львовны (1871—1906), внук Марии Николаевны Толстой (1830—1912) — сестры писателя, которой принадлежало имение Малое Пирогово Тульской губернии. После смерти Марии Львовны Н. Л. Оболенский женился на Наталье Михайловне Сухотиной (1882—1925), падчерице Т. Л. Сухотиной, и вместе с нею и детьми жил до описываемых событий в имении Малое Пирогово. В 1919 г. был назначен заведующим хозяйством имения Ясная Поляна.

³ Чефировка — имение, принадлежавшее М. Л. Толстому.

⁴ Булыгин Михаил Васильевич (1863—1943) — бывший гвардейский офицер, знакомый и единомышленник Толстого.

⁵ Бибиковы — семья Марии Сергеевны Бибиковой (урожд. графини Толстой, 1872—1954), дочери С. Н. Толстого, брата писателя. В пяти верстах от Пирогова находилось имение Спасское, принадлежавшее ее мужу С. В. Бибинову (1871—1920).

⁶ Вдова С. Н. Толстого Мария Михайловна (графиня, урожд. Шишкина, 1829—1919) и их дочь Вера Сергеевна (графиня, 1865—1923) с сыном Мишей.

⁷ В. С. Толстая в письме к И. И. Горбуновым-Посадовым от 27 ноября 1917 г. сообщала, что в ту ночь в окрестностях Лазарева Тульской губернии было разгромлено больше 40 усадеб.

Т. Л. Сухотина — Председателю Продовольственного Комитета Белкину

19 марта/1 апр. 1918 г. Ясная Поляна.

Милостивый Государь.

Податели этой записки — яснополянские крестьяне, у которых «инструктор Миронов» (настоящий или поддельный) реквизировал купленные ими для своей семьи муку и для своей скотины овес. Это люди нуждающиеся и всегда покупающие хлеб, так как у них своего и в хорошие года не хватает.

Будьте так добры разобрать их дела и, по возможности, не допустить, чтобы нуждающиеся трудящиеся люди потерпели убыток. Они просят возвращения им муки и овса; или хотя бы одного овса за муку и овес; или хотя бы затраченные деньги.

Ведь если кто-нибудь должен нести ответственность за нарушение твердых цен, то во всяком случае скорее продавец, а не покупатель. Первый спекулирует, а второй от нужды спасается.

На днях к Вам будут яснополянские крестьяне с просьбой отпустить им овса на обсеменение. Надеюсь, что Вы не откажете им. Яснополянцы во все это тревожное время стараются вести себя так благоразумно и порядочно, что достойны всякой похвалы и награды.

Благодарю Вас вперед за все, что Вы сделаете для моих земляков, и прошу принять уверение в моем уважении.

Резолюция на письме: На основании Государственной хлебной монополии Центральное Правительство Советов воспрещает частные закупки, ибо они срывают Монополию и дезорганизуют продовольственное дело, а посему ведется решительная борьба с мешочниками.

Тов. председ. губ. прод. управы

Дем<идов> (?).

Т. Л. Сухотина — Д. В. Никитину¹

27 апреля/10 мая 1918 г. Ясная Поляна.

Дорогой Дмитрий Васильевич.

Давно получила ваше письмо, которому была очень рада, но на которое, простите меня, по лени до сих пор не отвечала.

Слышала о вас и о разных невзгодах, которым вы подвергались, от фельдшерицы Кузнецовой или Кузминой.

Все то, что вы пишете, испытываем мы все. Хочется уехать из России, где проявилось столько зла и глупости, что жить стало совершенно невыносимо. Никто из нас никогда не подозревал того запаса гадости, который, очевидно, всегда жил среди нас, но который страхом и принуждением был подавляем так, что мы о нем и не подозревали.

Также не подозревали мы о той непримиримой классовой ненависти, которая всегда в скрытом виде жила в людях иного, чем мы, класса, и воспитания, и образования.

Мне часто очень тяжело чувствовать, что меня, всю жизнь желающую добра народу, считают теперь врагом его. Глядя назад на свою жизнь, я вижу, что с самого детства, когда я вместе с папá учила деревенских детей, потом работала с ним в поле, потом в голодных местах, где я также зачастую голодала и несколько раз чуть не замерзла, разъезжая одна в санках по голодающим деревням, и до жизни с моим мужем, когда я всегда сочувствовала и помогала всем земским работам по устройству санитарного, школьного и прочего дела для народа, всегда я искренно, всей душой делала то, что могла для того, чтобы ему лучше жилось. И все это мы делали вполне бескорыстно, никогда не получая за это ни копейки денег и никакой славы. Ведь мой муж, до старости с трудом прослуживший в земстве, никогда не служил за деньги. А очень часто ему при его старости и болезни бывало трудно и мучительно ездить в Новосиль за 25 верст и очень часто оставаться в меньшинстве, а иногда и совсем одиноким против «буржуйских», как теперь говорят, и за

народные интересы. Когда он умер, мне говорили в Новосиле, что теперь за «маленьких людей» некому слова сказать.

А теперь мы все враги и отсталые люди!

Часто я думаю, что для меня это очень хорошо. Это искупление за мою относительно роскошную и относительно праздную жизнь. Хотя я вижу постоянно людей гораздо более праздных и богатых, которые считаются друзьями народа, но это тем более для меня полезно.

У нас на деревне, как и везде, много раздора, спора и розни. Есть партия молодых «анархистов», как они себя называют, не понимая совершенно значения этого слова, которые делают «эксы» (экспроприации) в Туле и у которых можно купить по 800 р. каракулевые саки и другие вещи, которые палят с утра до ночи из украденных винтовок и револьверов; есть партия, стоящая за старое; есть просто терроризованные люди, которые ничего не хотят, кроме покоя, а есть ли действительно сознательно нравственно просвещенные люди — не знаю. Зависть и корысть страшно развратили всех. У нас есть крестьяне, очень разбогатевшие за последние года. У одного, я знаю наверно, есть 110 тысяч. Пьянство у нас повальное. Спирт покупается по 100 р. за бутылку, и у всех, за редкими исключениями, он есть. А хлеба у многих не вволю, и едят овсянку и картошку взамен его.

У меня Овсянниково отняли. Местечко, куда милой старушкой Шмидт² положено столько работы, где 8 лет работал Буланже³, также положив туда много труда и денег,— все это перешло в «общественную» собственность, т. е. ни к кому. Дом пустует. Огород и клубника не обработаны и не засажены, мужики хотят разгородить огорожу и пустить скот пастись по клубнике. Не говоря об этом варварстве, это огромная ценность, которая пропадает. В Овсянникове засажена целая десятина клубникой, которая дает около 200 пудов клубники. В прошлом году цена была 40 р. за пуд, а нынче будет еще дороже. Лошадь и корову у меня взяли и весь инвентарь расхитили.

Для себя и для Тани я считаю это очень полезным и искренно нахожу в этом для себя благо. Но не могу не считать, что это нелепо, и глупо, и невыгодно.

Вот что, Никитенко: я написала свои воспоминания о «Старушке Шмидт», и мне хочется посвятить этот очерк вам. Мне представляется, что, помимо нашей семьи, редко кто так нежно и искренно ее любил, как вы, и так ее понимал и уважал. Думала послать эту вещь в «Ниву», уже упаковала ее и собралась послать, как вдруг почему-то стало неприятно, и я опять ее спрятала. Все же думаю, что пошлю.

Что вам написать про себя? Всякий день делаю одну работу: стараюсь не возмущаться и не негодовать, а понимать, прощать и извлекать для себя пользу из всего происходящего. Материально я до осени обеспечена хлебом. Деньги же получаю, продавая кое-какие вещи. Мой небольшой капитал конфискован. Кочеты разграблены и отобраны. Да у меня там, кроме плохонькой обстановки, ничего и не было. Теперь взято и Овсянниково, и я настоящая «пролетарка». Таня нынешнюю зиму без учительницы, учат ее гастролеры вроде мамá, меня, прогостившего у нас два месяца Мити Кузминского⁴. Дом мой полон семьей Оболенских: родители, четверо детей и двое слуг. Живем дружно. Мама стареет: теряет память, но тиха и кротка. С ней живет ее сестра Т. А. Кузминская⁵. А надо всей Ясной царствует П. А. Сергеевко⁶. Ничего о нем не скажу, чтобы не согрешить. С ним и его младший сын⁷.

С крестьянами у нас очень хорошие отношения: многие ко мне часто заходят побеседовать. И когда их видишь поодиночке, то выносятся впечатление совсем не то, как когда они в толпе. Иногда мне искренно жаль их за то, что они так одурачены и спутаны, а главное, обозлены и натравлены друг на друга.

Душанчик все живет у нас и много работает. Все более и более уподобляется «угоднику». Недавно его земляки отзывали его из Ясной Поляны, но он, помолвившись, как он говорит, решил тут остаться. Мы, разумеется, этому очень рады.

Ну, вот вам про всех нас сведения. Хорошо бы, кабы вы к нам приехали. Старых друзей тем более ценишь, чем они старше. Я недавно потеряла очень любимого старого друга, М. А. Олсуфьева⁸, и теперь жалею о том, что мало его видела, когда могла, и мало показывала ему дружбы. Вот и я как-нибудь помру, и вы будете об этом жалеть.

Ну прощайте, милый Дмитрий Васильевич. Напишите или лучше приезжайте.

¹ Никитин Дмитрий Васильевич (1874—1960) — в 1902—1904 г. жил у Толстых в качестве домашнего врача.

² Шмидт Мария Александровна (1844—1911) — друг семьи Толстых, с 1895 г. постоянно жила и занималась хозяйством в Овсянникове.

³ Буланже (псевд. П. Хлебников) Павел Александрович (1865—1925) — знакомый Толстого, автор статей о нем. После смерти М. А. Шмидт некоторое время жил и вел хозяйство в Овсянникове.

⁴ Кузминский Дмитрий Александрович (р. 1888) — сын Т. А. Кузминской, юрист.

⁵ Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846—1925) — родная сестра С. А. Толстой, автор книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» и др. сочинений.

⁶ Сергеенко Петр Алексеевич (1856—1930) — литератор, знакомый Толстого, автор воспоминаний и статей о нем.

⁷ Сергеенко Михаил Петрович — сын П. А. Сергеенко, в 1919 г. служил помощником заведующего хозяйством в Ясной Поляне.

⁸ Олсуфьев Михаил Адамович, граф (1860—1918) — близкий знакомый семьи Толстых, товарищ старших детей писателя.

Т. Л. Сухотина — Я. П. Мексину¹

21 января 1919 г. Ясная Поляна.

В ответ на письмо от Литературной Комиссии при «Нашем Доме» выражаю свою готовность написать книгу для детей о школе моего отца Л. Н. Толстого. Я только не могу обещать приготовить ее раньше двух месяцев, так как у меня набрано много других работ, которые надо кончить.

Иллюстрации же к детским рассказам я могу рисовать между делом, поэтому прошу теперь же прислать мне на пробу два-три рассказа.

Моя специальность — портрет, т. е. человек, звери же, пейзаж, русский и другой стиль — не в моей специальности, и за этого рода иллюстрации я не возьмусь.

Очень желаю успеха вашему делу. Воспитание меня всегда занимало и волновало, и я всю жизнь имела дело с детьми, которых я учила и воспитывала. С детства я учила дома и в школе. Всегда меня особенно тянуло к дошкольному возрасту.

Вы, конечно, знакомы с работами самой выдающейся педагогички нашего времени — д-ра Марии Монтессори².

Несколько лет тому назад я познакомилась не только с нею и с ее книгой, но и со всеми «Детскими Домами» («Case dei Bambini»), устроенными в Риме по ее методу.

Я написала об этом книгу «Мария Монтессори и новое воспитание» (изд. «Посредника»).

Путь, по которому идет Монтессори, — путь свободы. Орудие, которым она пользуется, — это знание или наука. А свет, при котором она работает, — любовь.

Несмотря на то, что она никогда не читала педагогических сочинений моего отца и не знала его, она во многих своих выводах сходится с ним.

Если бы когда-нибудь случилась нужда в руководительнице какого-либо детского дома, особенно если он будет в деревне, то я, может быть, не отказалась бы от такого места. Моя семья состоит, кроме меня, из 13-летней моей дочери и ее воспитательницы-англичанки³, которая давно уже живет в нашем доме и делит с нами наши лишения и невзгоды, как делила и довольство.

Она могла бы быть очень полезной в деле воспитания, так как это не только ее профессия, но и призвание.

Условий за свою работу я ставить не могу. Поставьте ваши, и если они приемлемы, то я торговаться не буду.

¹ Мексин Яков Петрович (1886—1943) — детский писатель, переводчик, редактор, создатель и директор Музея детской книги.

² Монтессори Мария (1870—1952) — итальянский педагог. Татьяна Львовна написала о ней большую статью, которая была опубликована в издательстве «Посредник» в 1914 г.

³ Miss Wells (Уэллс А. Ф.) — гувернантка Т. М. Альбертини. Осенью 1920 г. вернулась в Англию.

Т. Л. Сухотина — Д. И. Шаховскому¹

15 марта 1919 г. Ясная Поляна.

Многоуважаемый Дмитрий Иванович.

Будьте так добры написать мне два слова о том, можно ли будет видеть Вас в ближайшие недели в Москве. Тульское Общество «Ясная Поляна» командирует кого-нибудь из своего правления для уяснения дел Ясной Поляны и для разных ходатайств по ее поводу.

До сих пор время было настолько тревожное, что трудно было понять требования момента и установить какое бы то ни было *modus vivendi*.

Сейчас прошла волна разрушительная, которую мы, несмотря на некоторые бестактные вмешательства, благополучно миновали.

Теперь сами большевики очень охотно идут навстречу всякой созидательной работе, конечно с условием, чтобы плодами ее пользовались не частные лица.

Ко всему, касающемуся Ясной Поляны, они относятся с большим уважением, и поэтому я думаю, что они пойдут навстречу всему, что будет клонить к сохранению Ясной Поляны.

Думаю, что и Вы со своей стороны поможете нам в этом.

Пожалуйста, поэтому и обратите внимание только на ходатайство тех лиц, кот. будут посланы в Москву с *определенными поручениями от Общества «Ясная Поляна» и от семьи* (Выделено Т. Л. Сухотиной.— Ю. Я.). Поручения эти будут касаться дома, усадьбы, сада и хозяйства Ясной Поляны, т. е. того, что необходимо поддержать для сохранения тех памятников и реликвий, которые для многих дороги.

До сих пор занимался этим П. А. Сергеенко, но он настолько восстановил против себя те общества, организации и частные лица, с которыми входил в сношение, что многие заявили о том, что с ним не желают иметь дело. Такое положение вещей в деле, касающемся Ясной Поляны, очень нежелательно, и потому мы обратились к правлению Общества «Ясная Поляна» о том, чтобы оно взяло в свое владение дела Ясной Поляны.

Слышала о том, что Вы болели тифом, и о том, что поправились, чему все, знающие Вас, очень порадовались. Будьте здоровы и впредь.

¹ Шаховской Дмитрий Иванович, князь (1861—1939) — земский и политический деятель, входил в состав Временного правительства. С двадцатых годов занимался литературной деятельностью.

Т. Л. Сухотина — В. Ф. Булгакову

26 июня 1919 г. Ясная Поляна.

Дорогой Булгаша.

Сейчас получила ваше письмо, которое очень расстроило меня. Передача Петроградского музея Академии Наук возмутительна. И не основана ни на каком самом элементарном праве. Лично я, сделавшая очень мало, но все же внесшая и свою лепту в этот Музей, чувствую себя оскорбленной за такое деспотическое распоряжение музеем. А что скажет инициатор и создатель этого Музея — Михаил Стахович¹? Моя и да многих постоянная мечта была та, чтобы когда-нибудь все соединить в один Музей, который должен был быть создан в Хамовниках². Я и на Сашу сердилась за то, что она отдала рукописи, находящиеся в ее руках, в Академию Наук. И когда бы я у Стаховича ни спрашивала, передаст ли он все, хранящееся в Петроградском Музее, в наш Московский, он всегда без сомнения отвечал, что смотрит на все музеи как на временные до основания главного, центрального в Хамовниках.

Я напишу туда же, куда и вы, свое мнение. А вам я хочу высказать свои соображения, только что мне пришедшие в голову. Может быть, я перемену их и возьму назад, но пока они мне кажутся основательными.

Когда Оболенский был в Москве, он был у Троцкой³, которая, как вы, вероятно, знаете, стоит во главе коллегии по охране памятников старины и

искусства. Между разговором секретарь Троцкой спросил у Оболенского, интересуемся ли мы Хамовническим домом и почему мы его не возьмем. Так как Оболенский не был уполномочен заниматься домом, то ответил уклончиво. А я, по возвращении его из Москвы, написала Троцкой, что я, вероятно, приеду к ней по поводу Хамовнического дома и прошу ее не давать никому никаких на него прав до моего приезда. Сделала я это потому, что в Москву поехал Сергеенко, который никогда никому из нас не говорит о своих планах и намерениях, и который вдруг неожиданно получает разные полномочия, поручения, которых он осуществить не в состоянии, но которыми он закрывает путь другим лицам.

Ввиду того, что случилось, может быть, было бы своевременно обратиться к Троцкой с тем, чтобы она способствовала устройству центрального Музея в Хамовническом доме. Денег у большевиков много, перед Толстым они преклоняются. А брать ли деньги для Музея от большевистского правительства или от какого-либо иного — безразлично. Деньги всегда деньги, и правительство всегда правительство. Т. е. деньги всегда будут орудием насилия, а правительство будет всегда представителем насилия.

Как только будет создан центральный Музей, так в него притекут все маленькие музеи и даже вещи, рукописи, коллекции из частных рук.

Так вот, чтобы сделать заключение из того, что я пишу, я предлагаю вам приехать в Ясную, обсудить со мной вопрос и потом «делегировать» меня в Москву к Троцкой.

Хорошо, кабы вы поехали со мной.

Все разговоры о том, что теперешнее правительство на днях погибнет, не должны нас задерживать. Может быть, оно и не погибнет. А может быть, следующее будет достаточно разумно, чтобы не уничтожить всего, что сделано этим, и, вероятно, имя Толстого не померкнет при новом перемещении людей из подвластных и властвующих.

Так вот, Булочка, подумайте о том, что я пишу, и немедленно отвечайте мне. Читала ваше интересное письмо к маме. Она очень стала слаба и стара и, кажется, не в состоянии ответить вам.

Т. Сухотина.

¹ Стахович Михаил Александрович (1861—1923) — орловский помещик, земский деятель, один из организаторов партии октябристов, член Госдумы и Госсовета, знакомый Толстым. Один из основателей музеев Толстого.

² В 1892 г. Толстые купили дом в Долгохамовническом пер. (теперь ул. Л. Толстого, д. 21). В 1911 г. С. А. Толстая продала дом городской управе в надежде, что там будет создан музей. Музей был открыт в 1921 г.

³ Троцкая (Седова) Наталья Ивановна (1882—1962) — вторая жена Л. Д. Троцкого (с 1903 г.). В 1919 г. — председатель коллегии по делам музеев и охране памятников старины при Наркомпросе.

Т. Л. Сухотина — С. Л. Толстому

28 сентября 1919 г. Ясная Поляна.

Мильй Сережа,

посылаю тебе и Саше по ящику антоновки и по мешку картофеля, пока еще принимают багаж.

Наступают жуткие дни. У нас в большом доме стоит командный состав 21-го полка. Командир полка сам 10. Деревня битком набита солдатами. Наши постояльцы замечательно вежливы и деликатны, и солдаты пока ведут себя примерно. Я призывала к себе командира полка и говорила ему о том, что я считаю, что пребывание их в доме Толстого недопустимо, что я приняла их накануне в час ночи, как приняла бы всяких странников, просящих приюта, что я как хранительница дома считаю своей обязанностью ему это сказать, объяснила ему, почему я это считаю, и просила убрать красное знамя, которое они привезли. Он выслушал меня очень вежливо, сказал, что они приехали не самовольно, что их прислали, просил позволения пробыть еще день. Знамя убрал. Вчера он был в Туле и, кажется, пока остается.

Мне страшно делать усилие, чтобы выселить их, потому что это люди порядочные, готовые признать наши права и значение того дома, в котором они находятся. А кого еще могут прислать — неизвестно. С каждым бороться будет трудно. Выселить же командный состав и остаться с эскадром солдат на деревне — очень нежелательно.

Мама очень спокойна и разумна.

Ну, прощай, Сергуня. Крепко целую тебя. Когда и как приведется свидеться?!
Таня.

Т. Л. Сухотина — М. И. Калинин

Без даты <октябрь—ноябрь 1920 г.>

Ко мне это последнее время поступает много проектов ознаменования десятилетия со дня смерти моего отца. Все хотят сделать что-нибудь доброе для его поминоков. А в то же время дочь¹ истязуется рабоче-крестьянским правительством, которое забыло не только то, что сделал для народа отец, но и то, что дочь его всю жизнь работала для него же. Когда посетители, приходящие осматривать комнаты отца (за последнее время было много иностранных делегаций), спрашивают о том, хорошо ли относится теперешнее правительство к нам, я всегда отвечаю, что прекрасно, и скрываю от тех, кто этого не знает, что дочь Льва Толстого сидит в концентрационном лагере. Вы, конечно, догадываетесь, что я это скрываю не потому, чтобы мне было стыдно за нее...

Она пишет нам бодрые письма, в которых рассказывает, как она устроила школу и вечерние чтения с волшебным фонарем в лагере, стараясь хоть немного пробудить заглушенные души тех несчастных существ, с которыми ее свела судьба; пишет, что много читает, и ни разу не пожаловалась на свою судьбу. Но нам-то нельзя спокойно смотреть на то положение, в котором она находится в ежеминутной опасности всякой заразы.

Михаил Иванович, если у Вас есть дочь-девушка или какая-либо близкая и любимая молодая женщина, то представьте ее в подобных условиях и подумайте о том, что Вы чувствовали бы за нее...

Это письмо передаст Вам наш делопроизводитель Виктор Серг<еевич> Щеглов, очень милый человек, которому я прошу Вас уделить несколько минут на беседу.

¹ Толстая Александра Львовна (о заключении А. Л. Толстой в концентрационный лагерь см. вступление к публикации).

Т. Л. Сухотина — Н. В. Крыленко¹

Без даты <сер. декабря (?) 1920 г.>²

Товарищ Крыленко!

В конце октября я была в Москве и хотела Вас видеть. Я просила Н. И. Троцкую устроить мне с Вами свидание для того, чтобы переговорить о моей сестре Александре Толстой. Нат<алья> Ив<ановна> не успела этого сделать до моего отъезда в Ясную Поляну и посоветовала мне приехать к Вам попозднее. Мы все надеялись на то, что сестра будет освобождена в день годовщины ноябрьской революции. Но она под амнистию не попала.

Приехать в Москву мне в данное время очень трудно, так как сейчас нельзя уехать от работ в Ясной Поляне. Но, кроме того, я думаю, что письменно я смогу изложить Вам все то, что могла бы сказать устно.

Меня очень огорчило то, что Советское правительство не сочло возможным освободить сестру ни ради ноябрьского праздника, ни в память десятилетия со смерти ее отца. На это надеялись ее друзья, и я в том числе.

Не мне Вам говорить о ее проступке против Советской власти. Вы участвовали в суде, который, по словам присутствовавших на нем, был веден безукоризненно. Поэтому Вы знаете, что на тех собраниях, которые происходили на квартире сестры, она не присутствовала. Я бы думала, что это обстоятельство

достаточно доказывает и отсутствие в ней интереса к тому, что на них происходило, а также и недоверие к ней тех лиц, которые в этих собраниях участвовали. О том, чтобы на этих собраниях происходили какие-либо заговоры, она, разумеется, не знала.

Неужели только за то, что она разрешила людям собраться в своей комнате, она заслуживает того положения, в которое она сейчас поставлена? Она голодает, холодает, живет во вшах и клопах, и, что еще страшнее, она живет среди потерявших всякий человеческий облик проституток, зараженных болезнью, которая может заразить и ее; морфинисток, грубых, умеющих только ругаться самыми отвратительными ругательствами.

Она сама ни разу не жаловалась на свое положение, стараясь во всем найти благо и дело. Но нам, любящим ее, очень тяжело о ней думать в такой обстановке. Я часто думаю о том, что сказал бы ее отец, если б знал, что его Корделия (как он ее называл), которую он так нежно и бережно охранял от всякой грязи, находится в таких условиях.

Недавно весь мир поминал его. В Ясную Поляну приезжали люди самые разнообразные. Многие из них спрашивали меня о том, хорошо ли живется семье Льва Толстого, и я обыкновенно умалчивала о положении сестры и говорила, что нам живется хорошо. Вы, вероятно, поймете мотивы, которые мною руководили при этом ответе.

Кроме всего остального, я должна напомнить Вам о том, что инкриминируемые собрания у сестры происходили в 1918 и 19 годах. Она с тех пор очень изменила свои взгляды. Но каковы бы не были ее взгляды, она в политике никогда никакого участия не принимала и, уверена, никогда принимать не будет. Дело ее и наше другого характера.

Знаете, Николай Васильевич, я иногда думаю, что есть какие-нибудь ложные доносы и клеветы на сестру, так как мне трудно предположить, чтобы за то, что ее обвинили на суде, Советская власть могла бы забыть не только то, что сделал ее отец для народа, но и то, что его дочь всю свою жизнь работала для него же.

Ко мне постоянно приходят друзья крестьяне из соседних деревень, предлагая ехать ходатайствовать за Александру Львовну. Также все организации, связанные с именем Л. Толстого, собираются писать просьбу об ее освобождении. Я же хочу обратиться только к Вам, так как знаю, что Вы хорошо знакомы с делом, что это в Ваших руках и что Вы любите справедливость. А потому я пишу к Вам и только к Вам и пока удерживаю всякие коллективные выступления и в них не участвую.

Прошу Вас, если у Вас есть любимая сестра, жена, дочь, мать, вообще любимое существо, представьте его на месте моей сестры и подумайте, что Вы желали бы для него. Тогда Вы поймете, как всем, любящим мою сестру, тяжело за нее. Особенно это было тяжело в дни, когда поминали и чествовали моего отца, а также и сейчас, когда по привычке детства и по старой памяти при наступлении всякого Нового года вспоминаешь всех своих близких и дальних и желаешь им всякого добра и благополучия.

Того же желаю и Вам, товарищ Крыленко. Буду ждать от Вас ответа. Адрес: Станц. Ясная Поляна. Московско-Курской жел. дор. Если будете в наших местах, заезжайте в Ясную Поляну.

¹ Крыленко Николай Васильевич (1885—1938) — с 1918 г. председатель Верховного Трибунала, с 1931 г. — нарком юстиции РСФСР, а с 1936 г. — СССР.

² Публикуемый ниже черновик письма к Крыленко не имеет даты, но его можно датировать серединой декабря 1920 г. на основании письма Т. Л. Сухотиной к С. Л. Толстому от 12 декабря 1920 г., в котором она пишет: «Положение Саши очень тяготит и мучит меня. Пишу теперь письмо к Крыленку, обдумывая каждое слово и стараясь стать на его т. зр. и ничем не раздражить его. Говорят, он представляет из себя ту пружину, на которую нужно нажать для Сашиного освобождения. Ходят слухи, что он ждет того, чтобы к нему обратились».

**Заявление на имя Председателя ВЦИК М. И. Калинина
по делу Л. А. и Н. И. Смирновых¹**

Без даты <1923 г. (?)>

Заявление.

Прошу Михаила Ивановича Калинина помиловать двух сестер Смирновых Любовь и Надежду. Обе девушки истеричные, временно увлекшиеся религиозным экстазом, но вскоре отрезвившиеся, что доказывает то, что имевшиеся у них церковные воззвания они отдали своей няне на сожжение. При сделанном обыске воззвания нашлись в корзине няни, которая пожалела сжечь хорошую бумагу и оставила ее для покрытия чугунов.

Сестры Смирновы замечательно самоотверженные девушки, по натуре коммунистки, делясь всем тем убогим имуществом, которое у них бывает, ходят по бедным, помогая всячески; лечат, учат и отдают последнее.

При высылке старая мать останется безо всякой моральной и материальной поддержки, а сестры погибнут от начавшейся уже душевной болезни.

Очень прошу доброго Михаила Ивановича войти в положение несчастной семьи и помиловать сестер Смирновых.

Т. Сухотина-Толстая.

¹ Смирновы Любовь и Надежда Аркадьевны — выпускницы тульской гимназии; в марте 1923 г. по ст. 72 приговорены к высылке в Березов. В письме от 7 декабря 1923 г. их мать, А. П. Смирнова, благодарит Татьяну Львовну за помощь.

Т. Л. Сухотина — А. Л. Толстой

17 июня 1924 г. Кореиз, Таврической губернии, санатория «Гаспра».

Милая Саша.

Вчера я прочла в «Правде» перепечатку из тульского «Коммунара»¹. Меня она и возмутила, и огорчила. Огорчила из-за дела, которое может из-за клеветы погибнуть, и за тебя, потому что тебе, конечно, все это очень больно. Очень возможно, что эти газетные нападки не будут иметь никаких последствий. Но надо лучше подумать, как быть дальше.

Ты никогда не следовала моим советам и с презрением относишься к моим административным способностям, что, к сожалению, ты не раз высказывала именно тем, кому этого не следовало слышать. Но не в этом дело. Ты совершенно права в том, что я плохой администратор. Но я в вопросах принципиальных неплохой судья. И если ты постарайся вспомнить: ни разу я тебе не давала совета, который был бы ошибочен в делах принципиальных.

Также и с школой: вся эта затея — печальная ошибка. Можно только делать то дело, которому вполне сочувствуешь. Ты как-то обмолвилась, что ты три года работала «по-большевистски». Тем хуже. Ты не можешь работать по-большевистски. И это прекрасно знает наше правительство. Поэтому, если ты затеяла их дело, вполне понятно, что они хотят взять его в свои руки, найдя, что они его сделают лучше. Прекрасная французская поговорка, которую я всегда помню: «*Mon verre n'est pas grand, mais ye bois dans mon verre*»*. Я всегда помню ее и стараюсь не браться за то, чего я не смогу сделать. Надо делать то дело, которое только ты можешь делать. Ты скажешь, что нападки не из-за школы одной. Да, но чем менее уязвимых мест, тем лучше.

26 июня. Я все это время пристрадала от невыносимых головных болей. Сегодня первый день лучше, и я пользуюсь этим просветом, чтобы писать. Не могу понять, отчего происходят эти головные боли. Если повторятся, усну.

Здесь удивительно хорошо во всех смыслах. Прекрасная природа, погода. Все цветет. Пропасть черешен, начались сливы и персики. Живем с Таней наверху рядом с большой комнатой с дверью в церковь. Прекрасный стол, очень милый персонал. Общество очень интересное, культурное и веселое. Таня веселится изо всех сил. За ней очень ухаживают. Одно плохо — это что

* Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана (*франц.*).

корейские подвалы сохранились и что наши кубисты очень сильно оттуда черпают. И когда Таня ночью уходит или уезжает с этими компаниями, у меня нет ни минуты спокойствия. Думаю, что сердце мое вместо того, чтобы тут сократиться, сильно расширится.

Я написала редактору «Правды» Николаю Ивановичу Бухарину письмо. Посылаю тебе черновик. Ты разберешь. Не зная, какие ты примешь практические шаги, я ничего не прошу. Но то, чтобы Бухарин не только от тебя имел опровержение, полезно. Говорят, он порядочный человек. Возможно, что корреспонденция была напечатана без его ведома. Напиши мне поскорее, что у вас делается.

Всех целую.

Таня.

Приложение: Т. Л. Сухотина — Н. И. Бухарину

<сер. июня 1924 г. Корейск, Таврич. губ.>

Многоуважаемый Николай Иванович.

В 132 № «Правды» я прочла перепечатанную из тульского «Коммунара» статью о Ясной Поляне. Меня очень огорчило, что Вы могли допустить помещение такой неправдивой статьи в редактируемом Вами органе. Не знаю, известно ли Вам, что моя сестра посылала опровержение в «Коммунар» и что это опровержение не было помещено. Я пишу к Вам без всякой практической цели. Мне только хочется сказать Вам, насколько мне огорчительно, что Вы могли без проверки напечатать такую ложную статью, полную неправды. В Ясной Поляне было несколько ревизий. Все ревизии дали хорошие отзывы, и после заметки в «Коммунаре» моя сестра просила ВЦИК послать кого-нибудь для новой ревизии и проверки.

Так как я в начале июня уехала сюда в санаторию, то не знаю результатов ее просьбы.

Но ни корреспонденции, ни ревизии правды не изменяют. А правда в том, что моя сестра уже три года совершенно самоотверженно работает в Ясной Поляне, не считая ни часов, проведенных в работе, и не учитывая, разумеется, положенных на эту работу сил и энергии.

Возможно, что когда-то какой-нибудь крестьянин и назвал ее «Ваше сиятельство», но об этом смешно упоминать. Ни теперь, ни раньше никто из нашей семьи не давал директивов о том, как к нам обращаться. И если иногда мы поправляли кого-нибудь, то, конечно, не в сторону чиновничества.

Да об этом мне стыдно даже писать, и я знаю, что Вы, как культурный человек, этого не можете не понимать.

Второе: в Ясной из Толстых, кроме сестры Александры, *никто* (выделено Т. Л. Сухотиной.— Ю. Я.) не живет. Одна из устроительниц школы — наша двоюродная сестра Е. С. Денисенко². Но она живет, работает и получает вознаграждение за свой труд так же, как и все ее товарищи по работе.

Есть в Ясной один человек, который не служит и не состоит членом артели — это наша старая тетка, сестра нашей матери, прототип Наташи Ростовской в «Войне и мире» — Т. А. Кузминская. Ей 76 лет. Она получает пенсию и занимает комнату в Ясной Поляне. Но мне кажется, если даже не признать ее права как любимой свояченицы Л. Н. доживать свои дни в доме, где она провела большую часть своей жизни, то каждый служащий имеет право иметь при себе члена своей семьи. Тетка представляет из себя семью моей сестры, которая холостая и другой семьи не имеет. Больше нет ни одного родственника Толстых в Ясной Поляне. В прошлом году я со своей дочерью провела в Ясной Поляне месяц своего отпуска, и в нынешнем году я провела там 10 дней. За питание свое мы платим ту сумму, которая вносится каждым обедающим в общей столовой. Брат мой Сергей в прошлом году провел, насколько я помню, недели 2 в Ясной, а в нынешнем он там и не был. Но я считаю, что единственные оставшиеся в России и в живых и самые близкие дети Толстого иногда имеют право поехать на несколько недель отдохнуть в Ясной Поляне от их тяжелой, полной лишений и непосильной работы жизни в Москве. Кажется, кроме корреспондента «Коммунара», нет человека в республике, кто этого не признал бы. Какие же это господа Толстые, которые любят попить и поесть, по мнению т-ща Д.? Мне 60 лет, я вегетарианка и принципиально еще задолго до революции жила иначе, чем люди моего класса. Моему брату 61 год. О каких няньках может

быть речь? Из Толстых в России в живых осталось только трое: Сергей, Татьяна и Александра. Из каких паразитов Толстых может состоять артель³? Одна моя сестра Александра состоит членом артели. И она работает больше и лучше всякой другой артельщицы. Прошлым летом я видела, как она, работая на покосе до позднего вечера, ночью писала отчеты, доклады и пр. Если бы ее ограничить 8-ми часовым днем, то для нее было бы это большим облегчением. С других же она непосильной работы никогда не требует и требовать не может. Все дела ведаются не ею единолично, а правлением артели.

Тот 10-процентный урожай, который по постановлению артельщиков должен отчисляться «престарелым» Толстым, практически не отчисляется. Для меня он ограничился в прошлом году 1 пудом муки, 5 пудами яблок да молочными продуктами, которые потреблялись мною во время моего пребывания в Ясной. В нынешнем году продуктов нет еще, поэтому о них и речи быть не может.

Меня не удивляет, что в Туле есть непросвещенные люди, руководимые личными счетами (Тула не может простить Ясной Поляне то, что она, обойдя ее, имеет дело с центром), которые могут писать небыллицы, но чтобы центральный орган, как «Правда», был бы так плохо осведомлен относительно характера детей Л. Н. Толстого и их деятельности — это удивительно. Если не стоит ими интересоваться, то и писать о них незачем. А если, как я думаю, обязанность правительства и общества знать о том, в чьих руках находятся их культурные ценности, то странно руководствоваться для этого корреспонденцией провинциального фельетониста, который, в свою очередь, информирован перемещенным артелью за свою непригодность на низшую должность артельщиком.

¹ Н. Добротвор. «Тайна ясно-полянского двора». — «Коммунар», Тула, 1924, 10 июня.

Перепечатана под заглавием «В Ясной Поляне» в газете «Правда» от 14 июня 1924 г.

Опровержение, написанное Александрой Львовной Толстой на эту клеветническую статью, было опубликовано в газетах: «Коммунар», 1924, 28 июня; «Правда», 1924, 2 июля.

² Денисенко (урожд. графиня Толстая) Елена Сергеевна (1863—1942) — племянница Л. Н. Толстого; преподавательница музыки и иностранных языков.

³ В 1921 г. вся земля заповедника по постановлению ВЦИК перешла в пользование трудовой коммуны, а через год была организована артель служащих музея и школы.

Т. Л. Сухотина — А. Л. Толстой

19 августа 1924 г. Москва.

Милая Сашенька, давно пора написать тебе и поблагодарить за присылку с милыми дамами прекрасных продуктов. Дамы уже уехали, я написала Марии Александровне бумагу, но не знаю, подействовала ли она, и продукты почти все уже уничтожены, а я вот все не собралась написать тебе. Главным образом не пишу я потому, что ужасно на душе тяжело. Такая гнетущая тоска, что сказать не могу. И не знаю, чем ее объяснить. Все то, что меня мучает, было и прежде. Но теперь это режет сердце, а прежде было чувство, что все можно победить и что все «образуется». Мучает меня то, что Таня не образована, не здорова, в страшной опасности дурного поведения, без сильных нравственных устоев. Мучает меня та бессмысленная жестокость, которая производится нашим совершенно ослепшим правительством. Между прочим, Любу Новосильцеву¹ замучили до того, что она безнадежно больна в тюремной больнице. Обвинили ее в каких-то заговорах. Ну не верх ли это нелепости и жестокости. Мучает, нет, не мучает, а гнетет постоянное отсутствие денег. Ни выстирать белья, ни починить зубы, ни купить необходимый «Боржом» или пару чулок — ничего нельзя. У меня около 20 червонцев долга, и это меня угнетает. Но это меньшее. А нужда всех вокруг: Маши Бибиковой, Анночки², Ольги Константиновны³, Татариновы⁴ и пр.! Ведь это ужас!

Есть и утешения: сегодня мне рассказывали о деятельности Сережи Булыгина⁵ и о результатах этой деятельности... Это поразительно. Приедешь, узнаешь... Вот в Индии влияние Ганди распространилось на весь индийский народ в 300 000 человек. Не невозможно, что и у нас подобное же движение охватит и русский народ. Прекрасное письмо я сегодня прочла от Ром. Роланда к Вал. Булгакову⁶. А книга его о Ганди полна таких удивительно глубоких мест, которые без волнения читать

невозможно. Идет сильная волна «непротивленческого» движения, такая сильная, что чувствуется, что в ней будущая мощь и что только она сможет принести инстинную свободу. Хотелось бы участвовать во всем этом, а приходится бегать по магазинам и предлагать всякие никому ни на что не нужные и не продающиеся вещи, стирать свое тряпье и за деньги переписывать (это сейчас Таня делает) бездарные сочинения. Таня поступила в Музей служить. Получать будет что-то в роде 20 р. Она каждую субботу уезжает в деревню к Марице Глебовой⁷. У нее пять мальчиков, и Таня там ходит босиком, купается, играет в разные игры и наслаждается. Ездили мы с ней и к Толстозубовым⁸ на дачу. Очень хорошо под Москвой. Когда я вырасту большая, я непременно заведу себе под Москвой какую-нибудь избушку и буду жить вроде М. А. Шмидт.

Бедная Сашка! Ты привыкла, что я тебя осуждаю! Нет. Я не осуждаю. А часто болею за то, что ты делаешь не совсем так, как мне казалось бы нужным. Ты иначе не можешь, я понимаю. Но и я не могу не иметь своих взглядов. Также и с Таней. Я понимаю, почему она такая, какая есть; почему так, а не иначе, смотрит на вещи, и не могу ее за это осуждать. Но и никак не могу одобрять. Могу только болеть душой за нее, так же, как иногда и за тебя.

Студии своей я еще не начинала; начну с 1 сентября. Сейчас я одна в Музее, все сотрудники разъехались. А дела всегда много.

Ну, прощай. Целуй от меня Тетеньку. Тебя крепко целую.

Таня.

¹ Новосильцова (урожд. Свербеева) Любовь Дмитриевна (1878<9?>—1954<8?>) — знакомая семьи Толстых. Была арестована в апреле 1924 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности. Т. Л. Сухотина ходатайствовала о помиловании Новосильцовой.

² Толстая-Попова (урожд. графиня Толстая, в первом браке Хольмберг) Анна Ильинична (1888—1954) — внучка Л. Н. Толстого.

³ Толстая (урожд. Дитерихс) Ольга Константиновна, графиня (1867—1939) — первая жена Андрея Львовича Толстого, сына писателя.

⁴ Татариновы — дочери бывшего новоторжского уездного предводителя дворянства, близкие знакомые Толстых.

⁵ Булыгин Сергей Михайлович (1889—1943) — сын М. В. Булыгина, сельскохозяйственный техник. Знакомый и последователь Толстого. В 1916 г. сослан за воззвание против войны. В 1923 г. вновь осужден. Умер в ссылке.

⁶ Письма Романа Роллана к В. Ф. Булгакову хранятся в парижском архиве Роллана. Очевидно, имеется в виду письмо Р. Роллана от 26 июня 1924 г.

⁷ Глебова (урожд. Михалкова, в первом браке Кристи) Мария Александровна — дальняя родственница Толстых.

⁸ Так называли семью Сергея Львовича Толстого и его жены Марии Николаевны, урожденной Зубовой.

Т. Л. Сухотина — А. Л. Толстой

23 октября 1924 г. <Москва.>

Саша, милая, спасибо за твое такое хорошее и ласковое письмо ко мне. Надолго осталось у меня на душе мягко и тепло от него. В дни годовщины всегда говорят много хорошего и всегда преувеличивают достоинства и заслуги того, кого празднуют. Но это вызывает хорошие чувства, и во мне вызвало еще стыд, что итог моих заслуг так скромен. Я всегда стыжусь перед людьми, которые не прошли той школы, какую я, имея пример такого отца и, скажу, во многом такой матери, и которые без шума, без усилия живут геройской жизнью. Ну, что делать, надо хлопотать, чтобы знаменатель был поменьше.* Мое «чествование» прошло очень благополучно и очень трогательно. Я таких штук не люблю. Но тут было положено столько трогательного желания выразить мне хорошие чувства, что я это перенесла более чем легко. Был чай, две речи: И. И. Горбунова¹ и Н. Н. Гусева², несколько приветствий, между прочим, ваша телеграмма, потом прекрасно играли Игумнов³, Гольденвейзер⁴ и Сибор⁵. Так как приглашала не я, а сотрудники Музея, то я не протестовала против приглашения Гольденвейзера.

Да, Саша, я видела, что на тебя произвело впечатление чтение моего доклада⁶. Не знаю, какова вторая часть, думаю, что она хуже первой, во-первых, потому, что

* Толстой говорил, что величина человека определяется дробью, в числителе которой его истинные качества, а в знаменателе то, что он о себе думает (Ю. Я.).

главное мое старание направлено было на первую часть. Мне хотелось дать образ молодой Софьи Андреевны. Последние же года и дни так часто и много описывались, что я не вхожу в подробности и только говорю о той перемене, которая произошла в характере матери, и о ее нервной болезни. Как в начале, так и в конце я стараюсь доказать, что никто не виноват. И я никого не задеваю. Мне дорого, чтобы осталось хорошее любовное чувство к обоим, и по тому впечатлению, которое я видела в Петербурге, мне кажется, что мне это удалось. Во-вторых, потому вторая часть может быть хуже, что я очень торопилась. Здесь мне лекцию запретили. Думаю, что к 7/20 ноября разрешат. Кое-кто обещал.

Получила я вчера письмо от Маши Толстой⁷. Страшно довольна, благодарит и радуется. Гирса⁸ только что оттуда и очень ее хвалит. А вот у Анночки бедной беда: Николая⁹ на 7 лет закатали. Она здесь хлопочет. Я пока ей не помогаю.

Таня служит в музее. Работает более добросовестно, чем я от нее ожидала. Но на днях очень страдала от зубов: и флюс, и нарыв, и боль нестерпимая. Сегодня в первый раз вышла. Был опять припадок аппендицита, и мы твердо решили резаться. Сегодня легла в Солдатскую больницу Верочка Абрикосова¹⁰ для такой же операции. Сережа с Машей по-старому, только еще уплотнились. Столовую разгородили на 3 части.

Здесь большое волнение произвело то, что Грузинский¹¹ с Цявловским¹² приняли предложение редакторства полн. собр. соч. изд. Госиздата. Но пока все обстоятельство не выяснены, возмущаться рано.

Наше слияние Музеев на бумаге уже существует с 1 октября. Но пока еще мы не определили, в какой форме оно будет происходить.

Ну вот, все наши новости. Крепко тебя целую. Когда ты приезжаешь?

Таня.

¹ Горбунов-Посадов (наст. фамилия Горбунов) Иван Иванович (1864—1940) — близкий знакомый и последователь Толстого, руководитель издательства «Посредник» с 1897 г. по 1925 г.

² Гусев Николай Николаевич (1882—1967) — секретарь (1907—1909) и последователь Толстого, автор книг о нем, сотрудник Государственного музея Л. Н. Толстого.

³ Игумнов Константин Николаевич (1873—1948) — пианист, профессор Московской консерватории.

⁴ Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961) — пианист, профессор Московской консерватории, близкий знакомый и единомышленник Толстого.

⁵ Сибор Борис Осипович (1880—1961) — скрипач, посетитель Толстого.

⁶ Татьяна Львовна написала это письмо в ответ на письмо к ней Александры Львовны. Так как взгляды сестер на отношения между родителями часто не совпадали, оценка, которую дала Александра Львовна в этом письме лекции, прочитанной Татьяной Львовной, представляется особенно интересной:

А. Л. Толстая — Т. Л. Сухотиной

14 октября 1924 г. Сухуми.

Милая моя старушка.

Не успели мы оглянуться, как уже не только ты, но и я чувствую приближение старости. Поздравляю тебя, милая Таничка, поздравляю тебя с твоим шестидесятилетием, поздравляю тебя с особенным чувством, потому что всегда уважала и любила седые волосы и морщинки (которые, кстати, что-то у тебя не видать) и с особым чувством уважения и умиления смотрю на людей с сединами, особенно, когда эти седина носят так красиво и почтенно, как ты, моя старая сестра.

Ты ужасно растрогала меня своим докладом. Когда я его прочла (первую часть), я долго ничего не могла сказать тебе, да и на улице еще как-то мутно было в глазах (что-то мешало различать трамвай), когда я вышла от тебя. Уж очень ярко выступила трагедия наших родителей и та жизнь их совместная, которую я совсем ведь не знала. Почувствовала ли ты это? Но самая трудная часть — вторая, как-то ты с ней справилась? Срезневский мне что-то не сумел этого передать.

Пишу тебе в 6,5 ч. утра, сейчас едут отсюда в Москву, и я спешу застать пароход.

Крепко целую тебя и Танюшку.

Любящая тебя сестра Саши.

⁷ Мария Андреевна Толстая, графиня (р. 1908 г.) — дочь Андрея Львовича Толстого от второго брака. В 1924 г. Татьяна Львовна помогла ей выехать для учебы в Чехию.

⁸ Гирса — представитель Польши в СССР.

⁹ Хольмберг Николай Андреевич (1887—1954) — первый муж А. И. Толстой-Поповой.

¹⁰ Абрикосова Вера Хрисанфовна (р. 1906 г.) — дальняя родственница Толстых.

¹¹ Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930) — литературовед, профессор Московского университета, член редакционного комитета Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

¹² Цявловский Мстислав Александрович (1883—1947) — литературовед.

Т. Л. Сухотина — С. Л. Толстому

28 марта 1925. Вагон «Москва — Негорелое»,
11 ч. утра

Сереза, милый, ужасно грустно было тебя оставлять нездоровым. Пожалуйста, тотчас пришлите мне открытку: Prague, poste restante.

Едем в спальном вагоне очень удобно. Таня поплакивает. Погода и природа серые. В 4 часа будем на границе. Целую тебя и Машу и более, чем когда-либо, чувствую, как тебя и Машу люблю и как ты мне дорог...

Т.

Приписка Т. М. Альбертини:

Милый дядя Сереза, очень грустно, что я почти не видала тебя перед отъездом и даже не успела как следует проститься. Целую тебя крепко.

Таня.

*Вступление, публикация и
примечания Ю. Д. ЯДОВКЕР*



Юбилей музея

Государственному музею Л. Н. Толстого, с которым редакцию журнала «Октябрь» связывает многолетнее сотрудничество, исполнилось 85 лет.

Открытие музея Толстого в Москве в первую годовщину со дня смерти писателя стало важным событием в истории русской культуры. Музей был основан на общественных началах при участии В. Я. Брюсова, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, А. М. Горького, художников И. Е. Репина, Л. О. Пастернака, В. Н. Мешкова, скульптора С. Д. Меркурова, театральных деятелей К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, В. И. Качалова, А. А. Яблочников. Деятельное участие в организации музея принимали друзья и единомышленники Толстого В. Г. Чертков, П. И. Бирюков, Н. Н. Гусев. Большую помощь оказывали Сергей Львович Толстой и Татьяна Львовна Сухотина.

28 декабря (по старому стилю) 1911 года музей Толстого принял первых посетителей в семи тесных комнатах в доме Хрентовича-Бутенева на Поварской улице. Здесь музейная экспозиция действовала до 1915 года.

Музей возродился к жизни в 1920 году, когда В. И. Лениным был подписан Декрет Совета Народных Комиссаров о национализации «Дома Льва Толстого в Москве». Взятый под охрану государства дом Л. Н. Толстого в Хамовниках и литературный музей, размещенный в особняке А. Г. Григорьева на улице Пречистенке, 11, стали единым музейным комплексом. Тогда же музею была передана так называемая «стальная комната» в доме Морозовой на Пречистинке, 21, для хранения рукописей великого писателя.

Первым хранителем музея Толстого был П. И. Бирюков, затем В. Ф. Булгаков. В 1923 году заведующей музеем назначили Т. Л. Сухотину-Толстую, старшую дочь писателя. После ее отъезда в 1925 году за границу музей возглавлял биограф Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев.

Для укрепления авторитета музея много сделала С. А. Толстая-Есенина, внучка Л. Н. Толстого, бывшая директором музея в 30—50-е годы. С 1978 года музей возглавляет Л. М. Любимова.

За восемь десятилетий московский музей Толстого превратился в обширный музейный комплекс, в состав которого входят филиалы — музей на улице Пятницкой, 12, где Л. Н. Толстой жил в 1858 году, и музей на станции Лев Толстой (бывшей Астапово) в Липецкой области, где скончался писатель 7 (20) ноября 1910 г.

Музей получил мировую известность благодаря обширности и ценности хранящихся в нем коллекций; сегодня в музее насчитывается более 420 тысяч единиц хранения. Тысячи посетителей привлекают создаваемые в музее экспозиции и выставки. С первых дней основания в музее ведется активная просветительная работа: лекции, вечера, «Толстовские чтения», научно-фондовые конференции — неотъемлемая часть культурной жизни Москвы. Большое внимание уделяется самым маленьким посетителям: для них открыта и действует уже несколько лет детская Академия «Муравейные братья» — совершенно уникальное явление в музейной научно-просветительной практике.

Существует и Передвижной музей Л. Н. Толстого, познакомивший с музейными коллекциями почитателей Толстого во многих городах нашей страны. Большой успех имели зарубежные выставки музея — в Англии, Германии, Индии, Японии, Болгарии, Чехии и Словакии.

Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений своих сотрудников Государственный музей Л. Н. Толстого превратился в центр по изучению и публикации рукописного наследия Толстого, архивных материалов о жизни писателя и его эпохе. Сокровища «стальной комнаты» — отдела рукописей ГМТ — послужили источником монументального издания — Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах («Юбилейного»). При подготовке к изданию очердных томов в «стальной комнате» буквально дневали и ночевали известные ученые Н. К. Гудзий, М. А. Цявловский, Н. С. Родионов, Н. Н. Гусев. Рядом с ними приобретали опыт и стали известными толстововедами В. А. Жданов, Э. Е. Зайденшур, Е. С. Серебровская, К. Н. Ломунов, А. И. Шифман. В свою очередь, они подготовили плеяду научных сотрудников, которая трудится над опубликованием толстовских материалов и поныне. В 60-е и 70-е годы научной работой музея руководили Э. Г. Бабаев и Н. И. Азарова, с 1979 года по настоящее время — Б. М. Шумова.

Для «Октября» стало доброй традицией отмечать дату рождения писателя — 9 сентября — «толстовскими» разделами в сентябрьской книжке журнала.

Редакция «Октября» поздравляет всех сотрудников с 85-летием музея. Мы верим, что любовь к Толстому, преданное, бескорыстное служение делу и в дальнейшем подвигнут музейных работников на новые поисковые труды.

Павел БАСИНСКИЙ

Два завещания Льва Толстого

Бывают сюжеты, которые, представляясь на первый взгляд ничего не значащими, тем не менее крепко застревают в памяти и заставляют мысленно возвращаться к ним вновь и вновь. Так случилось с публикацией в начавшем выходить с июня этого года журнале «Ясная Поляна» самой ранней редакции повести «Хаджи-Мурат» Л. Толстого под названием «Репей» вкупе со знаменитым обращением Толстого «к людям-братьям» «Благо любви», отражающим сокровенные и, можно считать, предсмертные мысли гения о мире и людях. Эти тексты не открытие, они есть в академическом 90-томнике Толстого и никакой новой информации не дают. Но почему-то именно они прочно засели в памяти, да так, что я долго не мог понять, в чем, собственно, дело.

Скажем, банальность: смерть любого великого человека есть великая тайна. Мы, простые смертные, этими тайнами (Данте, Байрона, Пушкина, Толстого) очень любим в суете интересоваться, забавляться, развлекаться, но едва ли кто-то возьмет на себя смелость их действительно *пережить*. Это не в наших силах! В то время, когда я читал «Репей» Толстого, в одной газете напечатали неизвестное стихотворение полузабытого поэта начала века Бориса Садовского:

Она читала «Ревизора».
Читала весело и скоро,
А Гоголь в рамке на стене
Молчал и слушал как во сне.

Уж целый час она читала
И хохотала, хохотала.
Вдруг дуновенье из дверей,
И Гоголь повернулся к ней:

«Довольно мучить. Я сгораю.
Я бесконечно умираю.
Я вечно мучаюсь в огне.
О, помолитесь обо мне!»

Стихи не самые блестящие, но они ожигают какой-то страшной и, в общем-то, почти всем знакомой правдой, о которой мы предпочитаем не задумываться, не говоря уж о том, чтобы ее действительно переживать. А правда состоит в том, что вот уже на протяжении второго столетия мы, русские, ежедневно нарушаем духовное завещание своего национального гения. Ведь Гоголь всем тоном и духом своих «Выбренных мест...» ясно наказал *не смеяться* над «Ревизором» и «Мертвыми душами», смысл которых, как он считал, превратно понят большинством читателей: «Одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла».

Мы же не только «хохочем и хохочем», но и из самых искренних побуждений приучаем «хохотать и хохотать» своих детей. Я сам хитрил, заставляя 12-летнего сына: «Прочитай «Ревизора» и «Мертвые души»! Прочитай, это же так *смешно!*» И купил-таки его этим и радовался, глядя, как он «хохочет и хохочет» над книгой...

Но здесь возникает и другой вопрос. А существует ли в принципе авторское право не на тиражирование, а на *восприятие* произведения? Право, едва ли! Но хотя бы не думать об этом, тем самым, конечно, невероятно осложняя восприятие текста (понимая, что смеемся над тем, над чем автор смеяться воспретил), — значит не просто скользить мимо Гоголя, но и, быть может, в метафизической перспекти-

ве действительно поддавать жару в его бесконечный, мучительный, искупительный огонь...

Вот и публикация в «Ясной Поляне» неожиданно навела меня на щепетильные мысли. Что считать духовным завещанием Толстого? В своеобразном постскриптуме к обращению «к людям-братьям» (21 авг. 1908 г.) сам Толстой писал: «Я думал, что умираю в тот день, когда писал это. Я не умер, но вера моя в то, что я высказал здесь, остается та же, и я знаю, что не изменится до моей смерти, которая, во всяком случае, должна наступить очень скоро».

Кажется, все ясно и судить-рядить тут нечего. Вот оно, завещание! Подписанное, с очень важным, в почти юридической форме сделанным уточнением, смысл которого предельно прост: воля моя не изменится до смерти, все дополнительные варианты считать ложными. Я не силен в юриспруденции, но, вероятно, на языке закона всех цивилизованных стран есть такие формулировки, которые делают завещание единственным и уже неизменным в будущем даже волей самого завещателя (например, он опасается ослабления разума или давления со стороны каких-то заинтересованных лиц).

Итак, завещание Толстого: «Об одном прошу вас, милые братья: усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть (жизнь эта есть извращение жизни), и поверьте, что любовь, только любовь выше всего: любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни, что то стремление к благу, которое живет в каждом сердце, та обида за то, что нет того, что должно быть: благо,— что это законное чувство должно быть удовлетворено и удовлетворяется легко, только бы люди не считали, как теперь, жизнью то, что есть извращение ее...»

Все в этих словах вроде бы истинно и прекрасно, и что можно возразить против такой страстной проповеди блага и любви! Однако при ближайшем рассмотрении это завещание оказывается не чем иным, как проповедью *отвращения к жизни*. По крайней мере к той жизни, которая гениально показывалась Толстым в «Севастопольских расказах», раннем и позднем «кавказском» циклах, «Воине и мире», «Анне Карениной». И вот сам же Толстой пишет, что «жизнь эта есть извращение жизни!» Какая жизнь? Русских солдат и генералов, Пети и Николая Ростовых, старого и молодого Болконских, Пьера и Наташи, Стивы и Долли, Анны и Вронского, Кити и Левина, Хозяина и Работника, Алеши Горшка и Холстомера — все это не жизнь, а извращение?

Скажите: зачем все валить в одно? Да ведь это не я, но сам Толстой делает! Это он в обращении завещает не какой-то конкретный опыт проживания жизни, а тотальное отрицание, несомненно, несовершенного, но реального устройства мира во имя абстрактного идеала блага и любви. И за тем уже предчувствуется, быть может, самый страшный тоталитаризм XX века — постоянное выхолащивание всяческой жизненной органики, всяческих жизненных *мелочей* ради *главного* — несомненно, правильного, но пустого и жуткого в своей безличности. Стива Облонский со своими мамзелями и устрицами пошел и мелок? Зато Ленин и Муссолини, ах, как велики! Вронский со своей дворянской гордыней нехорош? А не желаете ли видеть его современным кришнаитом, бритоголовым, без национальности, без различимого пола даже? С Алешей Горшком поступили не по-божески? Да ведь Алеша в Царстве Небесное прямым пошел и Там за своих обидчиков слово замолвил! А за наших жертв ли, палачей ли, вылетевших трубами нацистских ли, цивилизованных ли крематориев, кто словечко замолвит?

Скажите: Толстой *не того* хотел! Но сказать так — значит *возвысить* Толстого над этим миром и его собственными художественными творениями, которые оттого и вечны, что стали некой невычленимой константой *этого* мира вообще: «Он открыл — так никогда и не узнав об этом — метод изображения жизни, который точнее всего соответствует нашему представлению о ней. Он — единственный мне известный писатель, чьи часы не отстают и не обгоняют бесчисленные часы его читателей» (Набоков).

Если Толстой *не того* хотел, значит, его завещание просто не по-хозяйски составлено, просто брошено на ветер, и капитал разлетелся в прах. Это можно простить самодовольному барину, но нельзя — национальному гению, с которого и осознанный спрос!

Но зададим вопрос иначе: *с тем ли завещанием* имеем дело? За три года до написания обращения, которое, кстати, во многом повторяет многочисленные, широко распечатанные при жизни проповеднические статьи и письма Толстого, он закончил работать над повестью «Хаджи-Мурат», которую не без основания называют *художественным завещанием*. Интересно, что эта повесть создавалась в почти канонической «завещательной» атмосфере. Он сделал десять редакций и не мог успокоиться, пока не поставил окончательной точки. Он писал ее почти втайне, посвящая в это самых близких людей. Он строго наказал напечатать ее лишь после своей смерти, что и было исполнено В. Г. Чертковым в 1912 году — с цензурными изъятиями в России и в полном варианте в Берлине. Он, стало быть, вполне отвечал за

этот текст, если не уничтожил, как Гоголь, несомненно, зная, что это его главное предсмертное произведение.

Любопытно сравнить ранний вариант повести («Репей») с окончательным. «Репей» лишь на первый взгляд является кратким наброском «Хаджи-Мурата». Конечно, сравнивать их по художественной шкале нелепо. Интересно, однако, что стилистические «Репей» поразительно напоминает о пушкинской прозе: легкая, чеканная строка — максимум информации при минимуме затраченных художественных средств:

«В одной из Кавказских крепостей жил в 1852 году воинский начальник Иван Матвеевич Канатчиков, с женой Марьей Дмитриевной...»

Это как: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова...» — и как: «Жил старик со своею старухой у самого синего моря...»

В окончательном варианте легкий и стремительный пушкинский почерк обрывается в самом начале густой и плотной толстовской вязью. Такое впечатление, что японское письмо сменяется каким-то арабским:

«Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в кривившийся душистым кизячным дымом чеченский мирный аул Махкет...»

Велико искушение погадать о писательской ревности великого старика, который до самой смерти не мог избавиться от обаяния пушкинской прозы, «прописывая» ее с эдакой тщательностью, как если бы Репин взялся густыми масляными красками «прорисовать» графические капризы Пушкина. Но не это для нас главное. «Хаджи-Мурат» все равно шедевр, в который погружаешься, как в озеро, с некоторым запоздалым изумлением начиная понимать, что вот живешь и дышишь среди этих слов, как если бы отросли жабры, и с явной досадой уже возвращаешься в привычный мир, где все то же, но так тускло и неинтересно, что тянет назад в озеро.

Главное для нас, что и в первой, и в последней редакции осталось почти не измененным самое-самое начало, вступление, рассказ о репейнике, который выстоял один среди вспаханного поля и который напомнил историю о Хаджи-Мурате. Это вступление — фирменный толстовский знак. Со своей философской любовью к нему он был бы пошлым и тоскливым в прозе любого иного писателя, но в прозе Толстого это вершина гениальности и художественной виртуозности. Это точка, которая ставится в начале текста. Это «хорошо», сказанное еще до шести дней Творенья, не оставляющее никаких сомнений в том, что Творенье не будет напрасным и случайным, что все, происходящее с Хаджи-Муратом ли, с нами ли, грешными, исполнено высочайшего вселенского смысла, если все это вобрал в себя образ простого полевого репья, раздавленного колесом телеги, но не сдавшегося и вставшего перед Богом...

«Да, этот еще жив, — подумал я, подойдя ближе и узнав куст татарина. — Ну, молодец, — подумал я. — Экая энергия. <...> «Молодец!» — подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. «Так и надо, так и надо» (курсив в цитатах мой. — П. Б.).

В последней редакции Толстой снимет это *так и надо*, словно испугавшись своей же слишком восторженной проповеди о *неистребимости жизни, всякой жизни*. Но — лукавый старец! — снимет и в сцене гибели Хаджи-Мурата нелепейшие слова: «*И он вдруг понял все. Что этого не надо было. Что все было не то*». То есть как это — *не то*? То есть как это — *понял все*? Разве может быть жизнь *не тем*! Разве можно ее *понять всю*, чтоб ничего не осталось в остатке, который-то и есть самое главное! В окончательной редакции гибель Хаджи-Мурата приобретает тот единственный смысл, когда жизнь переходит не в смерть, а в жизнь, но не путем отказа от старой жизни, как от змеиной кожи, а путем *наиболее полного исчерпания ее*. Принцип не змеи, но колодца. Для того, чтобы наполнить его новым содержанием, необходимо как можно энергичней вычерпывать старое, при этом момент перехода старого в новое останется неизвестным.

«Все это (жизнь Хаджи-Мурата. — П. Б.) казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое... Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось...»

И здесь, возможно, находится ключ к пониманию подлинного завещания Льва Толстого. Но только — ключ! Потому что главное все-таки остается неизвестным. Его побег! Был ли это жест последнего отчаяния, отвращения или же — последней, недочерпанной силы, энергии? И можем ли мы сказать об этой сцене, ставшей почти мифологической и какой-то залитературенной, ясные и простые слова:

«Молодец... Так и надо!»?

Поэзия в духе Дани Назарова

Периодически мир, страна или околоток начинают умиляться восьми-, десяти- или двенадцатилетним гениям-стихотворцам. Совсем юному существу, на которого пролилось с лазоревых небес теплое молоко вдохновения.

Стихи юного гения напоминают Ахматову или Цветаеву. Это, возможно, аберрация, предательство памяти: Ахматова и Цветаева стали символами русской поэзии (или, по замечанию художника А. Шабурова, вместе с Пастернаком и Мандельштамом — нашей духовной «АББой») только в горбачевскую перестройку. До этого юные гении могли напоминать, например, Есенина. Не важно. Они писали «взрослые» стихи, полные трагического мироощущения, чувства гармонии всего сущего и тому подобных высот и глубин. Воплощали среднестатистическое представление о том, что, собственно говоря, такое поэзия *par excellence*. Как таковая.

Компенсаторный характер восхищения общества детской поэзией описан в широко известной статье Барта «Литература в духе Мину Друэ» (юной поэтессы, чьи книги выходили во Франции начиная с 1955 года, когда ей было восемь): «литература рассматривается как дар Богов», «функция такого рода поэтов — давать публике не поэзию как таковую, а ее знаки» и т. д. и т. п. Многие читатели, наверное, помнят эти рассуждения.

Вселение поэтического гения, некоей достаточно свободной от антропоморфности и исторических обстоятельств надвещной сущности в конкретного неразумного дитяту призвано демонстрировать живучесть, мистичность и неисчерпаемость самого феномена. Ангелы русской (в нашем случае русской) поэзии обязаны время от времени касаться кого-либо плавными крылами. Родители счастливого ребенка и руководители литобъединений при детских садах и профессионально-технических училищах с удовольствием тащат крест медиатора, помогающего верховной воле перетранслироваться, не расплескавшись, прямо в юное сердце.

Игра в вундеркинда чревата, как известно, психологическими сломами: на поэтический дар младенца возлагается непомерно большая символическая нагрузка, а социальная конвертируемость дара чаще оказывается крайне неубедительной. Не говоря уже о сопутствующей малоприятной шумихе (чтобы доказать, что творения упомянутой Мину Друэ не подделка, ее запирали в комнате и заставляли писать стишок).

Но поэзия прежде всего — просто другой тип речи. Она, очевидно, может выплывать массу мистических и духоподъемных функций, но самая очевидная ее функция формулируется проще: человек тренирует другой язык. Он, оказывается, может что-то сказать о мире, как-то обратиться к миру еще и таким способом. Существование поэзии — способ уважать мир, который хочет быть описан по-разному.

Передо мной номер газеты «Первое сентября» от 16 октября 1996 года. Даня Назаров (10 лет) описывает «Пять способов увидеть черного козла»:

1. Черный рог
черного козла
протыкает мягкую луну.

2. Глаз черного козла
задевает танцующую пару.
3. Копыто черного козла
стучит по белому снегу.
4. Черная борода черного козла
щекочет маленького ребенка.
5. Черный рот козла
съедает черную бумагу.
6. Черная шерсть козла
засасывает в себя блох.

Игорь Нестеров (10 лет) описывает «Восемь способов видеть любовь»: «Когда все спят, они видят свою любовь»; «В теплые ворота тьмы всходит любовь»; «У кошки с котом в субботу была любовь» и т. д.

А одиннадцатилетняя Таня Гайнуллина описывает «Тридцать три способа видеть тридцать три».

Такими — удивительно *интересными* текстами — в «Первом сентября» заполнен целый разворот. Газета периодически предоставляет свои полосы экспериментам екатеринбургского педагога Александра Михайловича Лобка. Учитель прочитал детям верлибр современного американского сочинителя Уоллеса Стивенса «Тринадцать способов видеть черного дрозда» и предложил им написать «что-то подобное». И дети описали разные способы видеть утро, видеть оранжевого человека, видеть кошку, увидеть фантазию, читать, танцевать, видеть свет в темноте, видеть белого тигра, не пойти в школу, увидеть черного орла, видеть собаку, лающую на луну, видеть горы, не делать ничего, быть человеком, а также, кстати, писать стихи.

Для Александра Лобка важны специфические проблемы педагогики: он, как указано в газете, работает с детьми «не только не прошедшими никакого предварительного отбора, но и зачастую отторгнутыми массовой школой», он дискутирует в статье с бюрократическим пониманием природы учебного процесса... Об этом мне нечего сказать. Но я хотел бы поддержать учителя, его школу, его учеников другим.

В отличие от «настоящих» стихов эти опыты:

а) Не являются результатом захваченности поэта высокими космическими энергиями (то, что называется Вдохновением или Божьим даром), а являются результатом творческого движения человека по отношению к миру, то есть результатом, так сказать, «воли к общению».

б) Не стремятся постичь внешнюю либо потайную гармонию природы, а, напротив, воспроизводят образ вероятностного, разобранного, «виртуального» мира.

в) Не выделяют Поэзию, сочинение стихов в какое-либо элитарное, особенное занятие, а трактуют ее как вариант повседневной, текущей культурной игры...

Складывающийся (или раскладывающийся) в итоге образ мира представляется мне, как бы это посOLIDнее выразиться, имеющим внятное социально-терапевтическое значение. Культура — это открытость миру, культура — это готовность к принятию разных его образов, культура — это не способ обнаружения Истины, а способ теплого общения с себе подобными. С учителем, с одноклассниками (в текстах школьников мелькают имена товарищей, «оранжевый человек» в стихах Жени Соколовой, по мнению публикатора, это ее сосед по парте — рыжий Олег Спивак).

В качестве приложения к этим мутным заметкам я предлагаю прочитать стихи восьмилетнего Федя Балабанова, сына моей жены, на сочинение которых я активно провоцировал его сам. Идеология такой провокации предельно проста. Нужно развлекаться (можно еще сказать — заниматься, занимать себя) самыми разными способами: играть в компьютер и телеприставку, пинать мяч, рисовать картинки на бумаге и строить из чего попало инсталляции на полу и на столе, кушать вкусные конфеты и ходить в «МакДональдс», бывать в лесу и в музее, читать книжки и сочинять стихи.

Федя БАЛАБАНОВ

* * *

Я очень люблю стихи
и хочу написать один,
два или три стишка.
Что-то вроде тарам-парам,
правда, не совсем так.

Про мирового зайца

Я не люблю мирового зайца.
Да и его вообще нет.
Хоть бы появился он на свете,
я бы сразу разузнал.

Бог создал мир.
Бог создал звезды.
Бог создал жизнь.
Бог создал людей.

Из мочи Бога создался мировой заяц.
Мировой создал непланетян.
Мировой создал Марс, Нептун, Плутон, Сатурн,
Юпитер, Венеру, Меркурий.

И мировой создал луну,
За Бог создал землю и солнце.

* * *

Я не люблю оружие.
Потому что им убивают людей и монстров,
а я не могу смотреть, как убивают людей и даже монстров.

* * *

Мне купили мячик суперпрыгунчик.
Он так классно прыгает, а я его ловлю.
Когда я вырасту, я стану вратарем
и буду играть большим мячом
за ЦСКА, и за «Спартак», и за киевское «Динамо».

* * *

Мне купили плеер вместе с группой «Арией».
Там есть такая классная песня, я ее аж знаю наизусть.
Возьми мое сердце, возьми мою душу, я так одинок в этот час,
что хочу умереть, мне некуда деться, свой мир я разрушил,
по мне плачет только свеча на голодный зарез.

Про сны

Однажды пошел я на пикник с друзьями в лес.
Перед самым лесом стояло какое-то неизвестное здание.
Мы зашли в здание и увидели какие-то странные цифры.
Мы нажали цифру, и у нас открылась дверь в лес.
Мы зашли в ту дверь, которая открылась, и оказались в лесу.
Там мы увидели странную тропинку, а после тропинки был лес.
Мы перешли через тропинку и превратились в собак.
Мы стали бегать и лаять,
И перебежали обратно и стали опять людьми.
Мы испугались и убежали навсегда из этого леса.



Газетный хам

В одной газетке независимой обсуждалась репутация Федора Михайловича Достоевского. Важным было выяснить: точен ли был Страхов, намекая, что героем Достоевского в «Бесах» был он сам и что грех Свидригайлова, развращение девочки, был и его, Достоевского, грехом, в котором он якобы и пытался сознаться Страхову? В другой газетке обсуждались любовные связи Цветаевой. Было важным в последние годы, перед концом века, утвердить окончательно, кто есть Гоголь. Отыскался компромат на только что ушедшего из жизни Сергея Довлатова. Еще могила травой не поросла, а уже вылез какой-то из местных независимых и давай топтать. И как всякий холуй — в поддевке, так и всякая низость — в литературном факте, а холуи уже и не холуи, а литераторы.

Стремление обнаружить сокровенные факты личной жизни художника есть стремление безоговорочно низменное и низкое. А вся каша заваривается в мозгах людей образованных. Одни образованные пишут, другие — печатают, оставшиеся читают и молчат. И вот правда всякого рода фактов, нравственно не осознанная, представляется без стыда на всеобщее обозрение, и страшно, когда, прежде чем прочесть и полюбить Гоголя, люди узнают, «кто он такой есть, этот Гоголь». Один такой мерзавчик спаивает, отравляет сотни душ, тогда-то и раздуваясь да набирая власти, силы — он за бороду Достоевского таскал! Он хлестал по мордасам Гоголя! А Солженицыну приказал, чтоб тот потными своими подмышками в литературе больше не вонял!

Отчего около литературы так много подлости? Отчего вся среда литературная исподволь становится такой подловатой? Литература разжигает самолюбие и обрастает внутри себя клубком завистей, страхов, обид, потому что нет ничего беспощадней творчества. Так беспощадно уничтожается бездарность явлением таланта, это нравственно непоколебимо в природе, никакой силой не устранимо. Но молчать о холуях, замечания им вежливые делать больше нет терпения. Да они и гораздо сильнее и, подставь им другую щеку, даже не станут бить — схватят и выдерут с мясом.

По силе низости все превзошел, рекорд поставил этой «независимости» от таланта и совести преждевременный мемуар Сергея Есина или даже отчет, репортаж с похорон поэта-фронтовика Юрия Левитанского. Кровососный этот панегирик самому себе ректор Литинститута начинает с рассуждения, каких он любит евреев — хороших, а каких не любит — плохих. Что пришло ему письмо гневное от студентов, где те делятся своей болью — как их на Ярославское совещание молодых писателей, бедных мальчиков и девочек, заманили пряником, а потом опутывали и стращали те самые евреи, чуть не склоняя в свою веру. И вот наш ректор, «его высокоблагородие», поучает, как плохих от хороших отличать!

Читая этот опубликованный в «Независимой газете» бред, я не верил глазам своим — я участвовал в работе Ярославского совещания помощником на семинаре у Владимира Маканина вместе с Петром Алешковским. Из мастеров были: Киреев, Ким, Варфоломеев, Эбаноидзе, Кураев, Евгений и Валерий Поповы... И Есин не мог не знать, кто руководил семинарами. Допустить мысль, что писатели собрались с целью заговора, ну это ведь паранойя. У простого большинства совещания и сам этот вопрос — так, как у Есина, — за все три дня совещания не вставал. Никто там не думал, с кем он пьет, ест за одним столом, с кем дышит одним воздухом, хоть и собрались люди разных убеждений, разных союзов и прочее, но — и то главное — что люди, а не тупые скоты. Так откуда же взялась эта ложь в виде заговора и небывших гонений?

Разгадка проста. Она в том, то сам Сергей Есин, ректор Литературного института, не был приглашен руководить семинаром на Ярославское совещание. А не был он приглашен потому, что он, ректор Литературного института, — даже не средний, а ниже среднего беллетрист, и весь его авторитет как художника имеет власть разве до порожка Тверского бульвара, где некогда свободный критик,

ставший вдруг придворным, величает своего благодетеля на ученом совете «писателем XXI века». Корни грязной антисемитской сплетни, что уши ослиные, вырастают из завистливой злобы самого этого «писателя XXI века», который именно подлинным художникам, каждого давно зная в лицо, взялся мстить, пакостить, прячась, однако, за лживый донос горстки студентов — да еще-то, по сути, их, студентов своих, в конце концов предавая, оставаясь чистеньким, хоть именно сам грязь эту антисемитскую откопал и разбросал.

Письмо не было Есиным выдуманно. Такое письмо было положено ему на стол, но это куда хуже, чем если б наш провокатор сам его сочинил. Уши ослиные торчат и из этого письма. Вдумайтесь: студенты пишут своему ректору, сидя от этого ректора ну разве что этажом выше, в студенческой аудитории! А что это за ректор, который общается со своими студентами посредством писем, где они не иначе как доносят на других людей?

И вот сексотские извращения, какие, оказывается, занимали место в стенах Литинститута, стали душой куда большей провокации, литературным фактом, где, порассуждав глубокомысленно о евреях, отомстив за одну свою неудачу, этот нехороший человек во весь опор бросается мстить за другую. Снизойдя до Левитанского после одному ему понятной гнусной генетическо-этической экспертизы, Есин начинает долгий графоманский рассказ, как он гордо и одиноко боролся у гроба Левитанского с биополем собравшейся там толпы и лично драматурга Эддиса. Теперь этот драматург злоковарно хотел лишить его слова на похоронах! А чего только стоит описание, как наш гордый одинокий герой эдаким Аввакумом «бредет» с далекой дачи на похороны в Москву — ранним мгlistым, холодным утром, сквозь горы сугробов, когда еще не ходят электрички, сквозь холод и без завтрака, преодолевая сон и жажду, выполняя святой долг ректора и т. д. и т. п. — а мог бы, мог бы поспать!

И туда, к гробу поэта, что притащил он в своей душе? Вот это тащил, что потом в мемуар свой кучами поклат. И вот литературе нашей добавилось еще фактов. Еще один литератор облегчил душу.

А что же *мы*? А *мы* были одурачены. Нас использовали. Ведь если печатают, то надо читать — и зловонный поток хлещет в души тех тысяч людей, кто читает потому, что верит еще в слово печатное. Литературу унавозили так, что брось семечко в эту жижу — только чавкнет, а светлое да разумное не прорастет — сгниет.

Но пугать себя да затравленно молчать мы больше не будем. Литература — это наше кровное, а они пошли вон!

Олег ПАВЛОВ.



Иван БУНИН. ВЕЛИКИЙ ДУРМАН. М., «Совершенно секретно», 1997. 5000 экз.

Прежде разбросанные по старой периодике, в редких случаях переиздававшиеся бунинские статьи, заметки, литературные и политические анкеты и письма в редакцию собраны вместе. Читая их, лишний раз убеждаешься: часто раздор и разногласия рождены простым незнанием. Так, перечисляя фамилии советских писателей и их книги, Бунин раздраженно твердит, что никогда о таких не слышал. Особенный прилив злости вызвало у почтенного писателя сочинение Н. Баршева «Большие пузырьки». Между тем, если высокому стилисту и не понравился бы стиль рассказа, он наверняка был бы поражен сюжетом. Апокалипсическая картина поглощения метилового спирта и всеобщего мора предвосхищает апокалиптику пьесы В. Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», а сам Н. Баршев — один из самых странных, самых страшных и самых лучших советских писателей.

В. КОРМЕР. КРОТ ИСТОРИИ, ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ S=F. ДВОЙНОЕ СОЗНАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ПСЕВДОКУЛЬТУРА. О КАРНАВАЛИЗАЦИИ КАК ГЕНЕЗИСЕ «ДВОЙНОГО СОЗНАНИЯ». М., «Традиция», 1997. Тираж не указан.

Впервые опубликованный в 1979 году за границей и отмеченный премией имени Даля роман «Крот истории» сейчас вызывает интерес чисто археологический: в сюжете, в тональности повествования отразилось настроение российской интеллигенции тех лет, и потому книга останется документом ушедшей эпохи. Впрочем, попытка стилизовать роман под гоголевские «Записки сумасшедшего» (пусть и непоследовательная) любопытна, а некоторые аллюзии и совпадения и вовсе загадочны, ибо не ясно, случайны они либо намеренны. Сжигание листочков с записями, волосок, заложенный между страниц, отсылают к запискам Л. К. Чуковской, где рассказано, какое значение придавала этим, казалось бы, мелочам А. А. Ахматова, болезнь же героя напоминает о болезни В. Т. Шаламова. Что до статей, помещенных вслед за романом, то мысли, высказанные в них, убедительны и плодотворны, а потому статьи, вероятно, еще будут использованы историками и культурологами.

Борис ПОПЛАВСКИЙ. ПОКУШЕНИЕ С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ. Неизвестные стихотворения. Письма к И. М. Зданевичу. М., «Гилея», Дюссельдорф, «Голубой всадник», 1997. 1000 экз.

Вряд ли можно назвать неизвестными стихи, опубликованные (хотя и с разночтениями) в прижизненном сборнике поэта «Флаги», а такие тоже включены в книгу составителями. Однако письма и некоторые стихотворения (только не написанные заумным языком, говорить на котором нельзя, зато писать чрезвычайно легко) чисты и трагичны, были они известны или не были:

Пока на грудь и холодно, и душно
Не ляжет смерть, как женщина в пальто,
И не раздавит розовым авто
Шофер-архангел гада равнодушно.

ОТ НАЧАЛА НАЧАЛ. Антология шумерской поэзии. СПб., центр «Петербургское Востоковедение», 1997. Тираж не указан.

Уникальность книги, полнота ее теряются перед главным — стихи, сложенные тысячелетия назад, продолжают жить. Глиняные таблички с клинописью, словно кирпичики, легли в стену вечного здания культуры, ведь даже школьные прописи гласили:

Тот, кто не любит правый суд,
Тот, кто любит неправый суд,
Черен тот перед солнцем — Уту,

а на круглой ученической табличке, сохранившей эти слова, с другой стороны начертаны цифры — урок сменялся уроком.

Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Сочинения в трех томах. [Б. м.], «Полярис», 1997. 5000 экз.

Наиболее полное собрание произведений французского писателя на русском языке дает не столько возможность узнать новое, сколько перечитать и осмыслить уже знакомое. «Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. <...> Он говорил не о Гуадисе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадиса. <...> И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада». Меняя размеры, приобретаю

особый масштаб, из обычных предметов и вещей вырастают символы. Ручеек, стадо баранов на любимом пастбище столь же значимы для огромной Земли, как многоводные водопады и глухие леса.

Сергей КОРОЛЕВ. ДОНОС В РОССИИ. Социально-философские очерки. М., «Прогресс-Мультимедиа», [Б. г.]. 1000 экз.

Создает ли автор «Эссе о колбасе» или возносит «Похвальное слово г-ну Жириновскому», он равно хочет выглядеть парадоксальным и ироничным, что ему равно не удастся, публикуются ли его опусы в «Независимой газете» или журнале «Архетип».

Ю. М. ЛОПУХИН. БОЛЕЗНЬ, СМЕРТЬ И БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ В. И. ЛЕНИНА. ПРАВДА И МИФЫ. М., «Республика», 1997. 5000 экз.

Книжечка написана сотрудником лаборатории при Мавзолее, человеком, явно симпатизирующим своему герою. Из-за того, что книжечка мала, и для того, чтобы придать написанному дополнительную объективность, в приложении помещены разного рода свидетельства — от воспоминаний сиделки до статьи о механизме анатомических изменений ленинского мозга. В силу некоторых свойств, присущих герою и невольно придающих и его делам, и всему, с ним соприкасающемуся, ярко-гильбольный характер (о том следует поговорить как-нибудь специально), многие фрагменты сочинения Ю. М. Лопухина, несмотря на тематику и предмет рассмотрения, вызывают искренний смех. Фразы типа: «Наладился и сон; бессонница была только после свиданий с коллегами по партии» — рождаются не потому, что автор плохо владеет пером. Он пишет занимательно и бойко. Тут играют роль не особенности повествования, а особенности материала. Никому не пожелаешь так, как Ленин, жить, и так, как он, умирать — от неизвестной болезни, с нерешительно поставленным и не соответствующим действительности диагнозом. Никому не пожелаешь и такого посмертного существования, начиная от случайно возникшего намерения сохранить тело на более долгий срок (сначала методом заморозки) до авантюрного решения тело забальзамировать (даже те, кто должен был участвовать в акции, не знали ни точных путей работы, ни последствий. Химические вещества мерили ведрами, пудами или бутылками, прикидывая на глазок — хватит, не хватит. Одно из инициаторов бальзамирования, профессионального химика, чуть не хватил удар от подобных методов). Тем не менее работа удачно завершилась, уникальный и действенный способ советского бальзамирования был найден. Несмотря на отвратительные физиологические подробности, медицинские описания, книжечка читается как авантюрный роман высокой пробы. Откровенный, а потому здоровый цинизм автора, соединенный с искренним уважением к Ленину, придает написанному дополнительное своеобразие. Удивляться нечему: если не ленинским свершениям, то ленинскому телу автор обязан устойчивым положением в мире. Прежде его лаборатория обеспечивалась отличным оборудованием и реактивами, сотрудникам доплачивали за «секретность». Забота о ленинском теле обеспечила даже будущее: «Впрочем, секретность оказалась теперь, в наше постперестроечное время, выгодной. В сегодняшних условиях, когда лаборатория стала частью коммерческой структуры, занимающейся бальзамированием, все технические, научные, манипуляционные маленькие и большие нововведения, усовершенствования и т. д., которые были добыты за 70 лет работы сотрудниками лаборатории, приобретают определенную коммерческую ценность». Кроме прочего, сохранение этого «мертвого тела, (уже) никому не принадлежащего», как ни крути, еще и уникальный научный эксперимент.

Татьяна БЕК. ОБЛАКА СКВОЗЬ ДЕРЕВЬЯ. [Б. м.], «Глагол» 33, [Б. г.]. 1000 экз.

Сменились темы, с возрастом изменился голос, но отличительная черта поэтессы — подростковая интонация — осталась неизменной и выглядит сейчас по крайней мере неуместной. В давнем стихотворении Т. Бек обещала: настанет время и она, в отличие от тех, кто разводит тары-бары на трибунах, засядет писать мемуары, честные и справедливые. Может быть, время уже пришло?

Дэвид РОУЗЕН. ДАО ЮНГА. ПУТЬ ЦЕЛОСТНОСТИ. Киев, «София», 1997. 5000 экз.

Эта книга началась тогда, когда автору пришло в голову, что знаменитый ученый Карл Густав Юнг, по сути, следовал даосской традиции. На прямой вопрос, заданный людям, прекрасно знавшим и Юнга, и его учение, автор получил утвердительные ответы — такая трактовка возможна. Книга посвящена толкованию даосизма, описанию жизненного пути Юнга и представляет попытку автора разобраться в собственной душе и собственном жизненном пути. Убедит ли читателей текст, предполагать трудно. И все-таки существуют такие книги, которые, не убеждая, помогают думать как бы параллельно написанному. Они довольно редки, и следует их ценить.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 1998 ГОД.

Стоимость подписки на *первое полугодие* (индекс 73293) — 96 000 рублей,
на один месяц — 16 000 рублей,
на три месяца — 48 000 рублей
плюс надбавка местных отделений связи.

Вы также можете оформить подписку сразу на *год*. В этом случае представляется существенная скидка.

Стоимость *годовой* подписки (индекс 72375) — 186 000 рублей плюс надбавка местных отделений связи.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|------------------|------------------------|----|-------|--------|---|---|--------------|------------------|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ф.СП-1 | МС РФ ГПС (Госпочтамт) АБОНЕМЕНТ на <small>журнал</small> ОКТЯБРЬ <small>газеты</small> | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">73293</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">(Индекс издания)</td> </tr> </table> | 73293 | (Индекс издания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Индекс издания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 2px 5px;">(наименование издания)</td> <td style="width: 10%; padding: 2px 5px;">Количество комплектов:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">на 19 год по месяцам</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">5</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">7</td><td style="text-align: center;">8</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">10</td><td style="text-align: center;">11</td><td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | (наименование издания) | Количество комплектов: | | на 19 год по месяцам | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование издания) | Количество комплектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 19 год по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Куда <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(почтовый индекс)</small> | <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(адрес)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кому <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(фамилия, инициалы)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ПВ</td> <td style="text-align: center;">место</td> <td style="text-align: center;">ли-тер</td> <td style="padding: 2px 5px;">на <small>журнал</small> <small>газеты</small></td> </tr> </table> | | | | | ПВ | место | ли-тер | на <small>журнал</small> <small>газеты</small> | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">73293</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">(Индекс издания)</td> </tr> </table> | 73293 | (Индекс издания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВ | место | ли-тер | на <small>журнал</small> <small>газеты</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Индекс издания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ОКТЯБРЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px 5px;">Стоимость</td> <td style="width: 20%; padding: 2px 5px;">подписки пере-адресовки</td> <td style="width: 20%; padding: 2px 5px;">руб. руб.</td> <td style="width: 20%; padding: 2px 5px;">Количество комплектов:</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> | Стоимость | подписки пере-адресовки | руб. руб. | Количество комплектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стоимость | подписки пере-адресовки | руб. руб. | Количество комплектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | на 19 год по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Куда <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <small>(почтовый индекс)</small> | <small>(адрес)</small> |
| Кому <input style="width: 100%;" type="text"/> | |
| <small>(фамилия, инициалы)</small> | |

Москвичи и жители Подмосковья могут оформить подписку непосредственно в редакции (ул. «Правды», д. 11/13) по льготной цене:

**стоимость подписки на первое полугодие — 84 000 рублей,
на один месяц — 14 000 рублей,
на три месяца — 42 000 рублей.**

В редакции также можно будет заказать очередной номер журнала по 14 000 рублей за экземпляр.

Если вы пожелаете оформить годовую подписку, то получите еще одну льготу:

стоимость годовой подписки — 162 000 рублей.

Телефон для справок: 214-31-23.

*До конца года и в 1998 году
читайте в наших разделах:*

Поэзия

Стихи Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Натальи ГОРБАНЕВСКОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых авторов.

Воспоминания. Документы

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60—70-е гг. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ. **Переписка** Марка АЛДАНОВА с Георгием АДАМОВИЧЕМ, Борисом ЗАЙЦЕВЫМ, Михаилом ОСОРГИНЫМ, Ильей РЕПИНЫМ, ТЭФФИ и другими — из Бахметевского архива (Нью-Йорк).

Эксклюзивная публикация новых глав из уникальной «**Онегинской энциклопедии**».

Новые поступления из архивов музея А. С. ПУШКИНА и музея Л. Н. ТОЛСТОГО.

Публицистика и очерки

Россия — очерки и заметки о современной жизни больших городов и глубинки.

Российская государственность — аналитические и дискуссионные статьи по актуальным вопросам политики и экономики, затрагивающие интересы каждого.

Основы российской духовности — цикл статей по проблемам нравственности, воспитания, социальной и семейной психологии.

Литературная критика

Статьи Дмитрия БАВИЛЬСКОГО, Дмитрия БАКА, Михаила ГАСПАРОВА, Алексея ЗВЕРЕВА, Кирилла КОБРИНА, Бенедикта САРНОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Александра ЭТКИНДА.

Проблемы современного литературного процесса будут представлены в наших постоянных рубриках критиками Павлом БАСИНСКИМ, Вячеславом КУРИЦЫНЫМ, Вадимом ПЕРЕЛЬМУТЕРОМ, Б. ФИЛЕВСКИМ.

Материалы для новой рубрики «**Немного в сторону**» готовит Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1998 году
«Октябрь» предполагает опубликовать
новые произведения известных авторов.*

Среди них:

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
- Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**
- Игорь ВОЛГИН. **Пропаший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.
- Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
- Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**
- Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.
- Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
- Анатолий КИМ. **Роман.**
- Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**
- Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
- Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.**
Главы из книги.
- Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.
- Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**
Записки из-под сапога. Рассказы.
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**
- Валерий ПИСИГИН. **Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург.**
Документальное повествование.
- Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
- Уильям САРОЯН. **Рассказы.**
- Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
- Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники.** Стихи.
- Военный дневник** великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.
- А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Григория КАНОВИЧА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Следите за нашей рекламой!